

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Сибирский федеральный университет

**Лингвистика
информационно-психологической
войны**

Монография

Книга III

Красноярск
СФУ
2020

УДК 81'1
ББК 81.006+68.015
Л590

Авторский коллектив:

А. А. Бернацкая, Ю. А. Горностаева, И. В. Евсеева, Е. С. Жунева, Р. И. Зарипов, Е. А. Иванова, А. В. Колмогорова, Г. А. Копнина, С. Л. Кушнерук, А. В. Кирилина, Е. В. Лупанова, Н. В. Михайлюкова, Ю. В. Панова, Е. Г. Прилукова, А. С. Романов, В. Ш. Сабиров, М. А. Самкова, А. П. Сквородников, О. С. Соина, С. И. Чудинов

Рецензенты:

А. П. Чудинов, заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой межкультурной коммуникации, риторики и русского языка как иностранного Уральского государственного педагогического университета; Л. Б. Савенкова, доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка Южного федерального университета

Л590 **Лингвистика** информационно-психологической войны : монография. Кн. III / А. А. Бернацкая, Ю. А. Горностаева, И. В. Евсеева [и др.] ; под ред. проф. А. П. Сквородникова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. – 344 с.

ISBN 978-5-7638-4299-9 (кн. III)

ISBN 978-5-7638-3739-1

Предлагаемая монография – третья книга, посвященная исследованию актуального феномена – политического информационного противоборства в его языковом выражении. Содержит материалы по общетеоретическим проблемам лингвистики информационно-психологической войны, исследованию этосов противоборствующих сторон, а также различным частным аспектам этого явления.

Предназначена прежде всего для людей, профессионально интересующихся проблемами информационно-психологических войн, политиков, общественных деятелей, журналистов, работников образования, но будет также полезна для широкого круга читателей, поскольку способствует пониманию тех опасностей, которые влечет за собой развернутая против России информационно-психологическая война, и осознанию необходимости противостоять ей.

Электронный вариант издания см.:
<http://catalog.sfu-kras.ru>

УДК 81'1
ББК 81.006+68.015

ISBN 978-5-7638-4299-9 (кн. III)
ISBN 978-5-7638-3739-1

© Сибирский федеральный университет, 2020

Содержание

Предисловие (А. П. Сквородников).....	5
Раздел I. Общетеоретические проблемы лингвистики информационно-психологической войны.....	9
1.1. Актуальные проблемы лингвистики информационно-психологической войны: краткий аналитический обзор (А. В. Колмогорова, Г. А. Копнина, А. П. Сквородников)	10
1.2. Основные направления развития российской лингвистики информационно-психологической войны (С. Л. Кушнерук)	20
1.3. Постсоветский дискурс гуманитарного знания: глобализационные трансформации (А. В. Кирилина).....	43
1.4. Информационно-психологическая война как дискурсивная практика на страницах художественной литературы (А. А. Бернацкая).....	57
1.5. Вербальные маркеры манипуляции в текстах информационно- политической войны (А. В. Колмогорова, Ю. А. Горностаева).....	73
1.6. Оружие информационно-психологической войны: к обоснованию и определению понятия (Р. И. Зарипов).....	98
1.7. О понятиях «лингвонекрофилия» и «лингвобиофилия» (А. П. Сквородников)	114
Раздел II. Морализм во взаимоотношениях этосов в эпоху информационных войн	127
2.1. Морализм как этический и социокультурный феномен (В. Ш. Сабиров).....	128
2.2. Морализм и морализаторство в отечественной культурной традиции (О. С. Соина).....	138
2.3. Моралистическая деструкция геополитических и цивилизационных противников в исламистской идеологии (С. И. Чудинов).....	155
2.4. Моральный аспект американского этоса (Ю. В. Панова)	162
2.5. Моралистические интенции французского этоса (Е. С. Жунева)	171
Раздел III. Частные аспекты лингвистики информационно-психологической войны.....	175
3.1. Признаки информационно-психологической войны в переводной художественной литературе (А. А. Бернацкая).....	176
3.2. Идеологема «западные ценности» как инструмент ведения информационно-психологической войны (Е. А. Иванова)	193
3.3. Прагматика метафоры и метонимии в медиатексте (М. А. Самкова)	229
3.4. Коммуникативная ситуация «обсуждение закона о неуважении к госсимволам» в аспекте информационно-психологического противоборства (И. В. Евсеева).....	242

3.5. Между ориентацией на традицию, европеизацией и глобализацией: университет как объект и субъект информационно-психологической войны (Е. Г. Прилукова)	259
3.6. Русский язык как фактор национальной безопасности: лингвоэкологический и лингвоаксиологический анализ городской эпиграфики (на материале Дальневосточного региона) (Н. В. Михайлюкова)	270
3.7. Этностереотип на службе вооруженных сил США в контексте информационно-психологической войны (А. С. Романов, Е. В. Лупанова).....	280
Послесловие (А. П. Сквородников)	301
Библиография	303
Сведения об авторах	341

ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели, перед вами третья книга из серии «Лингвистика информационно-психологической войны» (первая книга с тем же названием вышла в издательстве Сибирского федерального университета в 2017 году, вторая – в 2019 году). Необходимость дальнейших исследований в русле этой новой политико-лингвистической дисциплины и, соответственно, публикации их результатов мотивируется не только продолжающимися, но и усиливающимися информационными атаками на Россию и русскую цивилизацию как со стороны внешних, так и внутрироссийских инициаторов и акторов информационно-психологической войны (далее – ИПВ). И это вызывает озабоченность на самом верху российской властной вертикали (см. Материалы заседания Совета по русскому языку при Президенте России, состоявшегося в Кремле 5 ноября 2019 года: // <http://kremlin.ru/events/president/news/61986>).

Война эта идет по широкому фронту: мишенями информационно-психологических операций являются российская государственность (властная вертикаль в целом и президент страны в частности), государственные институты, история России и русского народа, победа в Великой Отечественной войне; православие как наиболее распространенная религия государствообразующего народа (в первую очередь священноначалие, в том числе патриарх); русская культура и русский язык как основные скрепы многонационального государства; российская наука и искусство и т. д. Все это выдвигает лингвистику ИПВ на передовые позиции борьбы за безопасность России как суверенного государства и особой цивилизации. Вооруженность этой дисциплиной, если воспользоваться формулировками А. И. Фурсова, «создает нового субъекта», обладающего знанием, которое «должно быть ключом к секретам явных и тайных врагов России и русских в мире в целом и отдельно взятых странах... вскрывая их сильные и находя их слабые стороны» [Фурсов 2010].

Рубрикация третьей книги не претерпела существенных изменений и состоит из трех основных разделов: общетеоретического, этического и частно-тематического.

В первом разделе «Общетеоретические проблемы лингвистики информационно-психологической войны» дан краткий аналитический обзор наиболее актуальных проблем лингвистики ИПВ (А. В. Колмогорова, Г. А. Копнина, А. П. Сквородников), охарактеризованы ее основные направления, сложившиеся к настоящему времени (С. Л. Кушнерук), предъявлены убедительные факты и аргументы, свидетельствующие об ущербе, наносимом русскому языку и гуманитарному знанию процессом глобализации (А. В. Кирилина), рассматривается вопрос о критериях, позволяющих установить элементы ИПВ в текстах художественной литературы (А. А. Бернацкая), выявляются вербальные маркеры манипуляции в текстах с признаками ИПВ (А. В. Колмогорова, Ю. А. Горностаева), осмыслиется и определяется понятие «оружие ИПВ» (Р. И. Зарипов), вводятся в научный оборот терминопонятия «лингвонекрофилия» и «лингвобиофилия» (А. П. Сквородников).

Во втором разделе «Морализм во взаимоотношениях этосов в эпоху информационных войн» излагается авторская концепция морализма в ее отношении к ИПВ (В. Ш. Сабилов), доказывается, что «вирус морализаторства» содержит в себе большой потенциал разрушения, реализуясь в процессе внутрirosсийской информационной войны (О. С. Соина). В этом разделе рассматриваются также такие вопросы, как влияние морализма на формирование идеологии экстремистских течений радикального исламизма (С. И. Чудинов), морализм как средство конкурентной борьбы в американском социуме, приобретающей формы информационно-психологической войны (Ю. В. Панова), моралистические интенции французского этоса, отвергающие возможность компромисса разных идеологий (Е. С. Жунева).

В третьем разделе «Частные аспекты лингвистики информационно-психологической войны» с позиций теории лингвистики ИПВ обсуждаются такие разные темы и понятия, как признаки ИПВ в переводной художественной литературе (А. А. Бернацкая), идеологема «западные ценности» как инструмент ИПВ (Е. А. Иванова), прагматика метафоры и метонимии (М. А. Самкова), закон «о неуважении к госсимволам» (И. В. Евсеева), университет как субъект и объект ИПВ (Е. Г. Прилукова), русский язык как фактор национальной безопасности (Н. В. Михайлюкова), этностереотипы на службе вооруженных сил США (А. С. Романов, Е. В. Лупанова).

Актуальность рассматриваемых в книге вопросов представляется особенно очевидной, если учесть, что «новейшие политические технологии, вооруженные средствами информатики, могут уверенно формировать общественное мнение, манипулировать общественным сознанием», а «господство информационных технологий способно решительно изменить всю общественную жизнь» [Гуревич 2003: 16]. В такой ситуации в более безопасном и выгодном положении оказывается тот, кто лучше понимает замыслы, стратегии, тактики и языковые средства и приемы своего противника. Заметим также, что публикуемые в третьей книге тексты отличаются разнообразием и – по сравнению с предыдущими двумя книгами – тематической новизной, и это дает надежду на то, что она будет небезынтересна для всех интересующихся языковой стороной информационно-психологической войны.

Завершая это краткое предисловие, хочу поблагодарить авторов монографии, как людей, искренне желающих потрудиться во имя России, памятующих, что «грех есть преступление перед Богом не только действием, но и бездействием», например отказом от борьбы со злом.

Раздел I

Общетеоретические проблемы лингвистики информационно-психологической войны

1.1. Актуальные проблемы лингвистики информационно-психологической войны: краткий аналитический обзор

Замечено, что «информационные войны ведутся теперь во всем мире, охватывая все – от сканеров в супермаркетах и стандартов до телевизионных сетей и технонационализма. Назревает всеобщее информационное столкновение...» [Гуревич 2003: 15]. Создаются предпосылки исследования информационных войн, в том числе информационно-психологических, в различных аспектах, причем наименее изученным в настоящее время оказывается лингвистический аспект информационно-психологических войн. Этот аспект оказывается одним из самых востребованных для решения проблемы национальной безопасности общества и государства.

Сказанное обуславливает значимость лингвистики ИПВ – такого раздела современной политической лингвистики, объектом изучения которого является специфика использования языка как средства информационно-психологического противоборства, возникающего из-за конфликта интересов и/или идеологий. Это противоборство осуществляется путем атак на уязвимые точки в сознании противника с целью изменения картины мира и идеологии, на которых построены его социальная, политическая и экономическая системы [Gunneriusson 2017: 36]. У лингвистики ИПВ большое будущее, поскольку информационные войны, по мнению ученых, являются выражением крайней степени конфликта интересов [Baskerville 2010: 2]. Этот конфликт всегда присутствует в жизни человечества, а концепция нейтральной информационной нормы, «призванная составить альтернативу информационной войне, терпит, однако, фиаско на практике, когда ей приходится противостоять информационным атакам» [Wagnsson, Hellman 2018: 1162].

Предпосылки возникновения лингвистики ИПВ содержатся в отечественных и зарубежных исследованиях языка как средства идеологического противоборства. Не претендуя на исчерпывающее описание предыстории лингвистики ИПВ, отметим, что большую

роль в изучении языка как инструмента психологического воздействия в политических целях сыграли не только отечественные, но и зарубежные исследования в области дискурс-анализа. Уже в работах французской школы анализа политического дискурса [Maldidier et al. 1972; Guilhaumou 1989] поднимается ключевой вопрос о роли языка как средства актуализации структур бессознательного (известные термины М. Пеше [Pêcheux 1975] «забвение 1, забвение 2» говорят сами за себя). Такие средства используются для формирования и закрепления паттернов социального поведения, выгодных определенным политическим силам, прежде всего в условиях тоталитарного государства [Sériot 1989]. Понимание языка как «строительного материала» для идеологических конструкций, обеспечивающих политическим элитам воспроизводство и поддержание их власти, воплотилось на Западе в парадигме критического дискурс-анализа [Dijk 1989; Wodak 1989], а в СССР – в исследованиях лингвистического аспекта идеологической борьбы [Язык, идеология, политика 1982, 1987; Дешериев 1984 и др.].

В своем аналитическом обзоре мы исходим из концепции, изложенной в коллективной монографии [Лингвистика... 2017] и претендующей на разработку сравнительно нового направления исследований в политической лингвистике – лингвистики ИПВ. Ее концептуальным обоснованием служат теоретические положения, во-первых, политической лингвистики о языке как средстве борьбы за политическую власть и манипуляции общественным сознанием [Будаев, Чудинов 2008; Fairclough 1995 и др.], во-вторых, философии войны – о войне как противоборстве сторон с разными интересами и духовными ценностями [Керсновский 2010; Отюцкий 2010; Schmitt 2012 и др.], в-третьих, психологии войны – об условиях эффективности психологического воздействия [Караяни, Зинченко 2007; Anderson, Glass, Bernicci 1966; Gilgen and Gilgen 1997 и др.]. Концепция лингвистики ИПВ предусматривает наличие собственного терминологического аппарата и проблемного поля исследований. Необходима легитимация лингвистики ИПВ как отдельного направления политической лингвистики.

В процессе изучения проблемы использовался философский аналитический метод, задающий генеральную стратегию исследования, а также общенаучные методы систематизации и критического анализа проблемного исследовательского поля. В результате выявлен ряд наиболее актуальных проблем лингвистики ИПВ.

Проблема дефинирования ИПВ. Обязательным требованием, предъявляемым к научной дефиниции со стороны логики, является

указание на родо-видовую принадлежность понятия. Определение родовой принадлежности ИПВ в целом проблемы не вызывает. Более или менее общепринятым является разграничение информационных войн двух типов: 1) войны информационно-технической, называемой также просто технической войной, кибервойной [Семкин 2015: 37; Jakobs 2015]; 2) войны информационно-психологической, называемой также просто психологической [Смирнов 2013: 86] или психофизической [Вепринцев, Манойло, Петренко, Фролов 2015: 83–85], которая может быть латентной [Floridi 2014]. Исходя из этого, ИПВ – это разновидность информационной войны. Гораздо сложнее обстоит дело с выделением видовых признаков ИПВ – акцентирование некоторых ее характеристик зависит от научных интересов ученого и аспектов исследования. Одни исследователи включают в дефиницию указание на субъектов противоборства и его технологическую сторону; другие – нет; во многих дефинициях отмечается цель воздействия, но при этом не указываются причины возникновения ИПВ, например:

– «Информационно-психологическую войну можно определить как масштабное применение средств и методов информационно-психологического воздействия в отношении населения страны, отдельных социальных групп или индивидов и защиту от аналогичных действий в свой адрес, осуществляемое государством или иным актором международной политики для обеспечения реализации своих интересов» [Смирнов 2013: 86];

– «Психологическая война может быть рассмотрена как борьба между государствами и их вооруженными силами за достижение превосходства в духовной сфере и превращение полученного преимущества в решающий фактор достижения победы над противником» [Ефремов, Караяни, Размазнин, Целыковский 2000: 63];

– «Психологическая война – это совокупность различных форм, методов и средств воздействия на людей с целью изменения в желаемом направлении их психологических характеристик (взглядов, мнений, ценностных ориентаций, настроений, мотивов, установок, стереотипов поведения), а также групповых норм, массовых настроений, общественного сознания в целом» [Крысько 1999].

Многие исследователи не стремятся предъявлять строгие дефиниции этого понятия, давая лишь общее рассредоточенное его описание. Например, имея в виду ИПВ, С.В. Ткаченко пишет: «Смысл информационной войны заключается в нанесении населению определенной страны тяжелой культурной травмы. Это “насильственное,

неожиданное, репрессивное внедрение ценностей, остро противоречащих традиционным обычаям и ценностным шкалам», что приводит к разрушению культурного времени-пространства, а значит, и тех духовных основ, на которых держится любое общество. <...> Информационная война – это, прежде всего, нашествие определенных идей, которые разрушают национальное самосознание целого народа. Именно в этом заключается ее стратегия» [Tkachenko 2011: 8–9].

В приведенных выше дефинициях ИПВ отсутствует указание на роль языка в информационно-психологическом воздействии. Данная лакуна восполнена в предлагаемом нами определении: **ИПВ – это противоборство сторон, которое возникает из-за конфликтов интересов и/или идеологий и осуществляется путем намеренного воздействия прежде всего с помощью языковых средств на сознание противника (народа или какой-либо его страты) для его когнитивного подавления и/или подчинения, а также путем применения мер информационно-психологической защиты от такого воздействия с противоположной стороны.**

Проблема классификации целей и задач ИПВ. Большая разнородность конкретных целей ИПВ, упоминаемых в литературе, затрудняет их классификацию. Назовем лишь некоторые конкретные цели и задачи ИПВ, сгруппировав их по сферам ее проявления:

1) в политической сфере: формирование негативного отношения к власти (дискредитация руководящих органов, лидеров государства) и осуществление «демонтажа политического режима» [Кагрович, Манюло 2015: 3]; навязывание ложных целей в сфере управления, идеологическая экспансия [Панарин 2010: 12–23], продвижение во властные структуры своих агентов влияния [Цыганов, Бухарин 2007: 15]; перехват управления с помощью захвата СМИ [Почепцов 2015: 7]; дестабилизация внутривластного положения в стране, стимулирование «оранжевых революций», поощрение раскола между борющимися за власть влиятельными политическими группировками [Волковский 2003: 521]; демонизация страны противника [Normand 2016];

2) в экономической сфере: под маской заботы о народе и процветании страны – захват ее материальных ресурсов [Коровин 2014а: 22], колонизация страны;

3) в социальной сфере: разжигание вражды между разными группировками для ослабления социума [Лисичкин, Шелепин 2005: 25]; пропаганда однополых браков для снижения рождаемости [Самохвалова 2011: 66];

4) в духовных сферах:

а) в сфере религии: провоцирование и разжигание конфессиональных конфликтов и войн [Крысько 1999: 82]; проведение реформ, чреватых расколом в церковной среде [Цеханская 2013];

б) в сфере морали: формирование пренебрежительного отношения к своей стране [Беляев 2014: 5, 9]; пропаганда ложных ценностей, в частности жестокости, девиантного сексуального поведения, потребительского отношения к жизни (вещизма) [Беркович 2015];

в) в сфере культуры, искусства: дискредитация, разрушение национальной культуры, популяризация эрзац-культуры [Брусницын 2001: 151];

г) в сфере образования: стимулирование оттока квалифицированных кадров из страны-соперника (массовое производство «международных кочевников») [Самохвалова 2002], создание в ней приоритета в изучении иностранных языков по сравнению с родным и государственным, культивация отчуждения от родного языка и культуры [Шапошникова 2018: 175]; внедрение одностороннего идеологического (не в пользу страны-мишени) преподавания гуманитарных дисциплин (филологии, философии, истории, культурологии и др.) [Citron 1989], идеи необязательности гуманитарных дисциплин для успешной экономической деятельности [Грановский 2009: 87]; элиминация воспитательного (мировоззренческого) компонента в обучающем процессе [Багдасарян 2018];

д) в сфере науки: искажение, опорочение истории страны, ее научных и технических достижений [Брусницын 2001: 151], дискредитация героев русской истории [Артамонов 2011].

Осмысление целей и задач ИПВ значимо для определения коммуникативных интенций противоборствующих сторон в конкретных речевых конситуациях.

Проблема соотношения объекта и мишени ИПВ. Понятия *объекта* и *мишени* информационно-психологического воздействия не всегда четко разграничиваются [Безлепкин 2018]. Например, В.А. Баришполец пишет о том, что главными мишенями информационно-психологического воздействия выступают индивидуальное, массовое, групповое и общественное сознание, но при этом центральным объектом информационно-психологического воздействия автор считает человека, его психику и организм [Баришполец 2013: 70]. На наш взгляд, понятия объекта ИПВ и мишени ИПВ могут и должны быть разведены. Объектом ИПВ является сознание человека и общества, а мишенью – «те психические структуры,

на которые оказывается влияние со стороны инициатора воздействия и которые изменяются в направлении, соответствующем цели воздействия» (так определяется мишень в манипуляции в кн.: [Доценко 2000: 122]). Мишенями могут выступать образы в национальном сознании тех феноменов, явлений, событий, институтов и установлений и связанные с этими образами понятия и представления, отношение к которым формирует каркас ценностной картины мира социального коллектива. Обратившись к ИПВ, ведущейся против России, мы можем указать, например, на следующие типы ее мишеней: русский язык как носитель национального самосознания, память о Великой Отечественной войне, семейные ценности и православие, представление о системе образования. Другими словами, мишенями выступают психические структуры сознания, которые служат своеобразными триггерами, «запускающими» в действие те или иные модели социального поведения человека, группы людей или общества в целом.

Проблема критериев идентификации текстов ИПВ. Исходя из анализа специальной литературы, сформулируем следующие обобщенные критерии, совокупность которых позволяет квалифицировать текст, независимо от его функционально-жанровой природы, как информационно-психологическое оружие.

1. Публичный характер текста как ориентированность на сознание множественного адресата.

Поскольку любая война подразумевает множественность жертв, используются различные способы доведения информации до коллективного объекта и способы усиления ее воздействующего потенциала. Например, идеологические высказывания вкладываются в уста представителей политической, военной элиты, культуры и т. д., то есть используется опора на лидеров мнений.

2. Включенность текста в тот или иной идеологический дискурс, характеризующийся полемичностью и полярностью оценок.

ИПВ – это всегда «борьба идеологий» [Laclau, Mouffe 1985], «духовное противостояние ценностей, нравственных мотивов, религиозных чувств и т. д.» [Скворцов 2015]. Для того чтобы ее выиграть, как пишет ван Дейк, необходимо активно внедрять в массовое сознание так называемый идеологический квадрат (*ideological square*), который отражает стратегию поляризации, реализуемую четырьмя тактиками:

1) подчеркивание собственных позитивных характеристик/действий;

- 2) подчеркивание негативных характеристик/действий оппонента;
- 3) смягчение собственных негативных характеристик/действий;
- 4) смягчение позитивных характеристик/действий оппонента [Dijk 1998: 33].

3. Наличие в тексте тематики, затрагивающей государственную власть, управление и/или экономическое положение народа, представляемых в рамках дискредитирующего оценочного модуса, который потенциально предполагает появление защищающего текста с преобладанием апологетирующего модуса.

Признаками ИПВ А. А. Бернацкая считает наличие в содержательной структуре текста общественно-политического компонента, а также «исключительно или, по меньшей мере, преимущественно негативный модус представления всего, что составляет государственные устои: истории государства, национальной самоидентификации этноса, его языка, верований, ценностных ориентиров, государственных символов; внутренней и внешней политики государства, его международного имиджа; высших достижений в разных областях материального и духовного производства, выдающихся государственных, общественных, культурно-исторических личностей, – всего, что составляет национальную гордость граждан страны и обеспечивает устойчивость существования государства» [Бернацкая 2016: 242–243].

В текстах ИПВ негативный модус приобретает дискредитирующий характер, позитивный модус – характер апологетический, или восхваляющий. Для информационных атак излюбленным плацдармом является «поляризованный дискурс». Западные авторы определяют политическую поляризацию как «отхождение от центра к крайностям в политических предпочтениях» [Fiorigina, Abrams, Pope 2008: 567]. Поляризованный дискурс, пропагандируя стереотипные представления об оппоненте и очерняя его репутацию, способствует делению общества на две группы – своих (in-groups) и чужих (out-groups) [Eissa et al. 2014].

4. Наличие в тексте специфического для ИПВ языкового инструментария: приемов речевой агрессии и/или речевой манипуляции.

ИПВ – вид агрессии, направленный на открытое или скрытое воздействие на общественное сознание, поэтому речевые агрессия и манипуляция составляют неотъемлемую часть ее технологии. Причем возможна «маскировка образа агрессора как бескорыстного “спасителя” страны от язв и пороков прежнего “тоталитарного” образа жизни» [Василенко 2009: 159].

Иногда отмечают, что «политика – это всегда борьба за власть, а в этой борьбе победителем обычно становится тот, кто лучше владеет коммуникативным оружием, кто способен создать в сознании адресата необходимую манипулятору картину мира» [Будаев, Чудинов 2006: 19]. При этом «коварная» сила манипуляции состоит в том, что реципиент текста хотя и следует определенным, проложенным манипулятором маршрутом интерпретации сообщения, но тем не менее процесс смыслоформулирования производится им самим [Колмогорова, Талдыкина, Калинин 2017: 195].

5. Более или менее длительная повторяемость дискредитирующих оценок (в отношении одной и той же мишени).

Когда ситуацию оценивают как информационную войну, то в первую очередь опираются на количественные критерии. Так, сотрудник Центра оборонных исследований Российского института стратегических исследований Игорь Николайчук в интервью говорит: «Если число негативных публикаций за единицу времени превышает в пять раз число нейтральных, то мы начинаем рассматривать ситуацию как информационную войну» [Индекс агрессивности 2014]. Полагаем, что для констатации ИПВ достаточно зафиксировать преобладание дискредитирующих текстов над нейтральными и позитивными. Кроме того, нужно учесть, что дискредитация может быть не сплошной, а рассредоточенной, подаваемой малыми порциями: «В них [радиопередачах] поднимаются насущные проблемы, и, на первый взгляд, говорится все правильно, и нет противоречий с нашей действительностью. Но отдельные фразы, замечания, реплики, сказанные в нужном месте, с расстановкой нужных акцентов, по капле вливают в сознание радиослушателей убийственный яд, который подспудно разъедает души русских людей» [Гревцев 2016].

6. Пропаганда в тексте новой системы ценностей, противоречащей традиционным.

Атака на ценности – яркая примета ИПВ, ее задача – «ослабить связность народа, лишить его коллективной памяти, общего языка и системы координат, в которой он различает добро и зло. В пределе – демонтировать ту центральную мировоззренческую матрицу, на которой собран и воспроизводится народ. Если это удастся, народ рассыпается, как куча песка» [Кара-Мурза 2010: 115].

Проблема методики анализа текстов ИПВ. Поскольку текст ИПВ может принадлежать идеологическому дискурсу различной функционально-тематической направленности (это может быть как

публицистический, так и художественный текст, имеющий определенную эстетическую функцию), методологические шаги, предлагаемые критическим дискурс-анализом для работы с собственно политическим дискурсом, оказываются недостаточны. При работе с такими текстами наибольшую эффективность показывает метод лингвоидеологического анализа. Он направлен на определение идеологического содержания текста и аксиологической функции используемых в нем идеологем – особого рода концептов, заключающих в себе «коллективное, часто стереотипное и даже мифологизированное представление носителей языка о власти, государстве, нации, гражданском обществе, политических и идеологических институтах» [Малышева 2009: 35] в их языковом оформлении. Суть метода состоит в том, чтобы, анализируя композицию, стилистические приемы, интертекстуальные цепочки, семантику и прагматику ключевых слов текста, характер и смену пресуппозиций в нем, выявить и описать содержательное наполнение идеологем, «цементирующих» текст ИПВ. Подобный метод призван ответить на вопросы: что является объектом и мишенью ИПВ в данном тексте; какова суть воздействия, оказываемого на эти объект и мишень, и каковы лингвистические инструменты организации этого воздействия. (Опыт использования лингвоидеологического анализа художественного произведения представлен, например, в работе [Бернацкая 2016].)

Проблема жанровой специфики текстов ИПВ, их этоса и пафоса. Тексты ИПВ объединены общей интенцией – оказать деформирующее или разрушительное воздействие на ценностную картину мира национально-лингво-культурного сообщества, рассматриваемого в качестве идеологического противника. Однако их жанровое разнообразие практически ничем не ограничено за исключением, пожалуй, одного критерия – жанровый формат должен предоставлять возможность для интенсивного выражения этоса и пафоса. Восходя к античной риторической традиции, оба понятия связаны с когнитивными основами воздействующей силы дискурса. Под первым подразумевается «образ говорящего» как образ, конструируемый им самим при помощи манеры говорения, коммуникативного поведения и имиджа в целом [Maingueneau 1999], так и уже сформированный в сознании его слушателей благодаря предшествующему опыту и знаниям [Charaudeau 2005]. Пафос подразумевает такую организацию дискурса, которая способствует пробуждению у реципиента чувств и эмоций, способствующих принятию точки зрения, позиции говорящего [Charaudeau 2000: 125–126].

Среди литературных жанров наиболее благодатную почву для развертывания этоса и пафоса в художественном дискурсе представляет роман, но втянутыми в орбиту ИПВ оказываются и малые комические жанры (анекдот, например). Визуальный формат художественного искусства – кино – также может перевоплотиться в орудие ИПВ наряду с текстами кинокритик. Элементы ИПВ содержатся во всех типах газетных жанров: информационных, аналитических, художественно-публицистических. Но наиболее приспособленными для ведения ИПВ являются жанры памфлета, фельетона, сатирического комментария [Сковородников, Копнина 2016а]. В интернет- и медиасреде это такие жанры, как комментарий или пост в блоге, запись-мнение на страничке в социальной сети, интервью, политический рекламный ролик, креолизованный текст карикатуры. Кроме того, существуют такие явления, лингвистический статус которых определяется по-разному (жанр, форма коммуникации и т. д.): слухи, сплетни, вбросы, фейки, мемы и др.

Востребованным является изучение тропов и фигур речи, направленных на формирование того или иного пафоса в ИПВ.

Лингвистике ИПВ не чужд лингвоэкологический пафос, поскольку в результате ИПВ возникают лексико-фразеологические новации (словесные ярлыки, прозвища; слова-идеологемы с измененным лексическим значением в направлении негативации обозначаемых ими феноменов; немотивированные «модные» иноязычные заимствования и др.), имеющие прямое отношение к процессу засорения, порчи языка.

Проблема классификации речевых стратегий и тактик ИПВ.

Существующие классификации речевых стратегий и тактик предпринимались большинством исследователей вне связи с проблемой ИПВ. Для лингвистики ИПВ значимы работы, в которых рассматриваются стратегии и тактики речевой агрессии [Михальская 1996: 159–171; Щербина 2004; Петрова, Рацибурская 2011 и др.], речевой манипуляции [Rudinow 1978; Riker 1986; Newman et. al. 2003 и др.], речевой дискредитации [Руженцева 2004 и др.]. Во многих работах тактики подаются главным образом в виде перечней.

Основными речевыми стратегиями ИПВ, на наш взгляд, являются стратегии двух типов: стратегия негативации «чужих» и стратегия позитивации «своих». Стратегия негативации «чужих» представляет собой такую генеральную линию речевого поведения, которая основана на речевой агрессии и речевом убийстве как ее крайнем проявлении, дискредитации, дезинформации и на других речевых действиях, направленных на нанесение вреда противоборствующей

стороне. Стратегия позитивации «своих» основана на их глорификации, апологетике как ее частном случае и других видах речевой комплиментарности.

Названные стратегии, выделенные на основе архетипически противопоставленных категорий «свой» – «чужой», характерны как для нападающей, так и для защищающейся стороны, и в этом отношении они универсальны. Речевые тактики, реализующие те или иные стратегии, могут классифицироваться по-разному в зависимости от стоящих перед исследователем задач: на основе мишеней воздействия, по степени проявления негативации или позитивации и т. д.

Таким образом, намечаются семь основных проблем лингвистики ИПВ, решение которых будет способствовать развитию этого направления научных исследований: 1) проблема дефинирования ИПВ; 2) проблема определения целей и задач ИПВ, как правило, скрывааемых в дискурсе ИПВ; 3) проблема соотношения понятий объекта и мишени ИПВ; 4) проблема выявления критериев идентификации текстов как текстов ИПВ; 5) проблема методики анализа текстов ИПВ; 6) проблема жанровой специфики ИПВ; 7) проблема классификации речевых стратегий и тактик ИПВ. Не менее актуальными являются проблемы исследования языка таких коммуникативных форм, как вбросы, слухи и т. п., а также обширного языкового инструментария во всех разновидностях ИПВ. Эти проблемы могут составить предмет отдельных научных изысканий.

1.2. Основные направления развития российской лингвистики информационно-психологической войны

Введение: актуальность исследования. В связи с вхождением цивилизации в информационную стадию развития и стремительным внедрением цифровых технологий в начале XXI века усиливается потребность выработки лингвистических основ противодействия информационной агрессии в медиасфере. Можно ли считать тему информационной войны искусственно созданным журналистами хайпом (от англ. *hype* – шумиха), будоражащим сознание обычных людей? Очевидно, что нет. На фоне прогресса сетевых коммуникаций

информационная война становится вызовом XXI века. В отличие от физической она не представляет выраженной угрозы уничтожения противника. В общей картине медиареальности информационная война часто малозаметна, однако в руках сетевых менеджеров ее воздействующий потенциал был неоднократно реализован деструктивно, о чем свидетельствуют факты «твиттер-революций» в Молдове, Иране, Тунисе, Египте, Украине, результатом которых в 2010-х годах стали беспорядки и смена власти.

Новейшая история показывает, что информационные войны в СМИ предшествуют «горячим» конфликтам, подготавливая общественное мнение к силовым действиям. Подогретая экстремистскими, расистскими, националистическими, русофобскими и другими идеологическими настроениями, селективная подача информации в СМИ моделирует картину мира, которая не только предопределяет набор отрицательных оценок, избранных для освещения событий, но и способна провоцировать разрушительные действия со стороны определенных социальных групп, что представляет серьезную угрозу стабильности государства, его национально-стратегическим интересам и приоритетам. При отсутствии мер защиты информационная война может иметь далекоидущие негативные последствия, поскольку способна дестабилизировать отношения между народами.

Ведение информационной войны в широком смысле предполагает противоборство в информационной среде и средствах массовой информации в политических целях [Война и мир 2004]. В подписанной в 2016 году Президентом России Доктрине информационной безопасности Российской Федерации декларируется одна из приоритетных государственных задач – обеспечение информационной безопасности: «защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз» [Доктрина 2016].

В документе отмечается тенденция к увеличению «в зарубежных средствах массовой информации объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики Российской Федерации», а также наращивание информационного воздействия «на население России, в первую очередь на молодежь». Информационная война, осуществляемая в СМИ, создает опасность нанесения ущерба национальным интересам. Поэтому важными направлениями обеспечения информационной безопасности России названы «прогнозирование, обнаружение и оценка информационных угроз» и «нейтрализация информационно-психологического воздействия, в том числе направленного на подрыв исторических основ и патриотических

традиций, связанных с защитой Отечества», а также на «размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [Там же].

В этой связи все более актуальным становится комплексное лингвистическое изучение информационной войны и языка информационно-психологического противоборства.

Дискурсивное измерение лингвистики информационно-психологической войны. В военно-политических традициях информационная война определяется как «интенсивное противоборство в информационном пространстве с целью достижения информационного, психологического и идеологического превосходства, нанесения ущерба информационным системам, процессам и ресурсам, критически важным структурам и средствам коммуникаций, подрыва политической и социальной систем, а также массивной психологической обработки личного состава войск и населения» [Война и мир 2004].

На протяжении последнего пятидесятилетия неуклонно растет интерес к информационной войне как коммуникативной технологии воздействия на массовое сознание. Подтверждением служат данные общероссийской электронной библиотеки eLIBRARY (<https://elibrary.ru/>). За период с 2003 по 2018 год в ней зафиксировано 713 научных публикаций, авторы которых обращаются к изучению этого сложного феномена (рис. 1.1). Углубляются представления о возможных аспектах исследования информационной войны с учетом технических, экономических, аксиологических, медийных, коммуникативных, психологических, семиотических, когнитивных особенностей реализации феномена в дискурсе, а также возможностей лингвистического моделирования [Кушнерук, Курочкина 2019].

Закономерно возникновение **лингвистики информационно-психологической войны**. Годом ее рождения по праву можно считать 2017, что связано с выходом в свет монографии авторского коллектива (А. А. Бернацкая, И. В. Евсева, А. В. Колмогорова, Г. А. Копнина, Б. Я. Шарифуллин) под редакцией профессора А. П. Сковородникова [Лингвистика... 2017]. В ней впервые обосновано появление нового научного направления в рамках политической лингвистики, обозначено его предметное поле, междисциплинарные основания (философские, психологические, политологические), представлена проблематика и основной терминологический аппарат. Публикация получила высокую оценку в рецензиях отечественных специалистов [Веснина, Нахимова 2017; Дударева, Нахимова, Рязанцева 2017].



Рис. 1.1. Частотность индексирования словосочетания «информационная война» в электронной библиотеке eLIBRARY

Разумеется, работа по исследованию отдельных аспектов информационно-психологической войны и языка противоборства велась филологами много раньше появления указанной монографии, преимущественно в рамках политической лингвистики [Бернацкая 2016; Борисова 2016; Васильев, Подсохин 2016; Желтухина, Павлов 2016; Иванова 2016; Красовская 2016; Синельникова 2014; Чудинов 2014, 2015а, 2015б; Чудинов, Цыганкова 2016 и др.]. Эти труды, равно как и труды нелингвистов – военных, политологов, правоведов, историков, социологов, философов, журналистов, – следует рассматривать как необходимое для оформления научного направления предпосылочное знание. Они предшествуют появлению комплексной дисциплины, акцентирующей внимание на использовании информации с целью нанесения ущерба противнику через языковое воздействие на когнитивные схемы интерпретации действительности.

Подчеркнем, что их обсуждение остается за рамками раздела по двум причинам: во-первых, критический анализ наиболее значимых в указанном отношении научных произведений уже производился [Лингвистика... 2017]; во-вторых, нас интересует, как развивается новое научное направление в работах отечественных филологов после публикации первой монографии, в которой представлено системное обоснование лингвистики ИПВ, то есть после того, как лингвистика ИПВ «заявила о себе» как о самостоятельном направлении.

Полагаем, что лингвистика ИПВ вошла в состав «филологической федерации». Именно так основатель Уральской школы политической лингвистики А. П. Чудинов характеризует ситуацию в современном науковедении, отражающую тенденцию к объединению научных направлений и школ, которые обладают различным статусом и используют максимальное разнообразие методов. Безусловно, наука как «составная часть федерации лингвистических наук» «должна иметь специфический объект исследований, собственный понятийно-терминологический аппарат, должна получить признание в научной среде» [Чудинов 2015б: 127].

В этом отношении обобщенный **объект** лингвистики ИПВ – использование языка как средства ведения информационно-психологических войн. В рамках названного направления современного языкознания определяется и закрепляется ключевой термин: **информационно-психологическая война**; это «противоборство сторон, которое возникает из-за конфликта интересов и/или идеологий и осуществляется путем намеренного, прежде всего языкового, воздействия на сознание противника (народа, коллектива или отдельной личности) для его когнитивного подавления и/или подчинения, а также посредством защиты от такого воздействия» [Лингвистика... 2017: 13].

По нашим наблюдениям, лингвистика ИПВ в последние два года приобретает **дискурсивное измерение**, что подтверждается выходом второй монографии, посвященной языку информационного противоборства в его языковом выражении в разных дискурсивных практиках [Лингвистика... 2019], а также многочисленных научных статей, в которых ИПВ рассматривается как дискурсивный феномен. Проанализируем отечественные статьи и монографии, опубликованные в 2017–2018 годах, по двум тематическим рубрикам: «Языкознание» и «Массовая коммуникация», поскольку именно они являются реакцией на парадигмальный стимул современной лингвистики в ее когнитивно-дискурсивном варианте. Частная задача заключается в том, чтобы выявить специфику в изучении ИПВ как дискурсивного феномена.

Лейтмотивом большинства российских публикаций является мысль о том, что ИПВ разворачивается в СМИ и характеризуется трансляцией деструктивных смыслов, искажением фактов, психологическим и языковым воздействием на аудиторию. Согласно Закону РФ «О средствах массовой информации», под СМИ понимается «периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал,

радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием» [Закон РФ... 2019].

С точки зрения дискурсологии СМИ трактуются как совокупность публикуемых текстов (сообщений, материалов), предназначенных для неограниченного круга лиц и распространяемых по соответствующим каналам. Язык СМИ представляет собой особый дискурс, специфика которого обусловлена тем, что основной целью массовой коммуникации в настоящее время является не столько информирование граждан, сколько распространение информации для оказания воздействия на общество [Высоцкая, Петрова 2018].

Поднимая вопрос о стадийности развития языка российских СМИ, выделяют три «новейших» (постперестроечных) периода в его становлении:

1) 1991–2005 годы – «карнавализация» языка (период антинормы, категоричность оценок, речевая агрессия);

2) 2005–2014 годы – законодательное регулирование языка СМИ (освобождение текстов от оскорблений, инвективной, обценной лексики, назначение лингвистической экспертизы);

3) с 2014 года по настоящее время – новые информационные войны (политические кризисы как факторы трансформации языка СМИ): «становятся востребованными прямые идеологические оценки, словесные ярлыки, активизируются технологии манипуляционного воздействия» [Там же: 43].

Как отмечают И.В. Высоцкая и Н.Е. Петрова, текущему периоду развития языка российских СМИ свойственна «повышенная идеологизация», которая находит выражение в представлении Запада как «экзистенциального противника» [Там же: 43]. Считаем, что такое положение дел можно рассматривать как частное проявление общемировой тенденции усиления оппозиционной модели «свои – чужие» в СМИ в контексте информационного противоборства.

Определяя исходные позиции для исследования информационного противоборства в СМИ, российские специалисты подчеркивают, что информационные войны ведутся за общественное сознание. Подобные утверждения выступают в качестве аксиом, сам феномен информационной войны, как правило, не вызывает у авторов сомнений и, в силу кажущейся очевидности, в ряде случаев не получает конкретного определения. ИПВ в таком случае воспринимается как «состояние медиадискурса, которое заключается в последовательном

и систематическом конструировании реальности, причиняющей вред какому-либо объекту и/или его образу, функционирующему в медиадискурсе» [Проблемы конструирования идентичности... 2017: 33].

Вместе с тем в научных публикациях отсутствует единообразие в выборе рабочего термина, что влечет регулярную синонимическую замену терминосочетаний *информационно-психологическая война* и *информационная война* в пределах одной статьи. Бросается в глаза **методологическая неоднородность** современных отечественных исследований. Она обнаруживается в сосуществовании разных подходов и методик, используемых для изучения противоборства в информационной сфере. Сопутствующими такому положению дел обстоятельствами являются **рекуррентность топосов** и **терминологическая вариативность**.

Отметим наиболее значимые проявления.

Термин *топос* мы избираем для обозначения тематических центров, характерных для научных публикаций текущего периода, соглашаясь с тем, что топосы не ограничиваются набором общих тем, но также представляют собой аксиологические центры, позволяющие расставить ценностные акценты в дискурсе [Дубровская, Рева, Кожемякин, Ярославцева, Арехина 2017]. Топосы имеют контекстуальную обусловленность и способствуют формированию схожих выводов относительно особенностей реализации ИПВ в СМИ. В российском научном пространстве регулярно обнаруживаются топосы, которые можно объединить на основе деятельности институтов по удовлетворению потребностей общества в области внешней и внутренней политики:

1) **внешняя политика:** *российско-американские отношения* [Кошкарова, Руженцева, Зотова 2018; Озюменко 2017]; *российско-британские отношения* [Кушнерук 2018а, 2018б; Россия глазами Европы 2018; Тагильцева 2018б]; *российско-германские отношения* [Россия глазами Европы 2018; Селиванова 2017; Уразаева, Морозов 2017]; *германо-американские отношения* [Голодов 2018а]; *российско-украинские отношения* [Кошкарова, Руженцева, Зотова 2018; Красовская 2017а; Лаухина, Туркин 2017; Цыцаркина 2018; Шулежкова 2017]; *ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке* [Зарипов 2017; Озюменко 2017; Шулежкова 2017; Юсупова, Теплых 2017]; *цветные революции* [Шулежкова 2017];

2) **внутренняя политика:** *национально-гражданская идентичность* [Проблемы конструирования идентичности... 2017]; *религия*

[Копнина 2017]; *семья* [Прилукова 2018]; *спорт*: Олимпийские игры в Сочи 2014 г. [Шулежкова 2017]; чемпионат мира по футболу 2018 года [Голодов 2018б; Коцюбинская 2018а; Кошкарлова 2018; Россия глазами Европы 2018]; *культура*: роль художественной литературы в ведении ИПВ [Бернацкая 2017, 2018; Лингвистика... 2019].

Одно и то же явление часто обозначается по-разному: *информационная агрессия / медийная агрессия / информационное давление; фейковые новости / фальшивые новости / медиафейки; стратегия диффамации / метод диффамации* и др. В последнем случае, например, неясно, чем отличается *стратегия диффамации* от *метода диффамации*. Сочетание лексемы «метод», имеющей закрепленное содержание в методологии лингвистики как совокупности связанных с теорией установок, с лексемой «диффамация», используемой при характеристике текстов общей дискредитирующей направленности, представляется не вполне уместным, если речь идет о коммуникативно-прагматическом уклоне исследования, когда автор фокусирует внимание на выявлении специфики организации речи в интенциональной плоскости. В этом случае предпочтительным считаем терминосочетание *стратегия диффамации*.

Российские специалисты часто используют не соотнесенные ни друг с другом, ни с объектом исследования понятия, границы которых нечетко обозначены. С нашей точки зрения, их содержательный объем остро нуждается в уточнении. Например, при описании ИПВ в зарубежных СМИ нередко обсуждается феномен либо эффект *демонизации*. В ряде публикаций демонизация характеризуется как дискурсивная практика, в других – как прием манипулятивного воздействия, в иных альтернативах – как стратегия речевого воздействия, реализуемая для преднамеренного введения читателей в заблуждение. Очевидно, что применительно к исследованию ИПВ требуется бóльшая определенность в разграничении терминов *стратегия, тактика и прием*.

В настоящее время в лингвистике ИПВ формируется и закрепляется **круг смежных понятий**, описывающих составные части информационно-психологической войны и способы информационного противоборства: *информационная атака, постправда, фейк, дезинформация* [Иванова Е. А. 2017; Корецкая 2017а, 2017б; Коцюбинская 2018б; Кошкарлова 2018; Самкова 2018; Чанышева 2018]. В содержательном отношении перечисленные феномены предполагают использование ложной либо искаженной информации и исследуются аспектно, как правило, на лексическом уровне.

Так, Л. В. Коцюбинская проводит семантический анализ словосочетания «информационная атака». Объем понятия раскрывается как целенаправленное, спланированное, массированное информационное воздействие на адресата в соответствии с поставленными организаторами задачами. Оружием информационных атак названы слова, картины, образы [Коцюбинская 2018б].

Большой интерес для исследования представляет феномен постправды. Изначально в английском языке слово *post-truth* – прилагательное, в русском языке регулярно употребляется существительное *постправда*. Согласно словарю Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus, *post-truth* (adj.) – *relating to a situation in which people are more likely to accept an argument based on their emotions and beliefs, rather than one based on facts* (<https://dictionary.cambridge.org/>). Лексема используется для характеристики ситуации, в которой люди с большей вероятностью принимают аргументы, основанные на эмоциях и убеждениях, чем на фактах.

Е. А. Иванова рассматривает феномен постправды как политический неологизм, получивший широкое распространение во время президентской предвыборной кампании в США (2016 г.). Анализируется языковая репрезентация и оценка этого явления англоязычным сообществом [Иванова Е. А. 2017]. Представляется, что появление неологизма *post-truth/постправда* в указанное время нужно также связывать со стремлением медиаменеджеров к эвфемизации для смягчения речи при описании негативных процессов.

Как многие другие эвфемизмы, используемые в условиях ИПВ (*задержание* вместо *арест*, *оперативно-разыскные мероприятия* вместо *облава*, *эвакуированное население* вместо *беженцы* и др.), лексема *постправда* на первый взгляд имеет несколько расплывчатую семантику. Фактически же она выполняет роль «горького лекарства в сладкой оболочке». Уместным здесь считаем метафорическое определение эвфемизмов М. Л. Ковшовой (<https://sn.ria.ru/20150826/1208057832.html>), потому что ложь и обман (явления негативные, «горькие», осуждаемые в обществе) «прикрываются» правдой (явление морально одобряемое, ассоциируемое со справедливостью и честностью), хоть в некоторой степени ограниченной и/или переосмысленной (*post-/пост-* имеет значение «возникший после того, что обозначено мотивирующим словом»).

Выходя за пределы лексикологического анализа, широкую трактовку постправды дает З. З. Чанышева. Предпринимается попытка обосновать лингвистику постправды как автономное научное

направление, исследующее информационные искажения, ложь, слухи, домыслы, сплетни, непроверенную информацию, анонимные сообщения [Чанышева 2018: 278]. Появление лингвистики постправды пока еще очень сомнительно в силу «младенческого возраста» самого феномена, отсутствия систематических лингвистических данных и недостаточной разработанности теоретико-методологических оснований. Однако нельзя не согласиться с тем, что постправда как постмодернистское явление, связанное с распространением ложной информации эмоциогенного характера, входит в повседневную практику производства новостей.

Феномен постправды в медиакommunikации отражает снижение роли фактов и доказательств. Эту ситуацию комментирует профессор С. В. Чугров: «В мире постправды эмоции замещают факты, а фейки – новости, задавая тон конструированию политического дискурса и альтернативной реальности» [Чугров 2017: 42]. В таком понимании серьезной методологической проблемой становится разграничение постправды и фейка. Последний чаще всего относят к приемам манипулирования общественным мнением и называют средством ведения ИПВ [Корецкая 2017б; Кошкарова 2018; Цыцаркина 2018].

В стилистическом отношении фейковые новости создаются как «настоящая новость», но являются ложными полностью или частично, непроверенными, поддельными. Н. Н. Кошкарова устанавливает маркеры фейковых новостей, а также рассматривает соотношение понятий *факт* и *фактоид* в современной журналистике. Практическую ценность имеют рекомендации относительно того, как распознать фейк: 1) обращать внимание на количество перепечаток; 2) проверять, кому принадлежит тот или иной материал или информация; 3) анализировать текст с лингвистической точки зрения; 4) пользоваться интернет-ресурсами для проверки подлинности фотографий; 5) быть взыскательным и требовательным читателем: не доверять броским заголовкам, непроверенной информации, полагаться на имеющийся опыт и знания политической ситуации [Кошкарова 2018].

Подобные статьи являются первым шагом на пути систематизации дискурсивных факторов, влияющих на производство фальсифицированных историй и их восприятия аудиторией. При сохранении научной траектории они смогут привести к представлению релевантных критериев для отнесения новости к категории фейка.

Попытка изучения лингвопрагматической организации дезинформирующего медиатекста производится М. А. Самковой. В авторском варианте реализация стратегии дезинформации исследуется

методами лингвопрагматического и позиционного анализа с применением методики исследования лексических ритмов суггестивного текста [Самкова 2018]. Нельзя не согласиться с тем, что изучение дезинформации на текстовом уровне актуально и своевременно. Думается, однако, что процесс осмысления может оказаться более результативным для лингвистики ИПВ в случае выхода за рамки лексического уровня анализа и использования междисциплинарных связей. Такая установка позволит обеспечить глубокое понимание того, что можно считать элементами дезинформации и внести большую ясность в соотношение понятий *дезинформация*, *манипулирование*, *ложь*, *обман* применительно к медиакоммуникации.

Главной нерешенной лингвистической задачей в исследованиях дезинформации остается вопрос о квалификации медиатекста как вводящего в заблуждение. Представляется, что эта проблема напрямую связана с более крупным «камнем преткновения» в поле лингвистики ИПВ – выработкой критериев отнесения речевого произведения к оружию информационного противоборства, о чем еще в первой книге писал А. П. Сковородников [Лингвистика... 2017].

Несмотря на то что положения, согласно которым речевое произведение можно квалифицировать как информационно-психологическое оружие, активно обсуждаются отечественными учеными [Бернацкая 2017, 2018; Копнина 2017, 2018], методологическая проблема полностью не решена. Производится попытка выделить отдельные признаки текстов ИПВ, такие как подача бездоказательных утверждений, в том числе генерализирующего характера, в форме вопросительных конструкций и др. [Копнина 2017].

Убедительно звучат рассуждения А. А. Бернацкой о признаках идеологической ангажированности текста, устанавливаемых в связи с качественно-количественной интенсивностью идеологического компонента содержания. Применительно к текстам литературы это предполагает анализ имеющейся «идеологической истории» произведения и его автора (биография, рецензии, интервью). При анализе текстов, конституирующих дискурс, важно учитывать контекст создания речевого произведения в совокупности интра- и экстралингвистических факторов. Помимо названных, критерием отнесения произведения (или его частей) к оружию ИПВ можно считать «стабильно негативный вектор оценочности по отношению к основным объектам и мишеням манипулятивного воздействия» [Бернацкая 2018: 72].

В феноменологическом отношении ИПВ присущи формы ограничения реальности, которые создаются в СМИ в соответствии

с интересами политических и экономических элит, что часто приводит к искаженной медиакартине. Анализ существующих в настоящее время отечественных научных публикаций дает возможность установить ряд характеристик ИПВ в дискурсе современных СМИ:

1) ИПВ – это **дискурсивный конструкт**, наличие которого осознается в результате конструирования соответствующей медиареальности;

2) ИПВ репрезентируется в СМИ как **ненормативный феномен**: все, кто ее ведет, оцениваются отрицательно;

3) **субъектами** ИПВ выступают две противоборствующие стороны (**субъект-1** – инициатор и **субъект-2** – противостоящий инициатору субъект);

4) **объектом** ИПВ является сознание целевой группы или отдельных индивидов (читателей/слушателей/зрителей), **мишенью** – отдельные стороны действительности, негативно оцениваемые в СМИ;

5) **инициатор** ИПВ (субъект-1) не совпадает с **актором** ИПВ в случае, если первый является заказчиком (властные элиты), а второй – исполнителем (орган СМИ);

6) ИПВ находит регулярное проявление в дискурсивном конструировании **образа врага** (Запада, России, США, Великобритании и пр.);

7) **ИПВ** может быть **внутренней/односторонней**, когда субъект, относительно которого создается образ врага, не знает об этом (американский медиадискурс ведет ИПВ против России, адресуя сообщения англоязычной аудитории; российские медиа ведут ИПВ против Запада, адресуя сообщения россиянам);

8) ИПВ наносит **урон** не субъекту противоборства, а **объекту** в виде иррационального воздействия, задаваемого текстовой экспрессивностью, что ведет к усилению тревожности и беспокойства массового адресата;

9) **парадокс ИПВ**: утверждение стороны А о том, что некая сторона В ведет ИПВ, вместе с тем утверждает причастность А к ИПВ против В [Проблемы конструирования идентичности... 2017: 35].

В настоящее время в отечественной лингвистике обнаруживаются сосуществующие **линии исследования ИПВ**. Представим наиболее значимые из них, чтобы очертить актуальную проблематику и доказать, что за явным разнообразием публикаций лежит принципиальное единство понимания ИПВ как дискурсивного феномена.

Коммуникативно-прагматическое направление исследований информационно-психологической войны. ИПВ исследуется в единстве коммуникативных, прагматических и функциональных

факторов. Последний из названных мы воспринимаем в трактовке Е. С. Кубряковой: «язык представляет собой инструмент, орудие, средство, наконец, механизм для осуществления определенных целей и реализации человеком определенных намерений» в познании действительности и социальной интеракции [Язык и наука... 1995: 217]. В широком понимании триединство обеспечивается тем, что специалисты обращаются к сложному феномену внешней (внеязыковой) среды (информационное противоборство) и устанавливают особенности его оязыковления в определенных сферах коммуникации, преимущественно политической и медийной (в соответствующих дискурсах).

Коммуникативный уклон во взаимодействии с прагматическим и функциональным дает возможность сосредоточиться на контексте ИПВ, включающем политическую обстановку, время, условия, ситуации, участников, цели, задачи, итоги коммуникации. Специалистов интересуют принципы и способы организации речи в соответствии с теми или иными целеустановками. Обобщенным предметом исследований выступают коммуникативные (речевые) стратегии и тактики, которые используются в ведении информационно-психологических войн, а также лингвопрагматические характеристики феноменов, функционирующих в условиях ИПВ.

Одним из объектов научного притяжения в настоящее время является феномен **информационной агрессии**. Н. Н. Кошкарлова, Н. Б. Руженцева, Е. Н. Зотова анализируют лингвопрагматические особенности репрезентации феномена «российская агрессия» на страницах американских СМИ [Кошкарлова, Руженцева, Зотова 2018]. Обращаясь к американским и британским СМИ, В. И. Озюменко описывает стратегии и тактики вербальной и невербальной агрессии в контексте информационной войны. Выявляются особенности реализации стратегий устрашения, идеологической поляризации, введения в заблуждение, а также серии тактик (сокрытие фактов, фабрикация фактов, ложное оперирование понятиями, бездоказательные утверждения, утверждение и повторение, уход от определенности и др.), благодаря которым осуществляется манипуляция в англоязычных СМИ и усиливается функция информационной агрессии [Озюменко 2017].

Информационная агрессия определяется как «выражение открытой неприязни и враждебности к референту и целенаправленное воздействие на сознание адресата с целью его идеологического подчинения» [Там же]. При этом терминосочетания *информационная агрессия*

и *медийная агрессия* используются синонимично. Отмечается, что медийная агрессия может проявляться по отношению к референту (политическим или идеологическим оппонентам), а также по отношению к аудитории (с целью вызвать у нее враждебные чувства). Представляется, однако, что отождествление агрессии информационной и медийной правомерно только в том случае, если медиа толковать расширительно, включая новые медиа – СМИ в цифровом формате, предполагающие активное участие пользователей в распространении контента, а также социальные сети, ставшие полноправными участниками информационного поля.

Удачной можно признать попытку автора установить соотношение понятий информационной войны и информационной агрессии как целого и части. Дальнейшие рассуждения о реализации информационной агрессии посредством медиа могли бы привести к разграничению ИПВ на внешнюю и внутреннюю. В первом случае противоборствующими сторонами оказываются представители разных лингвокультур. Во втором случае возникает оруэлловская трактовка ИПВ, когда собственных граждан убеждают в наличии врага, с которым идет борьба.

В большинстве случаев речевые тактики и приемы рассматриваются как часть **технологии ИПВ**. В фокусе внимания ученых нередко оказывается одна стратегия, которая представлена рядом тактик и приемов [Агапова, Гущина 2017; Копнина 2017]. Г. А. Копнина доказывает, что реализация речевой стратегии дискредитации православия проявляется в нескольких направлениях: как религии в целом, Русской православной церкви как социального института, православных священников и прихожан, православных святых и святых русского народа [Копнина 2017].

Признание того, что манипулятивное воздействие в СМИ проявляется в формах речевого воздействия, делает традиционным описание **приемов речевого воздействия**, благодаря которым актуализируется коммуникативная/речевая стратегия. К приемам речевого воздействия, направленным на реализацию стратегии демонизации, относят апелляцию к авторитету, стереотипам, фоновым знаниям адресата, персонализацию события, использование полуправды, устрашение, предъявление обвинений [Юсупова, Теплых 2017]. Спектр манипулятивных приемов дискредитации православия включает приемы референциальной манипуляции; негативно-оценочные риторические определения и противопоставления православия другим религиям; сочетания слов «православие» и его дериватов

со словами, имеющими негативно-оценочные коннотации; постановка слова «православие» в синтаксически однородный ряд с понятиями, обозначающими социально неодобряемые явления [Копнина 2017: 208]. В других работах представлены иные типологии. Многообразие приемов речевого воздействия, выявляемое авторами в национальном и инонациональном дискурсах СМИ, поистине необозримо. Думается, однако, что это размывает само понятие, представляет методологическую проблему и нуждается в большей ясности.

Лингвопрагматическая специфика реализации ИПВ в СМИ изучается на примере конкретных политических событий. В исследуемый период одним из «нашумевших» является «дело Скрипалей», спровоцировавшее информационно-политический конфликт между Великобританией и Россией в 2018 году. Ю. Р. Тагильцева систематизирует средства, благодаря которым создается «демонический» образ России как страны-агрессора и реализуются три стратегии: психологического напряжения (тактика создания образа тяжелого прошлого, тактика образа врага, тактика наклеивания ярлыка, тактика намека), дискредитации (тактики предположения, обвинения, разоблачения, обращения к авторитетному лицу, оскорбления) и диффамации (тактика указания на некомпетентность мишени, тактика нагнетания порочащей информации) [Тагильцева 2018а, 2018б].

В рамках коммуникативно-прагматического направления исследуются особенности **речевых жанров** как крупных коммуникативных единиц, имеющих устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип построения текста и способных служить целям информационного противоборства. В этом отношении большой интерес представляет лингвопрагматический анализ памфлета и панегирика как жанров-антиподов в аспекте противостояния идеологий в российских массмедиа и специфики их лингвистического оформления [Сковородников, Копнина, Анисимова 2018]. Работа методологически усиливается контекстуальным анализом, направленным на установление аксиологической функции используемых языковых единиц «путем вычленения, демонстрации и комментирования высказываний и фрагментов текста, обуславливающих в совокупности своих контекстуальных связей его аксиологическую тональность» [Там же: 49]. Доказывается, что памфлет и панегирик представляют собой жанры, наилучшим образом предназначенные для идеологического противоборства, поскольку используемые в них выразительные средства носят оппозиционный оценочный характер и группируются в рамках категорий глорификации и негативации.

Жанр как «коммуникативное орудие» ИПВ и его роль в создании негативного имиджа России в англоязычной медийной коммуникации рассматривается Е. Н. Горбачевой. Устанавливается специфика перформативного речевого жанра «обвинение» как коммуникативного поступка в ситуации информационной войны [Горбачева 2017].

Отметим, что появляется все больше работ, в которых изучаются особенности конструирования имиджа (страны, народа) в условиях ИПВ. Это связано с тем, что в последние годы проводятся международные научные конференции, посвященные вопросам конструирования имиджа в условиях мира и информационной войны, которые привлекают внимание большого числа специалистов [Образ России... 2017; Wizerunek 2019]. Сопутствующими являются статьи и монографии, авторы которых ставят цель выявить специфику актуального образа объекта или события, создаваемого медиамеджерами, установить особенности имиджа в СМИ сквозь призму языка.

Особое внимание уделяется актуализации ментальных репрезентаций в медийном и политическом дискурсах, а также оценочным средствам и текстопостроительным моделям, формирующим и закрепляющим в сознании реципиентов определенные картины мира [Зарипов 2017; Каблуков 2017; Кокурина, Хорецкая 2018; Коцюбинская 2018б; Кушнерук 2018а, 2018б; Лаухина, Туркин 2017; Образ России... 2017; Павлова 2017; Попова, Зарипов 2017; Проблемы конструирования идентичности... 2017; Россия глазами Европы 2018; Тагильцева 2018а, 2018б; Уразаева, Морозов 2017; Шулежкова 2017].

Помимо коммуникативного аспекта, названные работы учитывают **когнитивные факторы**, которые влияют на объективацию имиджа в медиакommunikации. Публикации имеют имагологическую направленность, то есть в них решаются частные задачи, вытекающие из общей цели **имагологии** (в других терминах – *имиджология, имиджлогия*) как активно развивающегося направления современного языкознания. По мнению основоположников теории Дж. Лиерссена и М. Беллера, она заключается в описании происхождения, процессов становления и функций национальных предрассудков и стереотипов с тем, чтобы вывести их на поверхность, проанализировать и дать о них рациональное представление [Beller & Leerssen 2007: 7].

В имагологическом плане усматривается обязательная связь информационно-психологической войны с конструированием **обобщенного образа врага**: в российских СМИ – Запада как внешнего

врага и оппозиции (пятой колонны) как врага внутреннего; в зарубежных СМИ – России как врага западного мира [Зарипов 2017; Каблуков 2016, 2017; Казаченко 2018; Кушнерук 2018а, 2018б, 2018в; Морозова 2018; Павлова 2017; Попова, Зарипов 2017; Проблемы конструирования идентичности... 2017: 35]. Выявляются семантико-стилистические особенности медиатекстов, устанавливаются семантические доминанты, которые реализуются с помощью различных языковых средств и речевых приемов для создания медиаобраза России [Морозова 2018].

Отечественные специалисты стремятся ответить на вопрос, как создается образ России в инациональных медиадискурсах – американском, британском, немецком, французском, – контролируемых крупнейшими медиагигантами, в числе которых Reuters, Associated Press, Agence France-Presse и др. В аксиологическом аспекте определяется роль языка в формировании образа мира и системы ценностей в общественном сознании.

Вырабатывается единство мнений относительно того, что западные СМИ консолидированы в вопросах противостояния России и их усилия направлены на демонизацию образа нашей страны, ее лидера, дискредитацию действий президента, создание образа врага [Зарипов 2017; Попова, Зарипов 2017; Россия глазами Европы 2018; Уразаева, Морозов 2017]. При этом подчеркивается, что негативное информационное воздействие на читателей преимущественно осуществляется в эмоциональной плоскости посредством образно-метафорических номинаций [Коцюбинская 2018а; Попова, Зарипов 2017: 125].

Признание того, что структуры сознания и структуры языка находятся в активном взаимодействии, а коммуникация в обязательном порядке опосредована ментальными процессами участников, имеющих опыт взаимодействия с внешней средой и основанное на нем мировидение, включенных в широкий культурный, социальный, политический контекст, стимулирует развитие когнитивно-коммуникативного направления.

Когнитивно-коммуникативное направление исследований информационно-психологической войны. ИПВ обобщенно трактуется как система способов информационно-психологического воздействия на сознание, используемая для формирования и/или изменения картины мира адресата в направлении, необходимом акторам ИПВ [Гаврилов 2018; Каблуков 2017; Кокурина, Хорецкая 2018; Коцюбинская 2018а; Проблемы конструирования идентичности... 2017; Цыцаркина 2018].

Воздействие на когнитивную сферу прочно ассоциируется с понятием **манипуляции**, которая воспринимается как форма управления знаниями, мнениями, убеждениями, контролирующими поведение людей. Она представляет собой мультимодальный феномен, включающий коммуникативный, психологический, этический, социальный, когнитивный, семиотический и дискурсивный аспекты. Принципиально, что манипуляторы осуществляют контроль над массами людей против их воли и интересов. Идеологическое подчинение возникает в результате внушения (воздействие на эмоции) и убеждения (воздействие на разум).

Манипуляция в СМИ является дискурсивной социальной практикой, реализуемой посредством письменных текстов, устной речи и визуальных образов. Говоря о манипуляции в ракурсе речевого воздействия, специалисты имеют в виду использование скрытых возможностей языка для воздействия на сознание, благодаря чему «прививаются» нужные манипулятору идеи. Это происходит в соответствии с принципом «социального эгоизма», то есть «все формы интеракции и дискурса имеют тенденцию отвечать в первую очередь интересам адресантов» [Дейк 2014: 259]. Манипуляция массовым сознанием признается главным элементом психологических операций и информационной войны.

К приемам манипулятивного воздействия относят дезинформацию, демонизацию, запугивание [Гаврилов 2018]. В большинстве работ подчеркивается, что в случае манипуляции информация подчинена конкретным целям, а политические элиты стремятся навязать коллективам людей определенные взгляды с целью получить одобрение собственных действий [Агапова, Гущина 2017; Лаухина, Туркин 2017; Озюменко 2017; Самкова 2018; Юсупова, Теплых 2017].

С большей или меньшей степенью полноты авторы стремятся описать языковые средства, благодаря которым «диагностируется» манипуляция в медиакоммуникации разных стран. Лингвистический анализ средств ведения информационной войны в англоязычном либеральном дискурсе и механизмы модификации значения языковых единиц в политических целях представлены в работе Н.М. Потаповой, где производится лингвостилистический анализ высказываний на семантическом (прямые значения слов) и метасемиотическом (функционирование слов в речи, коннотации в контексте употребления) уровнях [Потапова 2018].

Комплексный характер носит исследование восприятия журналистских заголовков украинской газеты «Сегодня» за 2018 год

[Артамонова, Ефименко 2019]. В материалах, тематически связанных с Луганской и Донецкой Народными Республиками, выделяются четыре типа языковых средств манипулирования: графические (использование кавычек), лексико-семантические (экспрессивно окрашенная лексика), семантико-синтаксические (гиперболизация, смысловое сращивание, каламбуры), фразеологические (устойчивые сочетания, пословицы, поговорки) [Там же]. В частных вариантах используемых журналистами лексико-семантических и синтаксических средств, а также в их трансформированных вариантах анализу подвергаются эмоционально-оценочная лексика [Лаухина, Туркин 2017; Павлова 2017]; военно-политические эвфемизмы [Палажченко 2017]; контаминанты [Голодов 2018a]; ксенонимы [Иванова С. В. 2017]; цитаты (интертекстуальные вкрапления) [Красовская 2017б].

Антропологические контаминанты, образованные на основе фамилий американских президентов (*obamerika*, *obamania*, *trumpometer*, *trumpgate*) и формирующие ресурс словообразовательных средств, оказываются предметом исследования А. Г. Голодова. Окказиональные образования рассматриваются как лингвистические маркеры времени в немецкоязычной прессе. Отстаивается идея о том, что их появление в СМИ, обслуживающих интересы политических групп, провоцируется серьезными изменениями в международной обстановке и способствует негативному восприятию политиков [Голодов 2018a].

Особенности функционирования лексических единиц, отсылающих к инокультурной семиосфере, в англоязычном массмедийном политическом дискурсе выявляет С. В. Иванова. Применение дискурс-анализа позволяет заключить, что ксенонимы, используемые в рамках дискурсивной практики демонизации, включают: 1) лексические единицы, именующие реалии чужой культуры (*czar*); 2) лексические единицы с обозначением чужого этноса (*Russian*); 3) транслитерированные лексические единицы с обозначением социальных практик, которые считаются отсутствующими в своем социуме (*maskirovka*); 4) предикативные единицы, служащие обозначению прецедентных явлений чужой культуры (*Potemkinvillage*); 5) словообразовательные модели с использованием ксенонимической морфемы, заимствованной из чужой лингвокультуры (*feminazi*) [Иванова С. В. 2017].

Общим местом названных разноплановых по характеру задач исследований является вывод о том, что манипулятивная/воздействующая функция СМИ становится доминирующей, вытесняющей другие в условиях информационной войны между Россией

и Западом. Манипуляция в СМИ находит выражение в селективном выборе речевых единиц, служащих показателями идеологической ангажированности медиaprостранства, что приводит к системному искажению фактов, незаметному изменению реальности для индивидуального, группового и массового адресата.

Как инструмент снижения уязвимости к воздействию манипуляторов исследуется феномен **контрманипуляции** [Копнина 2018]. Проблемы защиты от манипуляции рассматриваются в связи с обозначением речевых действий, их системным описанием и типологией. Г. А. Копнина вводит понятие *речевого контрманипулятива* – единицы речи, используемой в функции нейтрализации манипулятивного воздействия. Речевая контрманипуляция в целом определяется как стратегия речевого поведения, которая «направлена на защиту от манипулятивного влияния и основана на использовании речевых тактик и приемов, реализующих задачи уклонения от влияния манипулятора (скрытого маневрирования) или открытого противодействия ему» [Там же: 8].

В последние два года в российской лингвистике продуктивно развивается идея о том, что манипуляция содержит ментальный компонент и реализуется с помощью **механизмов дискурса**. Эта идея принимается за основу в публикациях, использующих методологию критического дискурс-анализа (вербально-семиотические характеристики текстов рассматриваются в тесном взаимодействии с контекстуальными факторами) и концептуальный анализ [Енина, Ильина, Каблуков, Чепкина 2017; Проблемы конструирования идентичности... 2017].

В тех случаях, когда информационная война рассматривается как когнитивно-дискурсивный феномен, речь идет о целенаправленном конструировании реальности, наносящей урон какому-либо объекту либо его образу в медиадискурсе [Каблуков 2017]. В онтологическом отношении информационная война трактуется как «**дискурсивный концепт**», функционирующий элементом технологии борьбы за власть и оказывающий существенное влияние на практики идентификации в российском журналистском дискурсе. Его лингвистическими маркерами выступают негативные оценки, военные метафоры, отрицательно-оценочная, стилистически сниженная лексика по отношению к политическим и идеологическим оппонентам [Енина, Ильина, Каблуков, Чепкина 2017: 99].

Для осмысления мобилизационного потенциала дискурсивного концепта «информационная война» в российских СМИ выявляются

субъекты конструируемой войны, методы ее ведения, а также роль России в этих процессах [Проблемы конструирования идентичности... 2017]. Несомненной заслугой авторского коллектива можно считать обращение как к проправительственному («Российская газета»), так и к оппозиционному («Новая газета») дискурсам в отечественных СМИ. В результате устанавливается, что к числу основных субъектов, противопоставленных России в информационной войне, относятся Запад, Украина, терроризм, а также неназванный (анонимный) враг.

С точки зрения содержания текстов проправительственной прессы констатируется факт ведения противоборства указанными субъектами против России, выступающей жертвой либо стороной, которая противостоит информационной войне, но не выступает ее активным субъектом. В оппозиционной российской прессе к перечисленным выше субъектам добавляются связанные с властью «внутрироссийские субъекты», которые ведут внутреннюю информационную войну. Доказывается, что исследуемый концепт в оппозиционной прессе существенно расширяется часто за счет противоречивой, непроверенной критической информации. Показательно, что ограничения на конструирование России в качестве активного участника информационной войны в оппозиционных СМИ отсутствуют [Там же: 46–50].

Наряду с понятием дискурсивного концепта как содержательной оперативной единицы знания, реализуемой в дискурсе, одним из центральных в когнитивно-коммуникативном отношении является понятие **фрейма**. Понимание фрейма в коммуникативистике и когнитивной лингвистике неодинаково. В первом случае оно складывается из представлений о результатах отбора некоторых аспектов действительности и «их акцентирования в смежных контекстах, посредством чего достигается подробное проблемное описание, интерпретация, нравственная оценка и/или рекомендуемая трактовка сообщения» [Entman 1993: 52]. При другом подходе в большей степени акцентируются ментальные факторы в связи с социальными. Определение, как правило, заимствуется из социокогнитивной теории Т.А. ван Дейка: фрейм – единица знания, организованная вокруг концепта, содержащая основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциирована с ним в рамках культуры [Дейк 2015].

Преломление идей когнитивного форматирования концептуального содержания по отношению к исследованию ИПВ в медиа способствует появлению работ, в которых манипуляция тесно связывается

с **фреймированием**. Так, в работе И. В. Кокуриной, Н. Ю. Хорецкой обнаруживается, что в немецкоязычных СМИ аудитории навязывается негативный образ нашей страны посредством актуализации медийных фреймов *война, диктатура, неправовое государство, опасность* [Кокурина, Хорецкая 2018: 60].

Фреймирование применительно к манипуляции реализуется в способности манипулятора структурировать информацию относительно социально значимых проблем и вопросов [Федоров 2018]. При этом фреймы понимаются в трактовке И. Гофмана как формы организации повседневного опыта, позволяющие интерпретировать поведение других людей [Гофман 2004]. Эвристическую ценность имеет мысль о том, что фреймы могут быть созданы стратегическими коммуникаторами (агентами, рупорами дискурса) – политиками, журналистами, учеными: «Стратегические коммуникаторы передают свои фреймы посредством средств массовой информации реципиентам, у которых под влиянием сообщаемого фрейма формируется свой фрейм» [Кокурина, Хорецкая 2018: 60].

Центральная идея заключается в том, что медийная реальность моделируется и осмысливается с помощью фреймов. Разделяя это мнение, подчеркнем, что журналисты, как агенты медийного дискурса, селективно избирают информацию для освещения в дискурсе и фреймируют ее согласно имеющимся идеологическим установкам. В результате реципиент получает не «слепок» реальности, а заказанное «изображение» в общей медиакартине, и чем профессиональнее «живописцы», тем реалистичнее и убедительнее оно выглядит.

Успешная манипуляция в СМИ вырабатывает единообразное общественное отношение к глобальным политическим и социальным проблемам в интересах доминирующих групп. Представляется, однако, что проблема воздействия на сознание людей со стороны власти не должна решаться прямолинейно в связи с «навязыванием» взглядов и мнений «безвольной» аудитории. Она имеет более сложные хитросплетения, обусловленные совокупностью условий, таких как фоновые знания адресата, его опыт и установки, коммуникативный контекст, тематическая неоднородность СМИ, типологические особенности и идеологическая направленность медиа (прогосударственные, оппозиционные, рекреативные и пр.), ориентация на разные целевые аудитории и др.

Заключение. Лингвистика информационно-психологической войны вызывает повышенный интерес ученых и находится в активной разработке. На современном этапе ее развития существует

множество теоретических точек зрения. Отсутствуют адекватные методы изучения сложного и многогранного феномена информационно-психологической войны в его дискурсивной реализации. На этом фоне многие положения и выводы являются спорными и провоцируют справедливую критику. Объем и содержание используемых специалистами терминов не всегда достаточно определены, а описываемые методологические процедуры нуждаются в дальнейшей разработке.

Методологическая неоднородность и терминологическая вариативность отечественных исследований свидетельствуют о «нащупывании» путей в изучении языка информационного противоборства и являются приметой лингвистического направления, находящегося в стадии становления. Общим местом разноплановых публикаций является взгляд на ИПВ как дискурсивный феномен. Он отражает согласие ученых относительно того, что информационно-психологическая война имеет преимущественное распространение в дискурсе средств массовой коммуникации. ИПВ как феномен дискурса характеризуется в коммуникативном, прагматическом, когнитивном, аксиологическом, идеологическом, жанровом аспектах, которые укладываются в два ведущих направления исследований – коммуникативно-прагматическое и когнитивно-коммуникативное.

Одна из важнейших задач лингвистики ИПВ на данном этапе видится нам в терминологической унификации используемых понятий для совершенствования методологического аппарата и его применения в более широком кругу исследований информационного противоборства. Необходимо представить типологию феноменов, близких по содержанию к понятию ИПВ, установить их соотношения с учетом когнитивных, коммуникативных, социальных и идеологических факторов и предложить релевантные методики анализа в медиадискурсе.

Полагаем, что решение этих вопросов в дискуссионном научном поле не только внесет вклад в развитие теории лингвистики ИПВ, но также позволит разработать лингвистические основы противодействия манипуляции и расширить перечень способов речевой защиты от негативного информационного воздействия.

1.3. Постсоветский дискурс гуманитарного знания: глобализационные трансформации

Постсоветский период развития гуманитарного знания в нашей стране характеризуется рядом особенностей, определяемых как политическими факторами, так и спецификой развития научной мысли в постнеклассическую эпоху. К политическим факторам относятся в первую очередь смена общественного строя, воздействие глобализации, внутренняя, в том числе языковая, политика страны.

Кроме того, в XX веке наука дважды переживала смену эпистемы [Степин 2009]. В период изменения познавательных установок и признания релятивизма самой науки анализ той сферы, где происходит «производство истины», представляет большой интерес. В качестве социального института наука выполняет функцию производства, накопления, распространения и использования новых знаний. Научное сообщество также наделено правом определять, что есть истина, то есть «истинное знание».

Мы живем в эпоху доминирующего господства конструктивистской методологии, утверждающей примат общественных построений и толкований реальности. Весь XX век, собственно, и прошел в социальной философии под знаком осознания и обоснования различий в изучении природы и изучении общества, под знаком утверждения релятивизации знания, признания его антропоцентричности и множественности истины при изучении социальных явлений. Все понятия предстают перед индивидом не в некоем «естественном» виде, а как результат дискурса: *«Мир – это не общник нашего познания, и не существует никакого предискурсивного провидения, которое делало бы его благосклонным к нам. Дискурс, скорее, следует понимать как насилие, которое мы совершаем над вещами, – во всяком случае – как некую практику, которую мы им навязываем; и именно внутри этой практики события дискурса находят принцип своей регулярности»* [Фуко 1996: 80]. Таким образом, зависимость научного, академического дискурса – дискурса «производства истины» – от культуры, эпохи, социального заказа доказана в философии и социологии науки (см. [Кун 2004; Фуко 2004; Юревич 2005, 2015; Berger, Luckmann 1967; Einführung in den Konstruktivismus 1992; Galtung 1981; Merton 1973 и др.]), и этот факт нужно обязательно учитывать при осмыслении научных идей и выводов, касающихся сегодняшних перемен в языке и обществе, так

как исходные пресуппозиции и убеждения интерпретаторов накладывают отпечаток на описание и представление объекта исследования – языка и дискурса: «социогуманитарные дисциплины в целом более чувствительны к воздействию внешнего социального контекста и более гибко реагируют на его изменения, что проявляется в их большей подверженности, например, идеологизации и в большей зависимости от существующего в той или иной стране социально-политического порядка» [Юревич 2005].

Произошедшие в постсоветском отечественном гуманитарном дискурсе значительные изменения обычно оценивают позитивно, связывая их с наступлением эры научной свободы после засилья идеологии. Следует, однако, обратить внимание и на другую сторону вопроса: необходимость критического подхода к интерпретациям реальности, вырабатываемым гуманитарным научным дискурсом, поскольку в массе своей они являются заимствованными и представляют собой перенос на отечественную почву взглядов и интерпретаций, свойственных западному социальному знанию и нередко весьма политизированных.

Анализ ряда теоретических инноваций показывает, что научная фиксация изменений в мире и их теоретическое освоение тесно связаны с апологетикой глобализации и разрушением идеи национального государства, влекущей за собой идеологизацию и политизацию научного дискурса, концептуальную и терминологическую ревизию. Уже с конца XX века происходит ускорение глобализационных процессов и разворачивается полемика о судьбах языков ([Gardt Hüppauf 2004; Coupland 2003, 2010; Fairclough 2006, Алпатов 2004; Глобализация – этнизация 2006; Гриценко, Кирилина 2010] и многие др.). Критически настроенные ученые видят в лингвистических процессах, в частности в широком и быстром распространении английского, целеполагание определенных политических и экономических групп. Так, на взгляд Р. Филлипсона [Phillipson 2004], продвижение английского языка в Европе стало целью США и Великобритании с 1945 г. Британский Совет сыграл ключевую роль в укреплении позиций английского в постколониальных странах и в бывших социалистических государствах.

И. М. Подзигун выделяет в глобализации естественную и искусственную составляющие: «Управляемая, организуемая форма процесса глобализации дополняет естественную глобализацию и проявляется особенно явно в кризисных ситуациях, когда та или иная страна, религия, мировоззрение стремится оказать решающее влияние на ход мировой истории с помощью пропаганды своих идей, убеждений или

силы» [Подзигун 2003]. Названный автор констатирует «попытку универсализации принципов “рыночного фундаментализма” как ядра современных капиталистических отношений. В этой связи процесс глобализации в интерпретации ведущих западных стран, которые задают ее нормы и правила, – это ускоренное распространение принципов капитализма по всей планете» [Там же]. Под влиянием этой цели меняются все социальные институты, в том числе и институт науки, который теперь преимущественно «производит истину», соответствующую идеям глобализма (см. также [Кара-Мурза 2001]).

Рассматривая глобализацию как дискурс, Н. Фэйркло [Fairclough 2006] называет пять ее основных агентов и в их числе – науку, академический дискурс. Роль науки не сводится только лишь к определению «точек роста», обеспечивающих интенсивное изучение определенной проблематики. Не менее интересен диапазон создаваемых ею интерпретаций социальной реальности и изменение этих интерпретаций, то есть их динамика. Идеи Фэйркло коррелируют с признанием множественности истины и фокусируются на множественности интерпретаций, их связи с идеологией, политикой, властными отношениями и социальным заказом, что и позволяет конструировать определенные научные дискурсы – конструктивизм во всех своих разновидностях является сегодня ведущей методологией гуманитарного знания.

Лингвистическое измерение глобализации (термин Е. С. Гриценко) в научном дискурсе также демонстрирует названные тенденции, что выражается в следующих явлениях:

1. Реинтерпретация сущности языка, рассмотрение его как мобильного *ресурса* (то есть переход к «экономической» интерпретации языка с позиции логики рынка) (см. [Coupland 2010]).

2. Ревизия теории и терминологии языковых контактов (уходит из использования или заменяется на «гибридизацию» термин «пиджинизация» – с нашей точки зрения, из-за того, что он отражает неравноправный контакт языков; нормой признается многоязычие, независимо от динамики развития языковых ситуаций; приравниваются коммуникативно мощные и коммуникативно слабые языки; теоретически и идеологически обосновывается экспансия английского и его ширящееся присутствие на территориях, попавших под влияние глобализации).

3. Дискредитация коммуникативно мощных национальных (государственных) языков.

Особое внимание глобалистский дискурс уделяет научному «обнулению» и дискредитации коммуникативно мощных государственных языков, объявляя их сконструированными и воображаемыми

сущностями; удар по государству наносится через критику национального языка, осуждение протекционистской языковой политики, объявление ее неэффективной. Так, уже примерно с 80-х годов XX века ширится критическое осмысление сущностей, связанных с миром национальных государств. Важную роль в этой дискуссии играет критика понятий «национальный язык» и «национально-культурная специфика» (см. дискуссию Анны Вежбицкой с С. Пинкером, И. Валлерштайном в [Вежбицкая 1999] и [Серио 2011]).

«Наднациональный взгляд» меняет и интерпретацию местных языков – теоретически обосновывается их автономность от породивших их культур. Проблема владения/невладения местным языком также рассматривается в ключе отрыва языка от культуры его носителей и с позиций права мигрантов поступать с языком по своему усмотрению [Yildiz 2004: 322]. Еще более радикально высказывается Хобсбаум: «Пока язык не будет так же четко отделен от государства, как религия в Соединенных Штатах по американской Конституции, он будет оставаться постоянным и, вообще говоря, искусственным источником междоусобиц» [Хобсбаум 2005: 58]. Наблюдается апология наднационального и дискредитация государства и его атрибутов (в том числе и языка) как социального института (подробнее см. [Кирилина 2013]).

4. Теоретическое дробление языка и общества, направленное на восприятие и интерпретацию этих сущностей как атомизированных: явное преобладание научных интерпретаций, в которых гипостазирована категория единичного и игнорируется категория общего; акцент при теоретическом обсуждении и описании языков смещается на единичное и множественное (изучаются, например, региональные языки, теоретически множатся формы существования языка – предлагается, например, 15 форм существования русского языка [Мустайоки 2015]); теоретическое подкрепление идеи «мировых английских» как «аргумент» против глобальной экспансии английского и даже концепция национальных вариантов английского там, где этот язык никогда не был автохтонным или хотя бы привнесенным колониально; акцентирование изучения региональных языков в противовес концепциям национального языка; апология сужения сферы действия нормы; игнорирование острых, проблемных тем и многие другие сходные явления.

К общему же языку интереса не только нет, но он еще и дезавуируется как сконструированный искусственно и в реальности

не существующий¹. Происходит негативистская ревизия понятия *национальный язык*. Обобщая, можно резюмировать, что в философской триаде *единичное – общее – особенное* игнорируется *общее* и гипостазируется контаминация *единичного* и *особенного*. Почти полностью исключается рассмотрение и даже проблематизация общего. Все это – следствие идеологии глобализма, подрывающей основы национальных государств и всех его атрибутов, в том числе и языков. «Официальная» лингвистика во многих странах не выступает в защиту неанглийских языков (сам термин говорит о появлении новой оппозиции).

Это характерно не только для лингвистики, но и для других сфер науки и иных форм общественного сознания. Так, одна из концепций преподавания истории в школе предлагает так называемый антропологический подход – акцент на повседневности, на жизни отдельного человека, атомизацию истории. Это как раз позволяет убрать войны, сражения, победы и другие значимые на макроуровне истории события и рассматривать лишь микроуровень. Гипостазирование единичного и интерпретация его как особенного ведут к игнорированию целого ряда проблем. В сфере языкознания наиболее яркий факт – это разработка теоретических положений, направленных на атомизацию явлений, их теоретическое «дробление» («мировые английские» (не «английский»)).

5. Теоретическая апология экспансии английского языка и разработка практик транслингвальности при игнорировании фактов принуждения к использованию английского языка и неравного положения людей, для которых английский является родным/неродным, а также явного затушевывания термином «транслингвальность» процессов пиджинизации и языкового сдвига.

6. Дискредитация коммуникативно мощных языков, в частности русского языка:

– Оценочный подход к языкам, например, обвинение русского языка и русистов в лингвонарциссизме; приписывание лингвистическим сущностям политизированных предикатов (*русский – язык оккупации; английский – язык демократии* и т. д.) [Павлова, Безродный

¹ При этом игнорируют тот факт, что развивающееся и усложняющееся общество объективно нуждается в нормированном, разработанном, полифункциональном коде, который соответствует его прогрессу и может обслуживать такие важные сферы жизни, как наука, техника, образование, государственное и военное строительство, международные отношения и т. д. Восходящее развитие языка следует поэтому считать совершенно естественным следствием развития общества.

2011; Braselmann 2004]; утверждения о дефицитности русского языка и культуры.

Политизация национального самосознания на Украине, в Латвии, Эстонии, Польше и других странах (преимущественно Восточной Европы) вызывает и жесткую по отношению к неместным языкам политику – отказ в гражданстве для не владеющих государственным языком и под. Апология такой дискриминации также политизирована и, как правило, вербализуется в терминах освобождения от советского влияния и «гнета» русского языка (примечательно, что при этом место языка с высоким коммуникативным статусом и социальным престижем занимает не местный национальный, а английский).

– Приравнение статуса коммуникативно мощных, разработанных, полифункциональных языков с богатым письменным наследием и так называемых малых языков при акцентуации равных прав носителей и равных условий функционирования малых языков; различная интерпретация одних и тех же явлений, происходящих в коммуникативно слабых и коммуникативно сильных языках (например, не встречаются утверждения о сконструированности младописьменных языков).

Рассмотрим теперь, как отражаются названные тенденции в отечественном научном описании.

Современное состояние отечественного гуманитарного знания вызывает у социологов и социальных философов определенный скептицизм: «Отечественная социогуманитарная наука постепенно превращается в механизм трансляции знания (а также гипотез, интерпретаций, заблуждений и т. д.), созданного зарубежной наукой, в нашу социальную практику» [Юревич 2005]; «наши социогуманитарии как “интеллектуальные посредники”... свое традиционное предназначение в качестве *производителей* нового знания... начинают утрачивать» [Там же]. В свете этого необходимо рассматривать вопрос о применимости глобализационных интерпретаций для описания жизни русского языка, языковых процессов, происходящих в мире, и в целом отечественных теорий языка.

В плане описания русского языка де-факто мы видим – как правило, в последние годы – растущую озабоченность ученых его состоянием: «Существуют неопровержимые общепризнанные факты многочисленных угроз для состояния русского языка как объекта национальной безопасности России» [Лингвистика... 2017: 162] (см. также [Гриценко 2011]).

В сфере же теории языка критическое осмысление проблемы находится в начале пути. При всей сложности и неоднозначности темы необходимо на первом этапе хотя бы назвать и кратко охарактеризовать видимые проявления неприемлемых интерпретаций в сфере концепций языка и лингвистических теорий. В рамках этой задачи мы рассмотрели проявившиеся к настоящему моменту новые черты жизни коммуникативно мощных европейских языков [Кирилина 2013, 2015], обнаружив в их развитии ряд сходных черт, среди которых беспрецедентное давление английского, вытеснение языков с высоким коммуникативным статусом из ряда сфер коммуникации, свойственных ранее лишь языкам развитых обществ, – науки и международной коммуникации («сокращение языка» (*submergence*) [Nürrauf 2004: 4]); появление сходства в развитии языковых контактов языков с низким и языков с высоким коммуникативным рангом; изменение социальной базы носителей ведущих языков; рост языковой негомогенности; пиджинизация и гибридизация вследствие интенсификации языковых контактов; повсеместная «народная» рефлексия о языке, слабые институциональные и довольно мощные стихийные (народные) меры по защите коммуникативно мощных языков Европы и, наконец, новое социально-философское осмысление языка, дискуссия о роли и месте языка в «постнациональном мире», политизация и идеологизация концепций языка. Все эти тенденции проявляются и в русской языковой среде, и в средах других коммуникативно мощных языков.

Язык, как отмечалось выше, рассматривается глобалистами как атрибут национального государства, которое в этом научном дискурсе признается устаревшим, нации – воображаемыми сущностями, а обслуживающие их языки – сконструированными искусственно с целью сплочения нации; национальные государства объявляются воображаемыми общностями, признается лишь наличие отдельных групп и индивидов: «...расы, культуры и народы не представляют собой сущностей. Они не имеют фиксированных очертаний. Таким образом, каждый из нас является членом многочисленных – на самом деле несчетного числа – “группировок”, пересекающихся, частично совпадающих и вечно развивающихся» [Vallerstein 1994; цит. по: Вежбицкая 1999: 286]. Дискредитация понятий «народ», «национальное государство» соответствует глобалистской идее «свободного передвижения людей и капиталов». При такой постановке вопроса нет народа, нет отечества, а есть лишь территория, на которой (временно) находятся наемные работники, и нет никакого критерия

различия между представителями исконной культуры и инокультурным мигрантом. Нет, следовательно, и языка, нуждающегося в культивировании. Трудно не увидеть в этом тесную связь лингвофилософии с идеологией и политикой. Некритичный перенос этих идей в отечественный дискурс способствует их распространению и приравниванию разных социокультурных ситуаций в России и за рубежом. Так, читаем: «Понятия “патриотизм” и “космополитизм”, несмотря на глубокую историю противопоставления, являются когерентными по смыслу. <...> В эпоху глобализации и мирового разделения труда политика импортозамещения и политического изоляционизма является идеологически ошибочной и цивилизационно нежизнеспособной. Даже ключевые понятия, такие как “национальная идентификация” или “родина”, становятся размытыми и неопределенными. Если человек родился в семье французов в Германии, учился в России и Англии, живет в Австралии, работает в филиале американского университета, патриотом какой страны он должен стать? Ценности демократии и либеральной культуры едины для всего человечества, а все попытки их “национализировать” представляются философски несостоятельными. Зачастую патриотизм выступает “способом объяснения власти народу, почему он живет хуже, чем другие”» [Кузнецова, Кузнецов 2015]¹.

Усиливаются идеологизация и политизация концепций языка, например, ожесточилась полемика лингвоуниверсалистов и лингводетерминистов, причем последователей гумбольдтианства даже объявляют фашистами, как это сделал П. Серию в публичной лекции в МГУ в 2010 г. Лингвоуниверсализм же этот ученый объявил атрибутом демократии. Кроме возражения Д. Б. Гудкова [Гудков. URL: <http://discoursforum.forum24.ru>] в ходе лекции, нам не встретились в отечественной научной литературе попытки опровергнуть это утверждение². Напротив, мы видим повторение тезиса об отсутствии связи языка и культуры, языка и идентичности в трудах отечественных филологов: «Миф о роли языка в формировании идентичности,

¹ По данным статистических служб (www.levada.ru), в 2014 и 2016 гг. доля россиян, имеющих загранпаспорта, не менялась и составляла 28 %; согласно опросу в марте 2018 г., их доля составила 24 %, то есть реальность такова, что не менее 72 % населения нашей страны не имеют загранпаспортов и вряд ли могут «учиться в Англии, жить в Австралии» и т. д. Следовательно, авторы цитируемой статьи описывают не ту ситуацию, которая реально существует в нашей стране.

² Более того, крупный отечественный университет пригласил П. Серию возглавить совместную лабораторию.

как и любой предрассудок, следует скорее преодолевать и развенчивать, чем полагать в основание методологических схем, в т. ч. академически ориентированных описаний, достигая тем самым пушей авторитетности самого мифа и пушей шаткости конструкции гуманитарного знания» [Вдовиченко 2016: 142–143]. Безусловно, неогумбольдтианские идеи нуждаются сегодня в дополнительном обосновании, но отбрасывать их как ненаучные нет оснований, что убедительно доказано А. Вежбицкой. Да и в целом гуманитарное знание в XX веке не менее убедительно доказало роль языка, символов, мифологии в развитии культуры и общества. Создание положительного мифа – *обязательная* составляющая их жизни.

Как отражение процесса некритичного переноса мы наблюдаем замену принятых в отечественном научном дискурсе терминов понятиями и обозначениями, отражающими иную перспективу. В качестве примера приведем в табл. 1.1 лишь некоторые из своего собрания: частотность терминов в левом столбце заметно снижается, или они перестают употребляться совсем.

Таблица 1.1

Изменение наименований явлений жизни нашей страны

Прежнее	Измененное
СССР	Империя
Социализм	Коммунизм
Договор с Германией о ненападении	Пакт Молотова – Риббентропа
Потери советского народа в Великой Отечественной войне	Холокост
Равноправие мужчин и женщин	Зарождающаяся демократия
Республики СССР, советские республики	Внутренние колонии
Массовый героизм советского народа; «Все для фронта, все для победы!»	Широкое использование женского и детского труда

Некритично поддерживается идея транслингвальности (транслингвизма/транслингвализма) – развития амальгамации языков в сознании человека. При этом замалчивается часто вынужденный, принудительный характер транслингвальности, ее колониальные

корни. Транслингвальность интерпретируется мягко, что создает эффект ее полезности и скрывает негативные стороны, связанные с утратой независимости страны: «Под транслингвальностью понимают плавный синергетический переход от одной лингвокультуры к другой, в результате чего происходит некоторое их слияние, при этом отсутствует полная ассимиляция и сохраняется лингвокультурная идентичность пользователей языков, а также создается смешанный дискурс. <...> Транслингвальность означает проницаемость языков, их взаимовлияние, вследствие чего возникает новое качество обогащенной лингвокультуры» [Прошина 2017]. Как видим, уже само определение транслингвальности идеологизировано и оценочно – внушает читателю мысль об обогащении лингвокультуры, что, конечно, далеко не всегда так (подробнее см. [Кирилина 2011б]), особенно в свете сокращения количества языков.

При обсуждении транслингвальности мы видим и апологию западных концепций, сопровождающуюся высказываниями о дефицитности отечественного научного дискурса. Критике подвергаются взгляды отечественных исследователей, которые обращают внимание на отрицательные стороны транслингвальности для коммуникативно мощных автохтонных языков, видя за ней агрессивное давление глобального языка. Так, при обсуждении экспансии английского снисходительно отмечается: «В российской лингвистике постепенно складывается понимание того, что процессы, происходящие сегодня в речи носителей русского языка в связи с глобализацией английского языка, качественно отличаются от традиционного понимания билингвизма, разработанного в рамках структурно-функционального подхода» [Ривлина 2016: 27]. Далее цитируемый автор предъявляет к отечественным ученым требование: «Следующим шагом для российской контактной лингвистики должно стать признание массового, обусловленного процессами глобализации англо-русского билингвизма в России и права “наивных” англо-русских билингвов на транслингвальную деятельность. Пока этот шаг не сделан, в российской лингвистике продолжают доминировать “прескриптивные”, а не “дескриптивные” настроения, транслингвальные контакты продолжают оцениваться в терминах “сохранения чистоты языка и культуры” по большей части негативно, и даже лингвисты, исследующие “динамическую синхронию” языковых контактов, рассматривают ее как доказательство “иноязычной/инокультурной экспансии”» [Там же], то есть предлагается принять вытеснение и пиджинизацию русского языка как норму, не пользоваться термином

«экспансия». Право же носителей государственного языка на поддержание его в разработанном, нормированном и культивируемом состоянии даже не упоминается.

Весьма частотны также игнорирование острых лингвистических проблем, актуальных для России, и молчаливый отказ от критики глобализации и англо-американской (языковой и не только) экспансии. Наиболее яркий пример – проблемы языковой политики, защиты русского языка как государственного. Это и в целом нежелание заниматься острыми вопросами, приводящими к критическим выводам¹. Так, недавнее солидное издание Института языкознания РАН, посвященное трансграничному распространению знания [Лингвистика и семиотика... 2016], рассматривает «процесс переноса знаний между разными культурами, профессиональными сообществами и дискурсами» [Там же: 2], не обсуждая даже в минимальной степени процессы неблагоприятной для принимающей культуры теоретической экспансии. Более характерными приходится признать повторение западных исследований и некритический перенос их выводов на отечественную почву. Нередки случаи дискредитации русского языка, утверждения о его дефицитарности, появление в научном и научно-популярном дискурсе русофобских, расистских утверждений. Например, 24 апреля 2018 г. по каналу «Культура» прошла передача «Язык и политика», в которой ее участники – лингвисты и философы – высказали ряд идей, дискредитирующих русский язык: он, как считает философ А. С. Ципко, не в состоянии выразить идеи демократии, а английский, на взгляд филолога Б. Л. Иомдина, пошел дальше русского в плане выражения гендерного равноправия².

Убедительные данные о дискредитации русского языка приводятся в [Лингвистика... 2017: 173–189]. Мы полностью разделяем позицию авторов: «Русский язык должен признаваться одним из основных объектов защиты в системе национальной безопасности, поскольку он в условиях информационно-психологической войны оказывается одной из основных мишеней этой войны» [Там же: 173].

¹ В резкой, заостренно критической форме это явление отразил писатель В. Пелевин, характеризуя отечественную филологическую интеллигенцию: место, где ее представители, «проведут больше десяти минут, превращается в помойку истории. У этих властелинов слова не хватает яиц даже на то, чтобы честно описать наблюдаемую действительность, куда уж там осмыслить. Все, что они могут, – это копирастить чужой протухший умяк, на который давно забили даже те французские пидара, которые когда-то его выдумали...» (В. Пелевин. iPhuck 10).

² Критика этого абсолютно не соответствующего действительности утверждения, к сожалению, выходит за рамки тематики нашей статьи.

Отметим и связанные с отрицанием национальных языков агрессивные выступления против русской культуры. Так, И. Г. Яковенко, обсуждая русскую культуру, провозглашает ее «неэффективность» и вредоносность и даже фактически призывает **физически** (?) искоренять носителей русской культуры: «Российская традиция есть традиция социоцентричного общества. Необходимо трансформировать этот комплекс и сформировать персоноцентристскую целостность... **Следование изживаемым ценностям должно быть связано со смертельной опасностью** (выделено нами. – А.К.)» [Яковенко 2012]¹. Не менее агрессивны и высказывания этого автора о русском языке.

Мы сознательно не касаемся здесь дискурса исторической науки, так как это отдельная и многогранная тема. Отметим лишь, что изучение исторического дискурса, будь то собственно история общества или история языкознания, также обнаруживает недружественные и уничижительные для нашей истории переносы. Так, в кандидатской диссертации [Мюллер 2015] необоснованно утверждается целый ряд расистских идей, высказано пренебрежительное отношение к потерям СССР в годы Великой Отечественной войны. Появилась и идея «тоталитарной лингвистики» [Костева 2018], совершенно неправомерно ставящая знак равенства между гитлеровской Германией и СССР периода правления И. В. Сталина. Подобные тексты содержат очевидно деструктивные интерпретации и направлены на разрушение положительного образа отечественной истории (относимого к наиболее уязвимым точкам народного сознания [Сковородников, Копнина 2016б]), а также дискредитируют советскую лингвистику, полностью замалчивая ее значительные достижения (например, языковое строительство).

Отметим, что «народная» языковая рефлексия и в целом «народное» сознание создают иные интерпретации: одним из следствий охарактеризованного положения дел стало видимое, наблюдаемое (благодаря новым цифровым технологиям) расхождение взглядов «официальной» лингвистики и мнения «обычных» носителей языка,

¹ Заметим, что И. Г. Яковенко отнюдь не является научным маргиналом – сайт РГГУ сообщает, что он занимает должность профессора этого вуза. Таким образом, русофобия и отрицание русской культуры, то есть откровенный расизм, если называть вещи своими именами, транслируются сегодня в студенческую аудиторию. Еще одна проблема состоит в том, что значительное число так называемой либеральной интеллигенции свою страну и свой язык не любят [Рождественский 1996], что отражается в том числе в их рассуждениях о языке.

что ведет к возникновению «народных» мер по защите коммуникативно мощных родных языков и своего культурного пространства. Мы находимся в процессе исследования и описания этого вида «народной» самозащиты, поэтому приведем лишь один пример: новые технические возможности интернета позволяют проверить/верифицировать/опровергнуть некоторые факты, фигурирующие в недружественных дискурсах о России, ее языке и истории. Так, И. Пыхалов 16 января 2014 г. опубликовал в своем блоге (<https://pyhalov.livejournal.com/409009.html>) созданный при помощи Google Book Ngram Viewer график частотности употребления словосочетания «продажная девка империализма» (рис. 1.2), которое в перестроечном и постсоветском дискурсе отнесено к дискуссии о генетике конца 40-х годов XX века:

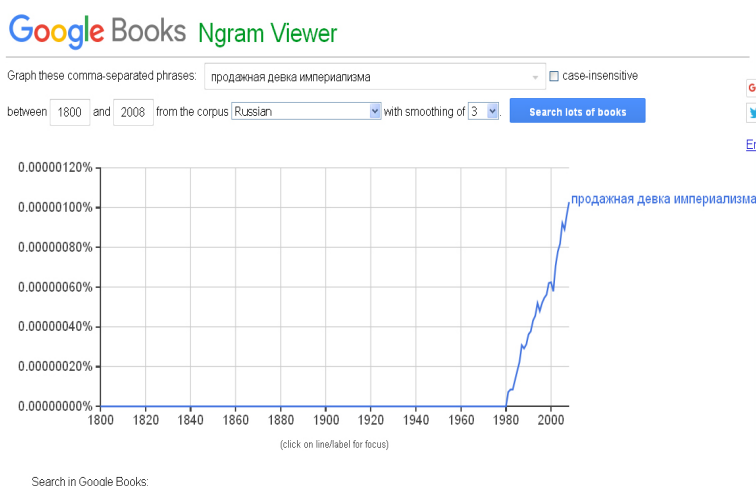


Рис. 1.2. График частотности употребления словосочетания «продажная девка империализма»

Как видно из графика, это выражение появилось отнюдь не в 40-е годы XX века, а лишь в 80-е и может документировать только перестроечный дискурс и честность его авторов.

Опыт И. Пыхалова распространился, и пользователи интернета открыли много фактов неправомерного приписывания негативных характеристик советскому дискурсу. И это только один из примеров

«народной» борьбы за дружественные интерпретации своей истории и культуры.

Закключение. Мы изложили проблему лишь в первом приближении. Сложность ее изучения усугубляется политической остротой, а также тем, что лингвистическое измерение глобализации (термин Е. С. Гриценко), безусловно, не исчерпывается идеологизацией и политизацией. Многие явления и факты объективно присутствуют в жизни языка, например, в связи с развитием цифровых технологий и выходом языка в виртуальную реальность, не связанную с территорией. Объективно назрела корректировка определения языковой ситуации; появилась возможность наблюдать скоротечные явления и микростадии развития языка, ранее наблюдению недоступные. Перечень подобных фактов можно продолжить. Они действительно меняют научную картину и требуют корректировки методологии и методов исследования. Однако это никак не опровергает определенную тенденциозность при их интерпретации. Мы отнюдь не хотим убедить читателя, что все критикуемые авторы действуют осознанно, однако в ряде случаев мы, безусловно, имеем дело с проявлениями информационной войны.

Дальнейшая разработка представленной здесь проблемы, несомненно, нужна; она расширит наш предварительный список, сможет типологизировать изученное и выйти на новый уровень его обобщения.

В свете сказанного правомерен вывод о том, что некритический перенос знаний не принесет пользы отечественной лингвистике и философии языка. Необходимо – признавая множественность истины – глубже заняться именно критическим анализом глобалистского социоконструктивизма. Неолиберальные, глобалистские идеи не являются единственно возможным ракурсом рассмотрения очерченных проблем; эти идеи политизированы и отражают определенную геополитическую обстановку и интересы наднациональных сил. Механический перенос глобалистских концепций на отечественную почву равноценен удару по своим культурным ценностям.

1.4. Информационно-психологическая война как дискурсивная практика на страницах художественной литературы

В заголовке статьи три ключевых термина, составляющих научную специфичность излагаемого исследования: информационно-психологическая война, дискурс, дискурсивная практика. Сложность их интерпретации в контексте нашей постановки вопроса в том, что, с одной стороны, они неразрывно связаны, и, с другой стороны, ни одно из них еще не получило однозначной трактовки. Тем не менее соотношение этих ключевых понятий может дать представление о месте наших исследований в современной философии языка. Предварительно, в качестве исходного понятия, ограничимся дефиницией первого термина, предложенной А. П. Сковородниковым и Г. А. Копниной: «...информационно-психологическая война – это противоборство сторон, которое возникает из-за конфликта интересов и/или идеологий и осуществляется путем намеренного, прежде всего языкового, воздействия на сознание противника (народа, коллектива или отдельной личности) для его когнитивного подавления и/или подчинения, а также посредством использования мер информационно-психологической защиты от такого воздействия» [Лингвистика... 2017: 13].

Термин «дискурс», по свидетельству В. З. Демьянкова, заимствован у американского структуралиста З. Харриса, который использовал «анализ дискурса – метод анализа связанной речи или письма». Метод формальный, ориентированный на встречаемость морфем, но в нем усматривалась идея поисков закономерностей текстообразования [Демьянков 1995: 280–282]. Дискурсология в формально-календарном плане достаточно давно присутствует в научно-теоретическом пространстве, хотя в силу своей чрезвычайной сложности и вместе с тем востребованности далека от даже относительно стабильности в понимании ключевых понятий. «Доля дискурсивно (дискурсно) ориентированных работ в общей массе печатной продукции настолько велика, что специалисты начинают говорить о “дискурсивном перевороте”, хотя, по нашему мнению, здесь уместнее будет метафора “дискурсивный бум”», – резюмирует А. Н. Приходько и продолжает, усматривая в этом немалую опасность: «Вот и выходит, что сами лингвисты в своей обсервации дискурса пребывают в разных системах координат, толкуя объект

рефлексии настолько по-разному, что он, еще не окрепши, уже оказался на грани эрозии, рискуя потерять свой понятийный и терминологический статус» [Приходько 2009: 22].

Сегодня анализ дискурса представляет собой междисциплинарную область знания. Теория дискурса развивается в социологии, лингвистике текста, психолингвистике, семиотике, риторике. Формирование более или менее четкой картины, очевидно, дело неблизкого будущего. В силу этих обстоятельств каждый исследователь, поставленный перед необходимостью обращения к этому феномену, вынужден определить свою позицию, избрав из существующих концепций в большей степени отвечающие специфике его проблемы, объекта/предмета, материала и задач исследования. В качестве исходного методологического тезиса принимается положение об использовании языка «как общественной практики, которая участвует в формировании социального мира. <...> Данный подход сформировался в конце прошлого века в рамках социального конструкционизма и отражает теоретическое понимание процессов коммуникации...» [Иссерс 2015: 11]. «Дискурс является центральным моментом человеческой жизни “в языке”, то, что Б. М. Гаспаров (1996) называет языковым существованием» [Прохоров 2004: 23]. В многочисленных работах по историографии такого понимания философии языка отдается должное вкладу В. фон Гумбольдта (язык как мировидение), философов-аналитиков, прежде всего Л. Витгенштейна (язык как форма жизни) и его последователей (теория речевых актов). Отмечается наличие в современной лингвистике нескольких подходов к исследованию дискурса, в том числе: интегративный, идеологический, интерпретативно-идеологический, драматургический, генеративно-тематический [Детинко 2017: 18–19]. В нашем случае предпочтение отдается интерпретативно-идеологическому. Из новейших работ по теории дискурса выделяется фундаментальный аналитический обзор Константина Пахалюка. В нем скрупулезно, логично и последовательно прослежена и критически проанализирована история терминопонятия в разных научных областях – от Р. Декарта и И. Канта до М. Хайдеггера, Т. ван Дейка, М. Фуко и Н. Фэрклоу. Выдвинуты и интерпретированы шесть истоков, или «интеллектуальных традиций», как путей формирования понятия дискурса: аналитическая философия; история формирования концепта «национальная картина мира»; литературоведческая школа русского формализма; структуралистская парадигма в языкознании; семиотика; феноменология [Пахалюк 2018].

В наиболее адекватных нашим представлениям определениях дискурса присутствуют две составляющие: рефлексия человека на некий факт действительности и вербализация рефлексии как процесс и результат. Одни дефиниции начинаются с «явления»/«феномена»/«события»/«процесса», другие с «речи»/«текста»/«рассуждения». Первые исходят из импульса, порождающего вербальную реакцию, другие из следствия, результата, ретроспективно указывая на «историю» порождения речевой единицы. Нам ближе первые: «Феномен “дискурс” целесообразно понимать как многомерное социо- и лингвокультурное явление, в пределах которого осуществляется вербальная коммуникация в определенной предметно-тематической сфере» [Приходько 2009: 23]; «Дискурс обозначает коммуникативный и ментальный процесс, приводящий к образованию некой формальной конструкции – текста» [Чернявская 2006: 75].

Принципиально важно положение о том, что «один дискурс может конституироваться текстами различных типов, и, с другой стороны, тексты одного типа могут выступать элементами различных специальных дискурсов» [Там же: 76], иными словами, в одном случае перед исследователем стоит задача определить, репрезентацией какого дискурса служит текст, в другом – какими типами текстов репрезентируется определенный дискурс, т. е. определить его дискурсивное поле. Конкретный текст как репрезентация определенного дискурса, как его подвластная конкретному наблюдению и анализу единица, называется **дискурсивной практикой**. Это чисто операциональное определение нашло выражение в названии и содержании публикации О. С. Иссерс [Иссерс 2011]. В теоретическом плане соотношение понятий дискурса и дискурсивной практики представляется нам аналогичным отношению между философскими категориями сущности и явления или, в хронологически-процессуальном плане, между общенаучными методами дедукции и индукции. В принципе, такое понимание выражает А. Я. Сарна, утверждая, что «нет и не может быть Дискурса как такового, подобно тому, как нет и быть не может самого Языка), но есть и реально действуют самые различные дискурсивные практики, т. е. осуществляется речевая деятельность» [Сарна. URL: https://sociology_encyclopedia.academic.ru/306].

Принципиально важно при анализе текста как вербализатора того или иного дискурса, в частности ИПВ на страницах художественного произведения, помнить, что дискурсивная практика – органическая часть социальной практики. «С точки зрения когнитивного взгляда, – отмечает Л. В. Куликова, солидаризуясь

с А. Н. Барановым и А. П. Чудиновым, – дискурсивная практика характеризуется как способ осмысления и интерпретации социальной жизни» [Дискурсивные... 2015: 6]. Практическое введение феномена «дискурс» в исследовательское пространство (в нашем случае – лингвистики) невозможно без представления о его онтологических свойствах, признаках. Это необходимо, чтобы понимать, каким образом язык служит способом упорядочения реальности, как он соотношен с недискретностью реальной действительности. В. И. Карасик называет три группы важнейших **дискурсивных характеристик**: прагмалингвистические; социолингвистические; тематические [Карасик 2007: 353–411].

К. Пахалюк говорит о трех **онтологических свойствах** дискурса, называя их измерениями: **коммуникативном** (дискурс как посредник между миром действительности и миром языка: речь идет о традиционной коммуникативной ситуации, определяющей характер вербализации смысла); **семиотическом** (дискурс как пространство создания и воспроизводства значения) и **когнитивном** (моделирование психических процессов коммуникантов, структурирование социального опыта с использованием фреймов, схем, планов, прототипов, сценариев; конструирование картин мира). В терминах теории когнитивной метафоры можно говорить о трех метафорических структурах: дискурс как посредник (коммуникативное измерение), дискурс как пространство (семиотическое) и дискурс как глубина (когнитивное) [Пахалюк 2018].

А. Н. Приходько называет следующие **свойства дискурса**: антропоцентричность, недискретность (интегративность коммуникативного и когнитивного), ситуативность (контекстуальность), процессуальность (динамичность), присовокупляя к ним континуальность, открытость, цикличность и амбивалентность, маркирующие незавершенность коммуникативного события. Континуальность, недискретность и динамичность противопоставляют дискурс тексту с его признаками завершенности, дискретности, статичности. «Иначе говоря, – заключает автор, – дискурс не имеет пространственно-временных границ. <...> Дискурс не имеет ни начала, ни конца, а потому невозможно определить, когда и где закончился один дискурс и начался другой. Дискурс, будучи одновременно и потенцией, и реализацией, суть явление амбивалентное, т. е. аморфное, неопределенное, нечетко очерченное в своих границах. И в этой своей ипостаси, – продолжает автор, – дискурс ненасытен: сколько бы ни существовало в его анналах “единиц хранения”, он готов принимать

“на постой” все новые и новые тексты. Как и любое другое лингвокультурное явление, – заключает автор, – дискурс можно интерпретировать в пределах **трех уровней репрезентации** – собственно языкового (форма), социокультурного (содержание) и коммуникативно-прагматического (функция)» [Приходько 2009: 22–23]. Думается, следует внести одно уточнение: бесконечная возможность реализации того или иного дискурса не исключает, что онтология дискурсов предполагает наличие пространственно-временных, пусть и относительных, границ, как правило, зафиксированных как исторические факты (например, появление дискурсов (тематической области) искусственного интеллекта или исследования космоса, альтернативной истории, лингвоэкологии и т. д., или, в нашем случае, дискурсов информационной и информационно-психологической войны).

Обобщая существующие наработки, О.С. Иссерс с позиции коммуникативного подхода в структуре дискурса выделяет ряд **категорий**, значимых для определения типа дискурса и его описания: участники общения (субъекты коммуникации) с позиций их статусно-ролевых и ситуативно-коммуникативных характеристик; условия общения (пресуппозиция, сфера общения, хронотоп, коммуникативная среда); организация общения (мотивы, цели и стратегии, развертывание и членение, контроль общения и вариативность коммуникативных средств); способы общения (канал и режим, тональность, стиль и жанр). По сути, заключает автор, это структура речевого акта. Опираясь на собственный опыт исследования новых дискурсов, она называет еще восемь аспектов их описания, действительно новыми, точнее, ранее недостаточно эксплицитно сформулированными из которых нам представляются три: лингвокогнитивные структуры (фреймы, сценарии, метафорические модели, базовые концепты); жанровые особенности (уточним: текста. – А.Б.); языковые маркеры [Иссерс 2015: 38–40]. А свойства интеркодowości и интердискурсивности имеют факультативный характер.

Нельзя не согласиться с мнением философа П.К. Гречко, что «важным содержательно-терминологическим измерением дискурса является движение от понятия к концепту. <...> Вернее, это даже не движение, а форма углубления понятия в свое собственное содержание, в динамизм мира своего исторического существования, в сетевые отношения своей контекстуальности и интертекстуальности, в онтологическую негарантированность и свободную неопределенность человеческого бытия. <...> Содержательные контуры концептов размыты, а граница между текстом и контекстом в них

просматривается лишь пунктирно. Иначе говоря, содержание концепта определяется не столько его предметно-онтологическим референтом, как в случае с понятием, сколько теми отношениями (к другим концептам и их возможным референтам), в которые он сетевым образом погружен» [Гречко 2015: 50–65].

Положения философа созвучны концепции академика Н. Ю. Шведовой: «Концепт есть исторически сложившаяся словесно выраженная понятийно-языковая целостность, определенно относящаяся к одной из основополагающих сфер существования человека, средствами языка всесторонне осмысленная, социально и субъективно оцениваемая... Как явствует из приведенного определения, – продолжает автор, – концепт существует не сам по себе, а в своем собственном языковом окружении: он как основная и элементарная понятийная данность (основной, или “великий”, “ключевой” концепт) окружен семантическими единицами, обращенными к тому же понятию, но дополняющими, «расцвечивающими» его семантически, стилистически или хронологически и образующими его ближайшее и необходимое поле; это – малые концепты, та живая среда, в которой основной концепт является ее организующим, к себе притягивающим центром» [Русский идеографический словарь... 2011: 345–358]. Принципиально новым, смелым прорывом в области концептологии стал воплощенный в созданном под руководством выдающегося отечественного лингвиста идеографическом словаре опыт упорядочения понятийно связанных единиц в **смысловую парадигму** [Там же. Раздел VI].

Совершенно очевидно, что информационно-психологическая война как социо- и лингвокультурное явление, реализуясь в речевых единствах когнитивно-коммуникативного плана, отвечает всем названным признакам и категориям дискурса автономного типа. Мы исходим из того, что 1) смысловое содержание объекта исследования имеет социальный характер; 2) основным орудием ИПВ является **информация**, особым образом препарированная в количественном и качественном аспектах, структурированная и квантированная/дозированная в расчете на максимально эффективное воздействие на сознание/психику/мировосприятие адресата – реципиента воздействия; 3) основным **инструментом** ее (информации) передачи адресату (индивидуальному или коллективному, реальному или гипотетически-потенциальному), несомненно, является **язык**; специфика **технологии** ведения ИПВ находит выражение в категориях стратегий и тактик; 4) основными носителями/«собираателями»

смыслов служат **концепты**, выявляемые через анализ контекстуальной определенности лексических значений, роль морфологических, словообразовательных и синтаксических средств, специфических риторических и стилистических фигур и приемов, прежде всего эпитетов и метафор; 5) в зависимости от обстоятельств (коммуникативной ситуации), интенций, специфики участников коммуникации (в социально-статусном, профессиональном, возрастном, гендерном плане) используются разные **каналы/способы актуализации информации с участием разных семиотических систем** (устные, письменные, моносемиотические или креолизованные тексты разной функционально-семантической принадлежности в пространстве СМИ, включая интернет, тексты художественной и нехудожественной литературы, агитационно-пропагандистской продукции); 6) целью / конечной интенцией информационно-психологического воздействия актора/субъекта на реципиента является коррекция отдельных фрагментов модели/картины мира адресата.

Безусловно права Т. А. Ширяева, подчеркнувшая мысль, что, «исследуя дискурс, лингвистика вовсе не уходит от своего главного объекта – языка. В образе дискурса язык повернулся к лингвисту своей необычайно сложной социальной стороной, что требует поиска новых подходов и методов... Для современного гуманитарного мышления характерно повышенное внимание к роли языка в формировании социокультурного семиотического компонента общественного сознания и в межкультурном социальном взаимодействии, что влечет за собой и соответствующее расширение сферы лингвистических исследований» [Ширяева 2009: 65].

О. С. Иссерс отмечает, что за последнее десятилетие центр тяжести перенесен на исследование «языкового измерения» дискурсов с учетом не только лингвистических единиц разных уровней, но и жанровых, коммуникативных, когнитивно-прагматических характеристик, типичных для практики использования языка в социальном контексте. В сферу внимания вводятся все новые дискурсы и их речевые реализации [Иссерс 2015: 29]. Значимой инновацией стало формирование в современном языкознании направления, «объектом изучения которого является специфика использования языка как средства ведения информационно-психологических войн» [Лингвистика... 2017: 16].

Объект нашего исследования ограничен реализацией дискурса ИПВ в функциональном стиле современной художественной литературы. Следовательно, речь идет о подтипе ИПВ, доминантным,

специфицирующим признаком которого является материал/объект исследования. Художественное (словесное) творчество – это такой тип социальной деятельности, который совмещает основную эстетическую функцию с рядом социальных функций. Другая особенность этого функционального стиля заключается в его содержательно-смысловой гетерогенности. В силу гетерогенности художественного стиля художественный текст представляет собой системно-структурное образование, в котором, в зависимости от тематики, затрагиваемых проблем, авторского видения мира в разных сферах бытия и различных авторских интенций, могут в неодинаковой степени актуализироваться признаки самых многообразных дискурсов. Заметим, что не вызывает поддержки компромиссное решение А. Н. Приходько соотносить с художественным текстом понятия и функционального стиля, и художественного дискурса. Ведь нет «художественного дискурса» как предметно-тематического единства. В этом вопросе более предпочтительной видится позиция ряда отечественных лингвистов: понятия функциональных стилей и дискурсов разновеликие. Количество первых ограничено типами сознания, а второе гораздо шире, бесконечно в качественном (тематическом) и количественном многообразии [Гаспарян 2014; Пищальникова 2008; Чернявская 2014]. Не останавливаясь на чрезвычайно сложной проблеме типологизации и дискурсов, и дискурсивных практик, отметим, что объектом каждого отдельного исследования в нашем аспекте является **личностная дискурсивная практика**, реализуемая тем или иным автором, например Д. Л. Быковым, Е. Г. Водолазкиным, Е. В. Улицкой. При иной постановке вопроса это могут быть исследования, направленные на сопоставительный анализ реализации ИПВ в произведениях разных авторов относительно каких-то категорий или показателей, например одной определенной мишени или совокупности мишеней, по степени интенсивности или по системе языковых способов выражения ИПВ.

В наших предыдущих публикациях приводились аргументы pro и contra включения художественных текстов определенного типа в дискурсивное поле ИПВ, иначе говоря, выделения подтипа дискурса ИПВ. Наиболее весомый аргумент contra – сомнение в обоснованности приложения термина «война» к художественному тексту. Субъект воздействия, адресант формально носит неинституциональный характер, хотя может быть, осознанно или неосознанно, рупором идеологии какого-то сообщества. Круг потенциальных адресатов-читателей не ограничен ни временем, ни пространством,

ни профессиональными, гендерными либо другими факторами. Гипотетически любой грамотный человек в любом временном отрезке после публикации произведения может стать участником коммуникативного контакта с текстом. Таким образом, признак дистантности коммуникативного контакта не имеет предела. Уже это обстоятельство не коррелирует с представлением о войне. Соответственно, ситуация в момент коммуникативного акта непредсказуема, как непредсказуем характер и масштаб психологического воздействия. Коротко говоря, неизвестно, когда, где, какой индивид, с каким жизненным багажом, сколько индивидов, в какой ситуации станут реципиентами авторского текста. Это противоречит представлению о войне, но отнюдь не исключает факт психологического воздействия художественного текста на получателя информации. Для решения дилеммы обратимся к интерпретации понятия «информационно-психологическая война».

В цитируемом в начале статьи определении понятия ИПВ ключевое слово – *противоборство* с производящей основой *борьба*. А. Д. Васильев, с опорой на определение феномена «информационная война» в «Словаре новейшей социологической лексики» С. А. Кравченко (2011), пишет: «Информационная война является в настоящее время самым перспективным способом “продолжения политики иными средствами”. Информационную войну правомерно трактовать как *составляющую часть информационной борьбы* (выделено нами. – А. Б.). В свою очередь, особенность информационной борьбы заключается в том, что она ведется постоянно – и в мирное, и в военное время» [Васильев, Подсохин 2016: 11]. Это определение наводит на мысль, что в понятийном поле информационно-психологической войны следует учитывать категорию/фактор интенсивности: **«градус» противоборства/противостояния/борьбы**. Война как таковая, материальная или информационная – радикальный, высший градус ведения борьбы. Он явно неприложим к художественному тексту. Думается, что в отношении художественной литературы метафору «война» следует понимать как еще более условную и исследовать на предмет наличия **отдельных симптомов/признаков ИПВ**. Но каждую конкретную, личностную дискурсивную практику в рамках ИПВ, очевидно, допустимо трактовать как информационную, или семантическую, или **информационно-психологическую атаку** [Коцюбинская 2016: 77–81].

Масштаб психологического воздействия от «вброса информации» в составе художественного текста несравним с эффектом

от вброса в СМИ и тем более от удачного использования этой тактики в контексте военной акции [Информационная война. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki>]. Из истории литературы известен международный резонанс на «Страдания юного Вертера» интеллигентной молодежи конца XVIII века («синдром Вертера»: волна самоубийств, в том числе в России). В недавней российской истории о драматурге А. И. Гельмане говорили, что он сделал для перестройки больше, чем диссиденты, называли его одним из «прорабов» перестройки [Гельман. URL: <https://ed-glezin.livejournal.com/tag/Гельман>]. Показательна роль писателей, художников в организации и успехах агитационно-пропагандистской работы в годы Великой Отечественной войны. Помимо военно-политической пропаганды была также литературная: в группу, которую создали специально для ведения пропаганды и освещения боевой жизни советских солдат, были включены такие известные писатели, как К. М. Симонов, Н. А. Тихонов, А. Н. Толстой, А. А. Фадеев, К. А. Федин, М. А. Шолохов, И. Г. Эренбург и многие другие. С ними также сотрудничали немецкие литераторы-антифашисты [Как работала советская пропаганда... URL: <https://russian7.ru/post/kak-rabotala-sovetskaya-propaganda-v-g/>].

Родоначальники лингвистики информационно-психологической войны А. П. Сковородников и Г. А. Копнина говорят о необходимости выявлять и аргументировать критерии принадлежности конкретного речевого образования разной природы к дискурсу ИПВ [Лингвистика... 2017: 16]. Первым шагом в выявлении критериев следует признать специфику **канала** ведения/проявления ИПВ. В настоящее время областями, сферами реализации дискурса ИПВ признаются, прежде всего, публицистическая речь, а также рекламные, дипломатические и даже художественные тексты [Сковородников, Копнина 2016а: 42]. Можно с осторожностью предположить, что и в жанрах научного дискурса могут обнаружиться коммуникативные стратегии и тактики, присущие ИПВ. Приблизена к такой технологии выдвижения профессором А. Т. Кривоносовым собственных позиций на фоне агрессивно-критической трактовки иных позиций в истории языкознания [Бернацкая 2013: 1–11]. Названные и другие сферы/области: кино, театр, музыкальное и изобразительное творчество суть **каналы** ведения и проявления ИПВ. Очевидно, признаки ИПВ могут присутствовать и в любом другом роде литературы: учебной, научно-популярной. Внутри каждого канала используются разные подтипы дискурса ИПВ, реализующиеся в специфических дискурсивных практиках.

Непременные **условия**, предопределяющие потенциально возможное присутствие дискурсивной практики ИПВ в художественном тексте, – современность проблематики произведения, эксплицитно или имплицитно выраженная гражданская позиция автора, общественно значимая проблематика произведения. Показателями служит лексика, маркирующая мишени психологического воздействия на сознание реципиента-читателя. Основной **критерий** наличия в тексте дискурсивной практики ИПВ – специфическая тональность, создаваемая общим негативным вектором оценочности, воплощенным во всех видах и формах реализации субъективной модальности. Последнее плохо согласуется с эстетикой художественного текста. Объяснением служит поворот в идеологии художественной литературы, получивший символическое наименование в терминопонятии «**кризис литературоцентризма**» и основательно рассмотренный в одноименной коллективной монографии. «Литературоцентризм как убеждение в особом статусе литературы, ее определяющем влиянии на все сферы бытия человека считается отличительной чертой отечественной культуры» [Кризис... 2014: 69]. В работах по истории литературы русская классика трактовалась «как синоним духовности, нравственности и русскости», ее роль «в формировании личности, ее ценностных убеждений неизмерима»; она «очевидным образом участвует в создании коллективной (национальной) идентичности» [Там же: 97]. В советскую эпоху «былые функции литературы оказались узурпированы идеологией» [Там же: 12] и «ценность книги связывалась с воздействием на сознание читателя – для воплощения идеологических проектов» [Там же: 25]. В 1990-е годы «литература теряет способность быть главным медиумом идеологии» [Там же: 35]. Вместо борьбы за идеалы, за духовное воспитание читателя – «желание бороться, к примеру, за литературные премии, за признание литературного цеха» [Там же: 158]. Добавим: вместо того чтобы быть проводником в мир истин в эпоху ценностной дезориентации, современная литература усугубляет ее, поддерживая пессимизм, неверие в лучшие перспективы, способствуя утрате социальной и национальной идентичности. В погоне за сенсационностью, за легким успехом писатели зачастую занимают псевдолиберальную позицию, выливающуюся в очернительство прошлого и настоящего страны. Так, литературные критики Анна и Константин Смородины крайне негативно оценивают художественный метод модного нынче писателя Виктора Ерофеева, подкрепляя свои выводы мнением преподавателей и профессоров

университета им. М.В. Ломоносова, в коллективном письме отозвавшихся о его романе с претенциозным названием «Энциклопедия русской души» (2005) как о русофобском и экстремистском: *Считаем, что сочинение В. Ерофеева возбуждает межнациональную рознь и русофобию, активно способствует распространению негативного отношения к русским среди других народов.* Рассуждая о том, стоит ли придавать значение одному крайне неудачному произведению, литературоведы заключают: *Все так, но беда нашего времени в том, что Ерофеев – медийная фигура и сидит в «ящике», представляя перед неповинными зрителями в качестве русского писателя и вообще образованного человека* (Москва. 2010. № 5. С. 189–196). В аналогичном оценочном ключе звучит позиция писателя, главного редактора журнала «Юность», заместителя председателя Государственной Думы РФ С.А. Шаргунова: *Надеюсь, что в России возникнет национальная интеллигенция, что в просвещенной стране станет неловко плевать в родную страну. <...> Так у нас повелось. <...> В результате оппозиция власти (что нормально) превращается в оппозицию стране (что патологично). <...> У нашей либеральной стороны русские всегда плохие, всегда виноваты* (АиФ. № 20. 2019). Литературный критик А. Чанцев подметил еще одну крайне губительную для нравственного здоровья общества черту произведений современной литературной элиты: *...ни в одной из этих книг не дается хоть сколько-нибудь явного проекта положительного будущего* (цит. по [Новикова 2018: 51]). Свидетельство видных литературоведов и литературных критиков о нравственной деградации современной отечественной литературы служит автору настоящего исследования косвенным признанием хотя бы допустимости анализа ряда произведений в рамках лингвистики ИПВ.

Яркой иллюстрацией произошедшей литературной трансформации может служить обращение к одному из произведений эпохи литературоцентризма – роману почвенника и государственника, представителя «деревенской прозы» – А.С. Иванова «Вечный зов» (1970–1976). Писатель оказался провидцем грядущей психологической войны объединенных внешних и внутренних врагов за покорение народа, победившего в самой чудовищной по масштабам человеческих и материальных потерь в истории человечества войне, но уже не посредством физического истребления, а путем последовательной обработки сознания людей. Приведем большой фрагмент с купюрами из второй книги романа, выделяя важнейшие моменты. Это, по существу, монолог А.М. Лахновского, идейного противника

советской власти. В разговоре с бывшим соратником, в надежде на сотрудничество, он намечает стратегию и тактику будущей победоносной психологической войны против российского народа: *В этом веке нам уже не победить. Нынешнее поколение людей в России слишком фанатичное. До оголтелости. <...> Значит, надо действовать нам другим путем. <...> Будем вырывать эти духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности. Мы будем расширять таким образом поколение за поколением (здесь и далее выделено мной. – А. Б.) выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем братья за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! <...> Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов! <...> Вся пресса остального мира, все идеологические средства фактически в нашем распоряжении. <...> Окончится война – все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем... все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! <...> Мы найдем своих единомышленников... своих союзников и помощников в самой России! <...> Мы их воспитаем! Мы их наделаем столько, сколько надо! И вот тогда, вот потом... со всех сторон – снаружи и изнутри – мы приступим к разложению... сейчас, конечно, монолитного, как любят повторять ваши правители, общества. Мы, как черви, разведем этот монолит, продырявим его. <...> Общими силами мы низведем все ваши исторические авторитеты, ваших философов, ученых, писателей, художников – всех духовных и нравственных идолов, которыми когда-то гордился народ, которым поклонялся, до примитива, как учил, как это умел делать Троцкий. Льва Толстого он, например, задолго до революции называл в своих статьях замшелой каменной глыбой. <...> Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться своим прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящее. Он станет равнодушным ко всему, оупнеет и в конце концов превратится в стадо скотов. Что и требуется!*

*Что и требуется! <...> Вот так, уважаемый... Я, Петр Петрович, приоткрыл тебе лишь уголок занавеса, и ты увидел лишь крохотный кусочек сцены, на которой эпизод за эпизодом будет **разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия о гибели самого непокорного на земле народа, об окончательном, необратимом угасании его самосознания...** Конечно, для этого придется много поработать* [Иванов 2014: 355–358]. Известна связь приведенного, по сути, монолога с загадкой «плана»/«директивы» Даллеса. Не подвергается сомнению соответствие пусть и мифического документа общей направленности политики США и Великобритании по отношению к поствоенному Советскому Союзу, получившей выражение и в художественных произведениях А. С. Иванова (1976) и Ю. Дольд-Михайлика (1964) [План Даллеса... URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/План_Даллеса].

Один из ключевых терминов лингвистики ИПВ – **мишень**. В согласии с основоположниками направления понимаем **объект ИПВ** как «сознание тех или того, на кого направлено речевое воздействие с целью его изменения, а **мишень** – понятия и представления о связанных с объектом сторонах действительности, которые подвергаются негативной оценке» [Лингвистика... 2017: 23]. Опыт исследования ряда персональных дискурсивных практик показал, что набор **мишеней ИПВ** варьирует в зависимости от идеологических установок, идиостиля и авторских интенций, от сюжета произведения. Систематизация мишеней осложнена тремя обстоятельствами: разноплановостью текстов в сюжетно-содержательном плане; разным объемом персональных дискурсивных практик; разновесомостью отдельных мишеней в качественном и количественном (пространственном) отношении в авторских текстах. Например, «воровство/вороватость/нечестность», подаваемые как ментальная черта русскости, в дискурсе Л. Е. Улицкой закреплена и повтором, и отсылкой к пусть и неидентифицированному философу. А в повести Е. Г. Водолазкина это всего лишь мелкий эпизод: у гостя-туриста из Германии в России украли кошелек. Мы считаем количественный принцип в подобных случаях, исходя из принятых условий отбора материала, незначимым. С другой стороны, признаем, что в таких случаях «25-го кадра» та или иная мишень могла остаться вне поля внимания. Далее будет предпринята попытка (табл. 1.2) суммировать мишени в исследованных текстах А. А. Зиновьева, Д. Л. Быкова, М. П. Шишкина, В. Бенигсена, Е. Г. Водолазкина (роман и повесть), Л. Е. Улицкой (суммарно).

Таблица 1.2

МИШЕНИ	Зиновьев	Быков	Шишкин	Улицкая	Бенигсен	Водолазкин («Соловьев и Ларионов»)	Водолазкин («Близкие друзья»)
Ментальность	*	*	*	*	*	*	*
Государство		*		*			
Государственные символы				*			
Страна		*	*	*	*	*	*
Народ	*	*	*	*	*		
Советская власть и СССР	*		*	*	*	*	*
Власть современная	*	*		*			
Руководители государства	*	*		*	*		
Внешняя политика	*	*	*	*		*	*
Революция				*		*	*
Исторические личности		*	*	*		*	*
Национальная политика		*	*	*	*		
Культура	*	*		*	*		
Искусство		*		*	*		
Уровень жизни				*	*	*	*
Итоги Великой Отечественной войны	*	*		*	*	*	*
Православие	*	*		*			
Коллективная идеология				*	*	*	
Достижения страны				*		*	
История страны	*	*		*			
Русские писатели		*	*				
Коррупция			*			*	*
Правоохранительная система		*		*	*	*	
Наука, образование	*					*	*

Первое место в таблице (представлена во всех дискурсивных практиках) заняла мишень *ментальность* (лень, пьянство, субстанциональная и нравственная нечистоплотность). На втором месте *страна; советская власть и СССР; внешняя политика; характер и итоги Великой Отечественной войны*. Третье место (в пяти текстах) – *исторические личности, народ*. Внешняя политика во всех шести случаях представлена свойством *агрессивность*. В нашем списке есть мишени, общие с данными по анализу ИПВ на материале газетной публицистики, в частности газеты «Завтра». Это *внешняя и внутренняя политика; властная вертикаль во главе с президентом В.В. Путиным; Русская православная церковь; российская правоохранительная система* [Сковородников, Королькова 2015]. Ранее указывалось, что для достижения объективности выводов в анализе учитывались и нехудожественные факты, связанные с творчеством того или иного автора. Очевидно, характер мишеней, представленных в таблице, не оставляет сомнений в их прямой корреляции с актуальными проблемами страны, ее болевыми точками и, соответственно, является самодостаточным обоснованием признания того факта, что подвергнутые анализу художественные тексты относятся к дискурсу ИПВ.

Отсюда следует, что художественная литература при наличии ряда факторов способна участвовать в реализации дискурса ИПВ, следовательно, использоваться в качестве одного из каналов ведения ИПВ. Как было выявлено ранее, это такие факторы, как принадлежность произведения к литературе, разорвавшей преемственную связь с традиционной, классической литературой духовно-нравственного толка; принадлежность автора к кругу получивших знаки общественного признания (гранты, государственные и международные премии, читательские конференции и т. д.), что способствует общественному резонансу; общественно значимая тематика; субъективная модальность с единым, а именно негативным, вектором оценочности. Однако наличие указанных условий еще недостаточное основание признавать («клеймить») того или иного автора/писателя актором/субъектом ИПВ. Как правило, речь должна идти о наличии в произведении дискурсивной практики с наличием признаков/симптомов дискурса ИПВ. Ранее указывались причины: отсутствие возможности предсказать масштаб читательской аудитории; наличие в произведении далеко не единственно «военной» авторской интенции; пространственно-временной разрыв между авторской рефлексией и читательской рецепцией; зависимость читательской рецепции

от актуальной коммуникативной ситуации; отсутствие у автора надежного инструмента отличения критики наблюдаемых общественных обстоятельств от ИПВ. Это не исключает потенциальной возможности перерастания признаков/симптомов в полноценную «войну». Такая (естественно, нежелательная) эволюция гипотетически может стать результатом сознательного использования того или иного произведения/произведений инициатором информационно-психологической обработки определенного контингента социума. В любом случае имеется в виду действие закона синергетического эффекта, объединяющего множество малых воздействий на объект системы, в нашем случае – сознание человеческих масс.

1.5. Вербальные маркеры манипуляции в текстах информационно-политической войны

Манипуляция: к определению понятия. В силу того, что манипулирование общественным сознанием чрезвычайно распространено в современном обществе, феномен манипуляции привлекает к себе пристальное внимание лингвистов. Используя каналы средств массовой информации, политические силы различного толка транслируют идеи, пропагандирующие нужные им представления о «своих» и «чужих», тем самым происходит внедрение в сознание общества определенных стереотипов с применением манипулятивных технологий и трансформация его мировоззрения.

При всем многообразии существующих подходов и точек зрения общепринятого определения манипуляции нет. Манипуляцию рассматривают как речевое воздействие, стратегию, технику, практику. Сущностные характеристики данного феномена также определяются в научной литературе по-разному:

- скрытое применение власти вразрез с предполагаемой волей другого [Goodin 1980];
- форма духовного воздействия, скрытого господства, осуществляемого насильственным путем [Бессонов 1971];
- господство над духовным состоянием, управление изменением внутреннего мира [Волкогонов 1983];

- отношение к другому как к средству, объекту, орудию [Сага-товский 1980: 84–85];
- скрытое влияние на совершение выбора [Proto 1989];
- такое структурирование мира, которое позволяет выигрывать [Riker 1986];
- скрытое принуждение, программирование мыслей, намерений, чувств, отношений, установок, поведения [Шиллер 1980: 87];
- вид психологического воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими желаниями [Доценко 1997: 59];
- коммуникативная и интерактивная практика, которая предполагает, что манипулятор, действуя в своих интересах, устанавливает контроль над другими людьми против их воли [Dijk 2006];
- «вид взаимодействия, при котором манипулирующий сознательно пытается осуществить контроль над поведением манипулируемого, который не считает себя объектом манипуляции, побуждая его вести себя определенным образом» [Паршин 2000: 57].

Предпринимались попытки выделить инвариантные признаки манипуляции на основе анализа различных определений, а именно: 1) психологическое воздействие, 2) отношение манипулятора к другому как средству достижения собственных целей, 3) стремление получить односторонний выигрыш, 4) скрытый характер воздействия, 5) использование силы, игра на слабостях [Доценко 1997].

Принципиально важным является разграничение смежных понятий «манипуляция» и «речевое воздействие». Под речевым воздействием понимается воздействие на индивидуальное или коллективное сознание и поведение, осуществляемое разнообразными речевыми средствами, иными словами – с помощью сообщений на естественном языке [Паршин 2000].

Анализ вышеприведенных и других трактовок феномена воздействия [Балл, Бургин 1994; Грачев, Мельник 2003; Доценко 1997; Ковалев 1989; Паршин 2000, 2003; Стернин 2012; Dijk 2006; Wodak 1996] позволяет констатировать, что **манипуляция – это вид речевого воздействия, который всегда подразумевает в качестве цели выгоду для субъекта манипуляции и определенный ущерб, который наносится объекту манипулирования, а воздействие, в свою очередь, не всегда наносит ущерб интересам объекта, на которого оно оказывается.** Кроме того, воздействие может быть как открытым, так и скрытым, а манипуляция всегда носит скрытый характер.



Рис. 1.3. Соотношение понятий «речевая манипуляция» и «речевое воздействие» в родовом его понимании (за идею схемы благодарим профессора А. П. Сковородникова)

Вербальный маркер манипуляции. В современной отечественной и зарубежной лингвистике уже описан опыт выявления маркеров некоторых психологических и когнитивных процессов. Речь идет о дискурсивных маркерах [Schiffrin 1989; Louwerse, Mitchell 2003], соединителях или коннекторах [Celle, Huart 2007], межличностных маркерах или прагматических частицах [Meyerhoff 1994], прагматических выражениях [Erman 1987], просодических маркерах [Pickering et al. 2009], лингвистических маркерах [Cohen et al. 2013], лингвистических индикаторах [Потапова, Потапов 2011] и т. д. Ниже представим краткий обзор некоторых современных исследований, проводимых в русле данной проблематики.

Экспериментальным путем, с привлечением различных инструментов подсчета частотности слов выявлено, что междометие *um* и лексема *like* [Arciuli, Mallard, Villar 2010], а также намеренное обезличивание высказываний и злоупотребление лексемами, выражающими негативные эмоции [Newman et al. 2003], в англоязычном дискурсе выступают в качестве маркеров правды и лжи.

Работа с респондентами в рамках экспериментального исследования с привлечением инструментов, которыми располагает компьютерная речевая лаборатория КауPENTAX, позволила интернациональному коллективу авторов из США и Италии выявить просодические маркеры кульминации в юмористических нарративах. По результатам исследования кульминационные строчки, вопреки ожиданиям, не произносятся громче, а скорее наоборот – воспроизводятся медленней и в более низкой тональности. Кроме того, кульминационные моменты зачастую сопровождаются смешками и не отделяются значительными паузами [Pickering et al. 2009].

Некоторые исследования обусловлены острой, социально обусловленной, практической необходимостью, связанной, в частности, с осуществлением мониторинга экстремистских сайтов и обезвреживанием террористов. Команда из Стокгольмского университета описала свой опыт обнаружения лингвистических маркеров радикальной жестокости, для выявления которых авторами были использованы различные технологии: онлайн-переводчики, анализ тональности текста, или сентимент-анализ, мэппинг сайтов, распознавание автора. Лингвистическими марками выступают выражение отношения или установки субъекта, планирующего террористическую атаку, которые можно обнаружить в письменной коммуникации данного субъекта в социальных сетях. В результате описаны следующие маркеры:

1) маркеры утечки информации: вспомогательные глаголы намерения – *will, going to, someone should* – в сочетании с лексемами, обозначающими жестокие действия, или эвфемизмами (метод лемматизации и онтологии);

2) маркеры навязчивой идеи: упоминание субъектом чего-либо очень часто (метод подсчета частотности ключевых понятий с помощью инструментов распознавания именованных сущностей – NLTK и GATE, например);

3) маркеры идентификации: прилагательные с позитивной коннотацией при описании группы «своих» и с негативной коннотацией при описании группы «чужих» – позитивная самопрезентация и дискриминация оппонента [Там же].

Диагностированием индикаторов ложных признаний занимались ученые из Университета Сиднея посредством анализа употребления различных частей речи 85 участников эксперимента, во время которого им необходимо было чистосердечно признаться в совершении того или иного правонарушения или сделать ложное признание относительно каких-либо проступков, совершенных в прошлом. Результатом эксперимента стали записи интервью с участниками, которые впоследствии были затранскрибированы и обработаны с помощью программного обеспечения WMatrix, предназначенного для создания в корпусе семантических тегов и распределения по частям речи. Данное программное обеспечение позволяет проанализировать частотность словоупотреблений и конкорданцию с 97 %-ной достоверностью.

Для установления определенных взаимозависимостей между эмоциональными состояниями тревоги, депрессии и стресса, с одной стороны, и употреблением той или иной части речи – с другой,

был подсчитан коэффициент корреляции Пирсона. Интересным представляется также опыт использования многофакторного дисперсионного анализа (MANOVA) для исследования влияния тематики на частотность употребления существительных, прилагательных и глаголов.

Наиболее существенным результатом исследования можно считать то, что было установлено: ложные признания отличаются значительно меньшим числом случаев употребления прилагательных [Villar, Arciuli, Peterson 2013].

Исследователи из Университета Мемфиса говорят о дискурсивных маркерах в диалоге. Под дискурсивными маркерами понимаются вербальные и невербальные средства, которые маркируют точки перехода в диалогической коммуникации. Авторы выделили перечень маркеров на материале корпуса, а затем попеременно заменяли каждый маркер каким-нибудь другим из обнаруженных ранее. Данный тест помогает определить, существуют ли между маркерами данного корпуса диалогов гипо-гиперонимические отношения или синонимичные отношения. В результате все выделенные маркеры были разбиты на четыре категории: направление (*direction*), полярность (*polarity*), признание (*acknowledgment*) и акценты (*emphatics*) [Louwerse, Mitchell 2003].

Венгерские исследователи описали свой опыт выявления прагматических маркеров манипуляции в политическом дискурсе. При этом под прагматическими маркерами понимается перечень синтаксически разнородных лексем, которые используются в различных оценочных и метакоммуникативных функциях, не имеют концептуального значения, но обладают такими отличительными свойствами, как индексальность, контекстная зависимость и многофункциональность [Furko 2017].

Говоря о попытках обнаружения отечественными учеными разного рода вербальных маркеров, необходимо упомянуть Р.К. Потопову, имеющую значительный опыт выявления маркеров или, в терминологии самого автора, индикаторов различных эмоциональных состояний – страха, тревожности, агрессии. В ее исследованиях большое внимание уделяется изучению таких воспринимаемых при перцептивно-слуховом анализе характеристик речи, как речевое дыхание, манера говорения, высота, сила и окраска голоса. Данные характеристики изучались в ходе экспериментальных исследований – анализа записей, сделанных в ситуациях реального речевого общения.

По результатам экспериментов выделены следующие перцептивные индикаторы страха/тревожности: увеличение числа хезитационных пауз, увеличение длительности хезитационных пауз, увеличение скорости артикуляции, темпоральное слоговое скандирование, ограниченная громкость высказываний и некоторые другие. При этом авторы подчеркивают, что благодаря обнаруженным индикаторам появляется возможность определения психического состояния личности в различных жизненных ситуациях, а также решения задач слуховой идентификации говорящего и распознавания эмоционального состояния говорящего – в том числе для проведения криминалистической экспертизы или в медицинских целях [Потапова, Потапов 2011].

Принимая во внимание, что на данный момент отсутствует единое определение понятия «вербальный маркер», считаем целесообразным предложить для него следующую дефиницию: *вычленяемая, подлежащая формализации и дальнейшей параметризации языковая единица, указывающая на присутствие в тексте некоторого более сложного, не поддающегося параметризации явления. При этом общая для всех типов маркеров функция – появляться в тех же контекстах, что и некое искомое исследователями явление.*

Алгоритм выявления маркеров манипуляции. Исследовательским коллективом Лаборатории прикладной лингвистики и когнитивных исследований Сибирского федерального университета был предложен алгоритм выявления вербальных маркеров манипуляции в англоязычном поляризованном политическом дискурсе [Горностаева 2018; Колмогорова, Горностаева, Калинин 2017].

На первом этапе проведена сплошная выборка 100 текстов статей, посвященных отношениям США и России на фоне украинского кризиса, из американских периодических изданий *The New York Times* и *The Washington Post*. Определив, вслед за Т.А. ван Дейком, манипуляцию как коммуникативную и интерактивную практику, которая предполагает, что манипулятор, действуя в своих интересах, устанавливает контроль над другими людьми [Dijk 2006], мы предварительно категоризировали их как манипулятивные.

На втором этапе русскоязычным респондентам, владеющим английским языком на сертифицированном уровне C1, согласно европейским уровням владения иностранным языком, были предложены статьи из выборки. Перед прочтением статей респондентам предлагалось заполнить анкету, содержащую паспортную часть, а также ответить на ряд вопросов, призванных отразить знакомство

респондентов с политическими новостями, выявить отношение к политике в целом. После прочтения статей с испытуемыми проводилось структурированное интервью, в котором, в частности, предлагалось 1) определить эмоцию, чувство, которые респондент переживал во время прочтения статьи; 2) назвать устно или подчеркнуть в тексте статьи те пассажи, которые запомнились, обратили на себя внимание.

Гипотеза состояла в том, что в таком случае в качестве самых запоминающихся пассажей текста респонденты, будучи представителями стороны «плохих» в поляризованной манипулятивной оппозиции «Мы – хорошие, они – плохие», выделяют наиболее манипулятивно сильные. Дискурс-анализ выделенных 36 респондентами пассажей подтвердил их включенность в реализацию коммуникативных стратегий манипуляции, реализующих макропропозицию «Мы – хорошие, они – плохие», что позволило выделить первый список маркеров манипуляции. Мы назвали их «дискурсивными маркерами манипуляции», и в дальнейшем они составили обособленную группу маркеров.

На третьем этапе, сузив выборку только за счет тех текстов, в которых присутствуют выделенные респондентами маркеры, мы проанализировали частотность других лексических и лексико-морфологических средств в данных статьях, что позволило определить шесть типов вербальных маркеров манипуляции. Мы выдвинули гипотезу о том, что данные маркеры можно использовать в качестве параметров¹ для дальнейшей разработки компьютерного анализатора текстов, способного классифицировать тексты на манипулятивные и неманипулятивные. Для проверки гипотезы уже на выборке в 1800 статей был проведен статистический анализ ее вероятности с использованием двухвыборочного t-критерия Стьюдента [Колмогорова, Талдыкина, Калинин 2016].

Вербальные маркеры манипуляции: результаты. Детальный анализ выделенных респондентами пассажей позволил выявить их лексические и морфологические особенности. Среди лексических средств, используемых в качестве вербальных средств манипуляции, наиболее распространены прилагательные, существительные и глаголы с яркой негативной коннотацией, которые впоследствии были объединены в группу дискурсивных маркеров манипуляции,

¹ Под параметром мы понимаем индивидуальное измеряемое свойство исследуемого объекта манипуляции.

поскольку они являются наиболее яркими репрезентациями двух актуальных для поляризованного политического дискурса стратегий в контексте борьбы за власть – позитивной самопрезентации и представления оппонента в невыгодном свете.

Для того чтобы доказать, что лексические и морфологические средства, отмеченные нами как повторяющиеся в тех фрагментах, которые выделили информанты, на самом деле являются маркерами манипулятивного речевого воздействия, мы провели коммуникативно-дискурсивный анализ статей, предъявленных в качестве стимула.

Коммуникативно-дискурсивный анализ показал, что Россия описывается как агрессор, государство, стремящееся завладеть чужой территорией и осуществить военно-политическую интервенцию. Подобный эффект достигается с помощью следующих типичных словосочетаний и выражений с яркой оценочной коннотацией:

- *Russian military aggression* (российская военная агрессия);
- *direct invasion* (прямое вторжение);
- *Russia denied that its military was occupying Crimea* (Россия отрицает, что ее войска оккупировали Крым);
- *attempt to annex this part of Ukraine* (попытка аннексировать эту часть Украины);
- *under the guise of a humanitarian mission* (под прикрытием гуманитарной миссии);
- *It's clear that Russia is not planning to conduct any humanitarian mission* (Очевидно, что Россия не планирует реализовывать никакую гуманитарную миссию);
- *Russian artillery support... is being employed against the Ukrainian armed forces* (Поддержка российской артиллерии... осуществляется против вооруженных сил Украины);
- *20 000 Russian "combat-ready troops"* (20 000 российских боевых войск);
- *Russia is more interested in resupplying separatists rather than supporting local populations* (Россия более заинтересована в обеспечении сепаратистов, нежели в поддержке местного населения);
- *The White House... said it raised the likelihood that Russia planned the convoy as a pretext for invasion* (Белый дом... заявил, что растёт вероятность того, что Россия планирует отправить гуманитарный конвой как предлог для вторжения).

Стратегия самовосхваления, или положительной самопрезентации, призвана представить себя в позитивном и выгодном свете. В проанализированных дискурсах это выглядит следующим

образом: украинские власти стремятся мирным путем урегулировать конфликт на Украине, хотя прекратить кровопролитие, их цель – остановить агрессию со стороны России любыми способами:

- *Ukrainian forces would not use force against the convoy because they want to avoid provocations* (Украинские войска не стали бы использовать силу против конвоя, потому что они хотят избежать провокаций);

- *We need to use all methods to stop Russian military aggression* (Нам нужно использовать все средства, чтобы остановить военную агрессию со стороны России).

Изучив результаты проведенного нами эксперимента, мы сузили первоначальную выборку со 100 до 80 газетных текстов (вторая серия/выборка), включив в нее только тексты, содержащие выделенные информантами дискурсивные маркеры манипуляции. Были проанализированы тексты, включающие отмеченные респондентами дискурсивные маркеры манипуляции, а затем уделено особое внимание лексическим средствам, повторяющимся из текста в текст вместе с дискурсивными маркерами манипуляции. Таким образом, для разработки компьютерной программы-классификатора текстов выделено 6 основных лексических классов – 6 параметров (*features*), с помощью которых, согласно нашей гипотезе, компьютерная программа сможет сортировать тексты по уровню их манипулятивности:

- 1) военная терминология;
- 2) прилагательное *soviet* и лексика на советскую тематику;
- 3) дискурсивные маркеры манипуляции – лексемы из составленного по итогам эксперимента списка маркеров манипуляции (тематика страха, агрессии, вторжения);
- 4) упоминание прецедентной для данной тематики личности *Vladimir Putin*;
- 5) наличие прилагательных с антонимическими приставками *anti-* и *pro-*;
- 6) лексемы *Nazi* и *fascist* и производные от них.

Далее более подробно рассмотрим выделенные нами маркеры.

Военная терминология и лексика на советскую тематику.

Военный термин – это «устойчивая единица синтетической или аналитической номинации, закрепленная за соответствующим понятием в понятийно-функциональной системе определенной сферы военной профессии в значении, регламентированном его дефиницией» [Шевчук 1989: 8].

Предварительно изучив выбранные нами статьи, мы пришли к выводу, что многие авторы умышленно прибегают к использованию военной терминологии для усиления манипулятивного эффекта, для создания устрашающего образа оппонента, который готов развязать войну. В отрывке 1 благодаря сочетанию военной лексики и конкретных числовых показателей создается образ реальной угрозы, исходящей от России – государства, обладающего огромным военным потенциалом.

(1) *A retired NATO general who recently held talks with the Ukrainian president, Petro Poroshenko, told me that **intelligence estimates** are of some **45,000 regular Russian troops** on the border; tens of thousands of **Russian irregulars** of various stripes inside Ukraine organized by a smaller number of **Russian officers** and **military personnel**; some **450 battle tanks** and over **700 pieces of artillery** (The Iran-Ukraine Affair, The New York Times, 11.11.2014).*

Отставной генерал НАТО, который недавно вел переговоры с Президентом Украины Петром Порошенко, сказал мне, что, по оценкам разведки, на границе находится более 45 000 российских войск; десятки тысяч нерегулярных войск различных подразделений на территории Украины, организованных меньшим числом российских офицеров и военнослужащих; около 450 танков и более 700 артиллерийских орудий.

Во фрагменте 2 эксплицитно выражена угроза, исходящая от России: *The current Russian buildup has all the signs of **preparation for an offensive** – Наблюдаемое наращивание военной мощи дает все основания предполагать, что **Россия готовится к нападению**. Далее на читателя «нагоняется» еще больший страх с помощью перечисления вооружения, имеющегося в распоряжении российской армии.*

(2) *The current Russian buildup has all the signs of preparation for an **offensive**. Large, **unmarked convoys of heavy weapons and tanks** manned by personnel without insignia on their **uniforms** (like those who took over Crimea) have been seen rumbling toward the **front lines** in rebel-held territory. **Sophisticated artillery** and **ground-to-air missile systems** have been moved into position. Units all the way from the east and far north of Russia have been massed. You don't move **military units** thousands of miles for nothing (The Iran-Ukraine Affair, The New York Times, 11.11.2014).*

Наблюдаемое наращивание военной мощи дает все основания предполагать, что Россия готовится к нападению. Огромные

конвои тяжелого вооружения и танков без опознавательных знаков и управляемые военными в безликой форме (как те, что взяли Крым) были замечены на границе с захваченной повстанцами территории. Передовая артиллерия и ракетные комплексы земля-воздух приведены в состояние готовности. Собраны единицы военной техники со всей территории России – от востока до Крайнего Севера. Вы не стали бы передвигать единицы военной техники на тысячи миль просто так.

Обнаружив многочисленные случаи использования военных терминов, мы обратились к специализированному словарю *Dictionary of Military and associated Terms* для уточнения их значения. В отрывках 1 и 2 наблюдается достаточно высокая плотность – в среднем 60 лексических единиц (вместе со служебными частями речи) из 480 слов в статье (13 %) – употребления лексики на военную тематику, с помощью которой авторами статьи намеренно создается негативный образ России как государства-агрессора, которое наращивает военную мощь и готовится нанести удар по украинской территории. Для подтверждения валидности наших выводов мы взяли статьи, не относящиеся к политическому поляризованному дискурсу, из тех же периодических изданий. При сравнении обнаружилось, что в подобных статьях, не принадлежащих классу манипулятивных, число военных терминов близко к нулю.

Анализ материала позволяет также констатировать, что нередко в статьях встречается упоминание о советском прошлом Российской Федерации – прилагательное *soviet* (советский) или *post-soviet* (пост-советский) в сочетании с существительными: *success, rule, union, territory, region, state, mentality, forces, times, troops, era, leader, space, narrative, citizens, greatness, stupor, masters, regime, republic, Russia, Cold War, the Berlin wall*.

Авторами дискурсивного фрагмента 3 предпринята попытка противопоставить советские (некрасивые) постройки элегантной европейской австро-венгерской архитектуре. С помощью такого приема мир разделяется на утонченный европейский, к которому уже давно относят себя жители Украины, и некрасивый серый советский (российский).

(3) *Residents of Lviv, where Soviet rule never erased elegant Austro-Hungarian architecture, have long been among the most determined in Ukraine to push their nation toward Europe* (In Ukraine's European core, new weariness over war with pro-Russian rebels, The Washington Post, 31.10.2014).

Жители Львова, где советские правила так и не стерли элегантную австро-венгерскую архитектуру, уже давно решительно настроены на присоединение к Европе.

В примере 4 употребляется словосочетание *депрессивный советский регион*, таким образом, снова делается отсылка к негативным сторонам советского прошлого, которое противопоставляется радостному постсоветскому (пример 5), европейскому настоящему.

(4) *It is a depressive Soviet region, Sokolov said in one of Lviv's bustling coffeehouses, which are reminiscent of Vienna (In Ukraine's European core, new weariness over war with pro-Russian rebels, The Washington Post, 31.10.2014).*

«Это депрессивный советский регион», – сказал Соколов в одной из шумных кофеен Львова, которые напоминают о Вене.

(5) *Poland's post-Soviet success has helped push Lviv's attitudes toward Europe (In Ukraine's European core, new weariness over war with pro-Russian rebels, The Washington Post, 31.10.2014).*

Постсоветский успех Польши помог Львову обратить свой взор на Европу.

Употребляя выражения с лексемой *Soviet*, западные журналисты стремятся сделать отсылку к негативной стороне советского прошлого – отсутствию демократии, авторитаризму, упадку экономики, дефолту и т. п. Они как бы приписывают подобные отрицательные характеристики современным событиям, политике, власти. Ознакомившись со статьей, читатель начинает проводить параллели между депрессивным советским прошлым и нынешней политической обстановкой в России и на Украине, у него создается мрачный образ государства, пребывающего в глубоком экономическом и политическом кризисе и лишенного прав и свобод.

Прецедентное имя *Vladimir Putin*. Прецедентные феномены являются основными элементами когнитивной базы, представляющей собой совокупность знаний и представлений всех говорящих на данном языке [Красных 1997].

Вслед за Ю.Н. Карауловым под прецедентными феноменами мы понимаем феномены, значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности [Караулов 1987: 216].

В современных СМИ широко используется стилистический прием игры с прецедентными феноменами, рассчитанный на появление у адресата нужных ассоциаций [Немирова 2013; Редкина 2017; Федосеева 2007; Ханина 2016; Чемезова 2008]. Любая прецедентная единица сводит описываемую ситуацию к образу-стереотипу, замещающему в сознании носителя языка подробное описание [Караулов 1987: 75].

Все прецедентные феномены, по Д. Б. Гудкову, выполняют три функции: оценочную, экспрессивную и парольную (кодирование информации). Оценочная функция заключается в формировании совокупности всех представлений и знаний об элементах нашей действительности и исторической эпохе через призму представлений и знаний о конкретной личности. Экспрессивная функция напрямую связана с выражением эмоционального состояния конкретного индивида или какой-либо социальной группы с целью передачи субъективного отношения к обозначаемым предметам или явлениям действительности при помощи сравнения (сопоставления) или отождествления с определенным прецедентным именем. Кодирование информации (парольная функция) представляет собой своеобразное установление соответствия между элементами сообщения (даты, цифры, исторические события и их участники) и сигналами, в роли которых выступают сами прецедентные имена [Гудков 2000].

Использование прецедентных феноменов в политическом массмедийном дискурсе повышает аутентичность высказывания и способствует созданию «своей» атмосферы, закрытой от «чужих», что, в свою очередь, помогает разграничивать мир на «своих» и «чужих» [Иванова 2008].

Прецедентное имя *Vladimir Putin* – это своеобразный символ политика, «коммуникативный эталон» современности для россиян. Нынешний президент Российской Федерации непроизвольно ассоциируется с временем результативных реформ, нанотехнологий, прогресса, утверждения демократии, защиты граждан, мирного урегулирования международных конфликтов и укрепления позиций страны на международной арене. Образ Путина как политика вызывает у россиян положительные эмоции, индекс доверия к нему высок. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром по изучению общественного мнения в 2012 году, граждане России не видят альтернативы Владимиру Путину на посту президента, отмечают его компетентность (17 %), управленческие навыки (15 %), трудолюбие (11 %) и энергичность (7 %). Остальные респонденты,

высказавшиеся положительно о Владимире Путине, говорят о его доброте, уверенности, принципиальности и других положительных качествах. С 2012 года рейтинг Владимира Путина вырос с 58,8 до рекордных 89,9 [ВЦИОМ 2015].

Прецедентное имя *Vladimir Putin* также кодифицирует конкретные исторические факты: реформирование судебной системы, образование молодежных политических организаций в поддержку президента, создание Таможенного союза, борьба с коррупцией, участие в саммитах Большой восьмерки, защита бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, инициация отправки гуманитарных конвоев на Донбасс, разрешение конфликта в Сирии, укрепление авторитета России на международной арене.

Однако для западных, в основном североамериканских, СМИ Владимир Путин – тиран и диктатор, активно демонстрирующий свою силу в стране и мире, агрессор, захвативший Крым и развязавший войну на Украине. Западные СМИ приписывают Путину следующие характеристики: *Russia's paramount leader, with macho stance, resentful, aggressive, Putin holds a tranquillizer gun, Putin invaded, Putin fabricated, Putin hides the truth, Putin has framed a conflict.*

Более того, утверждается, что политический лидер обнаруживает признаки мании величия, он кажется тщеславным диктатором, который возомнил себе, что Россия – самое сильное государство в мире, а россияне заражены «путинизмом» (*Putinism, Putin's Russia, Putin's regime, Putin's nationalism*).

Примеры 6, 7 и 8 наглядно демонстрируют вышесказанное: Владимир Путин представлен агрессивным диктатором, который пытается оправдать свое насилие на территории Восточной Украины, выдумывая несуществующие факты.

(6) *In response to **Putin's hammer**, the West has expressed concern (The Iran-Ukraine Affair, The New York Times, 11.11.2014).*

В ответ на путинский молот (удар, обстрел) Запад выразил свою обеспокоенность.

(7) *There was no acknowledgement that the sanctions, imposed by Europe and the United States, were a reaction to **Mr. Putin's aggression** in Ukraine or that they have hurt Russia's weak economy (Can America and Russia Get Along? The New York Times, 11.11.2014).*

Нет никакого подтверждения тому, что санкции, введенные Европой и Соединенными Штатами, были реакцией на агрессию Путина на Украине или же причинили вред и без того слабой российской экономике.

(8) *The source of tensions between the West and Russia lies with the nature of the **Putin regime**. To justify his invasion, **Putin fabricated** stories that Russian speakers and ethnic Russians, first in Crimea and then in eastern Ukraine, were under threat. In reality, no such threats existed* (There will be no win-win deal with Putin, The Washington Post, 11.12.2014).

Источник напряжения между Западом и Россией – путинский режим. Для того чтобы оправдать свое вторжение, Путин сочинил истории о том, что русскоязычные граждане, а также этнически русские – сначала в Крыму, а затем в Восточной Украине – находятся под угрозой. На самом деле не было никакой угрозы.

Подводя итог, отметим, что употребление прецедентных имен в определенном контексте помогает авторам создать позитивный или негативный образ оппонента, повлиять на его взгляды и убеждения. В нашем материале прослеживаются основные функции прецедентных имен – оценочная, экспрессивная и парольная. Через призму знаний и оценочных высказываний о Президенте РФ, например, формируется обобщенное представление о государстве, его повседневной действительности. Авторы устанавливают соответствие между политической ситуацией, актуальными событиями, происходящими на Украине и в мире, и прецедентными именами. В данном случае создаваемый североамериканскими СМИ образ Владимира Путина – авторитарного и жестокого политика – проецируется на все государство и формирует отрицательное впечатление, т. е. под данным прецедентным именем закодирована определенная, нужная автору, информация. Кроме того, высказывая собственное мнение о каком-то конкретном человеке, автор наделяет прецедентное имя экспрессивной функцией, поскольку таким образом он выражает свое эмоциональное состояние и передает свое субъективное отношение к обозначаемым предметам.

Лексемы *Nazi* и *fascist* и производные от них. Темы нацизма и фашизма являются весьма важными и неприятными не только для большей части жителей постсоветского пространства, но и для всех государств, принявших участие во Второй мировой войне. Американские СМИ прибегают к использованию лексики, имеющей отношение к эпохе фашизма в Германии, нацизма, а также имен всем известных политических деятелей того времени для дискредитации нынешнего правительства РФ. Для примера возьмем статью из *The Washington Post* под названием *In Putin's Russia, it just got easier to*

find the perpetrators of Stalin's purges (В путинской России становится легче находить виновников сталинских чисток).

В данной статье встречается упоминание о нацистской Германии *Nazi Germany* (нацистская Германия). Статья освещает тот факт, что организация по защите прав человека опубликовала целую базу данных, содержащую персональные данные около 40000 исполнителей сталинских чисток, которые Кремль предпочел бы оставить в тайне. При этом проводятся параллели между тоталитарной Советской Россией и политикой Владимира Путина, который в последнее время якобы оправдывает действия Сталина и подчеркивает его значительный вклад в победу над фашистской Германией и возвращение СССР статуса мировой сверхдержавы:

(9) *Russian President Vladimir Putin has in recent years revised Stalin's legacy, emphasizing the dictator's role in defeating Nazi Germany in World War II and turning the Soviet Union into a world power* (In Putin's Russia it just got easier to find the perpetrators of Stalin's purges/ The Washington Post, 24.11.2016).

Владимира Путина обвиняют в сокрытии фактов и замалчивании неприглядных моментов истории СССР: детали чисток, в которых лидеры Коммунистической партии и рядовые граждане были массово осуждены, как правило, по сфабрикованным обвинениям, были стерты из школьных учебников и публичного дискурса.

Обращаясь к теме нацизма при описании современной политической ситуации в России, авторы как бы приписывают те негативные характеристики прошлого сегодняшнему российскому правительству, при этом у читателя невольно выстраиваются негативные ассоциации касательно политики Владимира Путина, поскольку тот во многом якобы поддерживает жесткие тоталитарные меры Сталина.

Кроме того, в западных СМИ, ведущих активную антироссийскую пропаганду, на сегодняшний день наметилась тенденция отождествлять СССР и фашистскую Германию, приравнять Сталина к Гитлеру, а значит – обвинить в нацистских настроениях (в особенности с учетом присоединения Крыма) Россию как наследницу СССР и назвать Путина наследником Сталина, что, в свою очередь, дает повод правительствам Запада начать войну с РФ.

Прилагательные с антонимичными приставками *anti-* и *pro-*. В исследованных нами статьях было отмечено частое использование прилагательных с приставками *anti-* и *pro-*, которые помогают американским журналистам четко обозначить свою позицию и разделить

«своих» и «чужих». Кроме того, с помощью данных лексико-морфологических единиц автор статьи может переложить ответственность за какое-либо действие на своего оппонента.

Дадим краткую этимологическую характеристику данным приставкам. Приставка *pro-* в современном английском языке образует прилагательные и иногда существительные со значением поддержки, одобрения чего-либо (*in favor, favoring*) [Online Etymology Dictionary 2001–2018. URL: <https://www.etymonline.com/word/pro->]. Приставка *anti-* имеет греческое происхождение и употребляется в значении «против, нечто противоположное, вместо» (*against, instead*) [Online Etymology Dictionary 2001–2018. URL: <https://www.etymonline.com/word/anti->]. В нашем случае данные приставки употребляются с прилагательными и существительными. Приставка *pro-* в основном встречается в составе прилагательного *Russian* и существительного *Russia* в сочетании с лексемами *rebels, rebellion, separatists* и т. п. Тем самым происходит соотнесение событий, происходящих на востоке Украины, и действий РФ. Авторы пытаются донести до читателя, что повстанческим движением руководит правительство РФ.

В данных заголовках из газеты *The Washington Post* (примеры 10, 11, 12, 13) автор перекладывает ответственность за военный конфликт на Украине на Россию, подчеркивая, что за действиями «повстанцев» стоят власти Российской Федерации.

(10) *Ukraine pro-Russian rebels hold elections in the east, fueling conflict* (Ukraine pro-Russian rebels hold elections in the east, fueling conflict, *The Washington Post*, 02.11.2014).

Пророссийские повстанцы на Украине провели выборы на востоке, обострив конфликт.

(11) *In Ukraine's European core, new weariness over war with pro-Russian rebels* (In Ukraine's European core, new weariness over war with pro-Russian rebels, *The Washington Post*, 31.10.2014).

Европейские сторонники на Украине устали от войны с пророссийскими повстанцами.

(12) *Eighteen months ago, when Russian President Vladimir Putin seized Crimea and then instigated a pro-Russian rebellion in the Donbas region, Ukraine was hot news* (Putin won his war in Ukraine, *The Washington Post*, 07.09.2015).

Восемнадцать месяцев назад, когда российский президент Владимир Путин захватил Крым, а затем спровоцировал пророссийское восстание на Донбассе, Украина была на первой полосе газет.

(13) *Two years later, Russia annexed Crimea and bolstered **pro-Russian separatists** in Ukraine* (What is Vladimir Putin really up to? The Washington Post, 13.12.2017).

Два года спустя Россия аннексировала Крым и содействовала пророссийским сепаратистам на Украине.

Американские СМИ описывают прилагательным *pro-Russian* (пророссийский) все, что, на их взгляд, «неправильное, недемократичное», например, в статьях *The New York Times* пророссийским называют бывшего президента Украины Виктора Януковича (пример 14):

(14) *Mr. Volker said the shelling overnight Tuesday was «one of the most violent nights» of the war, which began in spring 2014 as Russia supported separatists in two regions of eastern Ukraine after **Ukraine's pro-Russian president** fled the country* (Ukraine War Flares Again After a Lull, The New York Times, 20.12.2017).

Г-н Волькер сказал, что ночь вторника во время обстрела была одной из самых жестоких с момента начала войны весной 2014 г., когда Россия поддержала сепаратистов в двух регионах Восточной Украины после того, как пророссийский президент Украины покинул страну.

Западные СМИ нередко подчеркивают, что Путин проводит антизападную или антиамериканскую (*anti-Western, anti-American, anti-Americanism*) политику, используя приставку *anti-* (см. примеры 15, 16, 17). Политика РФ – антизападная, а значит – антидемократическая, тоталитарная и жесткая. Приставка *anti-* привносит здесь значение ‘нечто противоположное’, т. е. снова происходит усиление поляризации и разделение мира на демократический западный и другой, противоположный – российский.

(15) *Russian President Vladimir Putin accused the United States on Friday of trying to «reshape the whole world» for its benefit, in a fiery speech that was one of the most **anti-American** of his 15 years as Russia's paramount leader* (Russia's Putin blames U.S. for destabilizing world order, The Washington Post, 24.10.2014).

В пятницу Президент России Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в попытке «переделать весь мир» в свою пользу во время пламенной и одной из самых антиамериканских речей за все 15 лет своего самодержавия в России.

(16) *There is a lesson for Americans here, especially considering the fact that leading Russian academics suggest that the pendulum that is responsible for strident **anti-Americanism** in Russia could very well swing in the opposite direction* (Is Vladimir Putin an evil genius? No, but he'd like us to believe it, The Washington Post, 16.03.2018).

Это будет уроком для американцев, особенно учитывая тот факт, что ведущие российские ученые считают, что маятник, ответственный за резкий антиамериканизм в России, может сильно раскачаться в противоположном направлении.

(17) *Six years ago, when he last ran, Putin stepped up his **anti-American rhetoric** amid large and continuing street demonstrations against him* (With Putin's reelection. Expect rising tensions with the West, The Washington Post, 18.03.2018).

Шесть лет назад, когда он в последний раз пришел к власти, Путин активизировал свою антиамериканскую риторику на фоне крупных и продолжительных уличных демонстраций против него.

Вышеупомянутые вербальные маркеры были статистически проверены при помощи двухвыборочного t-критерия Стьюдента. Они подтвердили свою статистическую значимость в рамках проводимого исследования и были использованы в качестве параметров для разработки компьютерного классификатора текстов по уровню их манипулятивности с применением алгоритма машинного обучения «дерева принятия решений».

Классификатор был первоначально обучен на 80 случайно выбранных из нашей выборки текстах, затем обучающая выборка была расширена (около 2000 текстов). На рис. 1.4 представлено одно из первых «деревьев решений» для классификации множества из 80 текстов, построение которого идет сверху вниз. В первом узле констатируется, что из 79 загруженных предположительно манипулятивных текстов 35 содержат статистически большое количество использований прецедентного имени *Vladimir Putin*, что уже является основанием для их классификации как манипулятивных. Оставшиеся 44 текста проверяются на наличие военной лексики: в 14 текстах ее количество статистически значимо, а в 30 – нет. Первые 14 текстов попадают в категорию манипулятивных, а оставшиеся 30 проверяются на наличие других маркеров и т. д.

Затем обучающая выборка была увеличена до 1800 текстов.

После обучения классификатора мы получили возможность оценить значимость выявленных нами параметров. Таким образом, были получены следующие цифры (см. табл. 1.3).

Чем ближе данный показатель к 1, тем выше важность параметра для классификации. Исходя из полученных данных, мы можем сделать следующие выводы: наиболее весомые в рамках нашей классификации параметры – военная терминология и прецедентное имя *Владимир Путин*.

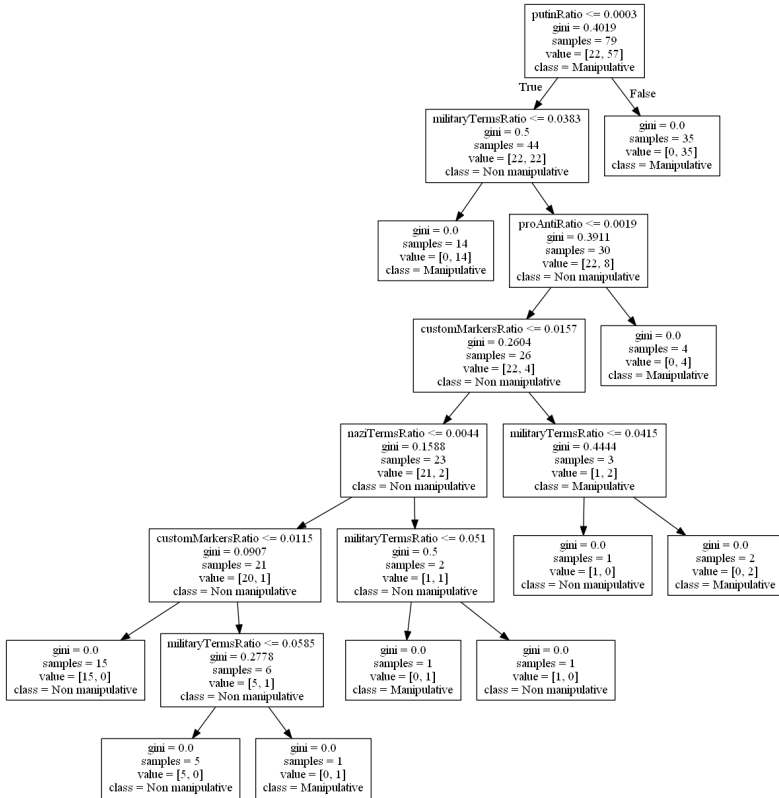


Рис. 1.4. Дерево принятия решений

При поддержке Центра цифровой экономики СФУ представленный выше алгоритм был использован в онлайн-версии классификатора, доступного в режиме тестирования по ссылке <http://bias.verbalab.ru/>.

Для категоризации текста как манипулятивного необходимо вставить его в окошко *Paste your text*, набрать кодовое слово (*Enter your code*). Кодовое слово можно получить, предварительно запросив его по ссылке xyz@verbalab.ru (или нажать на ячейку *Don't have code*), а затем проверить текст, нажав *Check text*.

Программа осуществляет классификацию статей исходя из числа ненулевых параметров: если в тексте не найден вообще или

обнаружен всего 1 ненулевой параметр, текст считается неманипулятивным, 2–3 – низкой степени манипулятивности, 4 – средней, 5–6 – высокоманипулятивный.

Таблица 1.3

Результаты построения алгоритма «деревьев принятия решений»

Дискурсивные маркеры манипуляции 'customMarkersRatio'	0.06368568
Военная терминология 'militaryTermsRatio'	0.44938862
Приставки pro- и anti- 'proAntiRatio'	0.15636527
Прецедентное имя <i>Vladimir Putin</i> 'putinRatio'	0.30701754
Лексика на советскую тематику 'sovierRatio'	0
Лексемы <i>Nazi</i> и <i>fascist</i> и производные от них слова 'naziTermsRatio'	0.02354288

В дальнейшем валидность результатов должна улучшаться, поскольку чем больше текстов будет проанализировано классификатором, тем больше статистических закономерностей будет выявлено.

Для демонстрации интерфейса классификатора приведем скриншот результатов проверки статьи с высоким уровнем манипулятивности (рис. 1.5).

Согласно классификатору, статья обладает значительным манипулятивным потенциалом, степень манипулятивности – высокая (Bias degree is high). Из рисунка 1.5 видно, что в тексте в той или иной степени присутствуют все маркеры манипуляции за исключением прилагательных с антонимичными приставками *pro-* и *anti-*. При этом больше всего в тексте военной терминологии. При проведении анализа текста мы действительно находим лексику на военную тематику: *soldiers, combat, personnel, weapons, АК-47, rocket launcher, military forces, military push, troops*. Владимир Путин упоминается 8 раз (включая заголовок), при этом его политику называют разрушительной (*destructive policy*), а сам он позиционируется как провокатор очередного военного восстания на Украине (*Mr. Putin is gearing*

up for another military push in Ukraine). Манипуляция (*manipulation*) и утаивание фактов (*suppression of facts*), с точки зрения американских журналистов, его основные методы борьбы. Стратегия дискредитации оппонента (России) подкрепляется использованием лексики с негативной коннотацией: *heartless* (бессердечный), *cruel* (жестокый), *grieving families* (горем убитые семьи), *deception* (ложь). В статье при описании политики правительства РФ есть даже отсылка ко временам СССР (*Soviet times*), с его тоталитарным режимом, пропагандой (*propaganda*) и секретностью (*secrecy*).

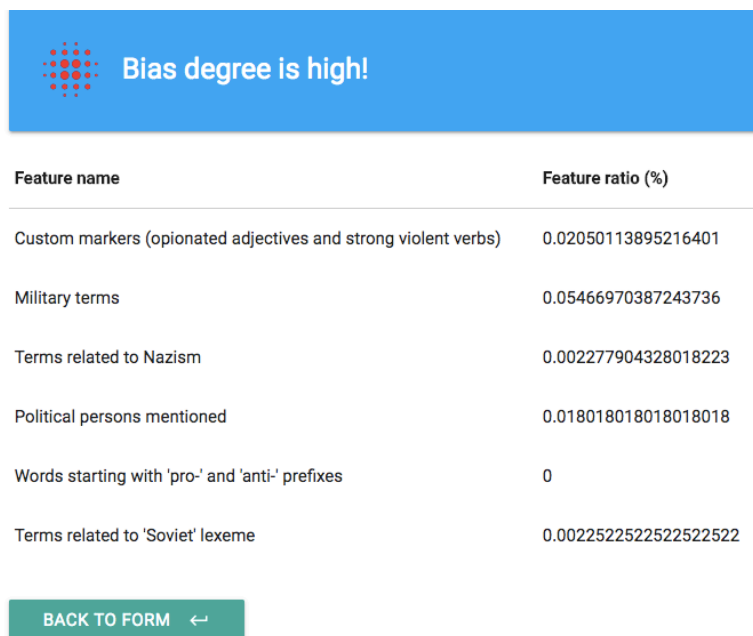


Рис. 1.5. Проверка статьи «Vladimir Putin Hides the Truth»

Перспективы исследования: положительная самопрезентация как обратная сторона манипуляции в поляризованном дискурсе. В современном глобальном дискурсивном пространстве все большее распространение получает политический поляризованный дискурс. Впервые о поляризованном дискурсе как о важнейшем инструменте распространения социального неравенства заговорили

еще представители критического дискурс-анализа Т.А. ван Дейк, Н. Фэркло и др. Т.А. ван Дейк, в частности, говорил об идеологическом квадрате (*ideological square*), который отражает стратегию поляризации, реализуемую четырьмя тактиками:

- подчеркивание собственных позитивных характеристик/действий;
 - подчеркивание негативных характеристик/действий оппонента;
 - смягчение собственных негативных характеристик/действий;
 - смягчение позитивных характеристик/действий оппонента
- [Dijk 1998: 33].

Западные авторы определяют политическую поляризацию как «отхождение от центра к крайностям в политических предпочтениях» (*movement away from the centre toward the extremes*) [Fiorina, Abrams, Pope 2008: 567].

Поляризованный дискурс, пропагандируя стереотипные представления об оппоненте и очерняя его репутацию, способствует делению общества на две группы – своих (*in-groups*) и чужих (*out-groups*) [Eissa et al. 2014]. Иными словами, в поляризованном политическом дискурсе чрезвычайно сильна идеологическая составляющая. Принимая во внимание вышесказанное, мы предполагаем, что манипуляция, как механизм позитивного представления себя и негативного представления оппонента, ярче всего должна проявляться именно в поляризованном политическом дискурсе.

Наилучшим способом масштабной трансляции идеи противопоставления двух политических сил является использование средств массовой информации.

В вышеупомянутом исследовании рассмотрен один полюс поляризованного политического дискурса и средства его языковой репрезентации – сторона «чужих». В качестве дальнейших перспектив исследования отметим возможность изучения языковых средств репрезентации второй типичной для поляризованного политического дискурса манипулятивной стратегии – позитивной самопрезентации. Стратегия позитивной самопрезентации предполагает приукрашивание достоинств стороны «своих», акцент на позитивных характеристиках дружественных «своему» правительству деятелей и союзников.

В контексте отношений США и России на фоне геополитического кризиса на Украине проводятся противопоставления «своих» и «чужих» по следующим характеристикам (см. табл. 1.4).

**Ключевые лексические средства манифестации поляризации
в контексте отношений США и России**

«Чужие»: Россия, ЛНР, ДНР	«Свои»: США, Европа
Авторитарный режим, репрессии, пропаганда российского правительства противопоставляются демократическим идеалам США и Европы	
<ul style="list-style-type: none"> – Sophisticated propaganda – Disinformation campaign – Putin’s kleptocracy and domestic repression – Political subversion – Vladimir Putin’s aggressive actions – Malevolent activities – Putin’s aggression – Pro–Putin parties – Putin and other bad actors – Foreign propaganda – Foreign manipulation – Foreign propaganda and disinformation from our enemies – Espionage – Cyberterrorism – Digital aggression – Disruption events 	<ul style="list-style-type: none"> – Democratic ideals of the USA and our allies – American democracy – U.S. democracy – Law-oriented reforms – Our democracy
Фейковые российские новости из ненадежных источников противопоставлены свободной авторитетной американской прессе	
<ul style="list-style-type: none"> – Russian-backed phony news – Russian fake news – Misleading stories – False stories – Fake reports – RT and Sputnik are state-funded – Russian information services that mimic the style and tone of independent news organizations 	<ul style="list-style-type: none"> – Free and vibrant press – Truthful information – Traditional sources – Associated Press and Los Angeles Times
Россия, самопровозглашенные ЛНР и ДНР противопоставлены США, Европе, Украине и всему миру как угроза	
<ul style="list-style-type: none"> – Russia’s appetite – Russia’s ambitions – Russia’s expansionist ambitions – Russia-backed separatists – Pro–Russia separatist rebels 	<ul style="list-style-type: none"> – Dangerous not only for Ukraine, but also for Europe and for the world – Ukraine – The USA – The world – Solid trans–Atlantic unity

Основными идеями, которые лежат в основе позитивной самопрезентации США и их союзников, являются демократические ценности, принципы свободы слова, достоверной информации, на защиту и распространение которых по всему миру направлены усилия американского правительства. Мы предполагаем, что высокая частотность лексических единиц, вербализующих вышеперечисленные ценности, может свидетельствовать о реализации манипулятивной стратегии позитивной самопрезентации. В дальнейшем мы планируем расширить список маркеров политической манипуляции за счет включения лексических единиц данного типа.

Не всегда манипуляция предполагает биполярную оппозицию, иногда есть третьи лица, которые оказываются втянутыми в конфликт. Их статус не определен, нередко они выступают в качестве «невинной жертвы» или персонажей, вызывающих подозрение и беспокойство. Так, людей, поддавшихся российской пропаганде фейковых новостей, называют *useful idiots* (отсылка к распространенному названию советского времени – *who unknowingly assisted Soviet Union propaganda efforts*), т. е. людьми, неосознанно поддавшимися на так называемую российскую провокацию.

Президент США Дональд Трамп также стоит особняком в контексте поляризованного дискурса, посвященного отношениям России и США, поскольку доподлинно не ясна его позиция по отношению к России, он вызывает подозрение и недоверие со стороны других американских политических деятелей и СМИ, ведь многие приписывают ему дружеские отношения с президентом РФ, намекают на вмешательство Путина в результаты выборов в США, а также на озабоченность Трампа лишь его собственной выгодой:

- *Trump's ties to the Kremlin;*
- *Trump has no pro-Russia comrades in the administration and only a few in Congress;*
- *Trump's weakness towards Russia;*
- *Trump's administration has been oddly silent about Russia's role;*
- *President Trump is concerned only about what he thinks the Russians can do for him in what he hopes will be his campaign to hold on the presidency.*

Заключение. Разработанный нами алгоритм и программное обеспечение позволяют автоматически обрабатывать большие массивы текстовых данных для выявления случаев политической манипуляции. Кроме того, созданная модель может быть использована для анализа текстов другой тематики, а также для исследования материала на других языках.

1.6. Оружие информационно-психологической войны: к обоснованию и определению понятия

Современное общество живет в эпоху тотальной информатизации и глобализации. Не поддающееся объективному прогнозированию и контролю внезапное появление, хаотичное распространение и непрерывное дублирование непроверенной, нередко ложной информации¹ делают практически невозможной не только оперативную проверку данных, но и сколько-нибудь конкретную реакцию государственных структур, которая часто оказывается запоздалой и неэффективной. Уже в первые минуты после появления в средствах массовой коммуникации сообщений, содержащих элементы дезинформации и манипуляции смыслами и затрагивающих жизненно важные интересы Российской Федерации, ее специализированные институты должны быть способны оперативно провести их полную, достоверную интерпретацию и ответить на возможные угрозы информационной безопасности, подключив весь комплекс собственных массмедиа.

Интерпретация сообщения подразумевает выявление его концептуальных установок (манипулятивных посылов) в отношении мишени информационного воздействия с учетом контекста, взаимосвязи вербальных/невербальных компонентов, дискурса автора и экстралингвистических факторов. Если эти установки формируют негативный образ мишени информационного воздействия и/или подрывают ее жизненно важные характеристики, то такое сообщение следует рассматривать как *информационно-психологическое оружие (оружие информационно-психологической войны)*. При этом таковым может считаться только сообщение, распространенное *массово*, то есть любым способом, подразумевающим передачу информации большому количеству лиц.

¹ Вспомним хотя бы ничем не подтвержденные обвинения в применении Сирийской арабской армией химического оружия в Сирии – см., например: U.S. official: Almost no doubt Assad regime used chemical weapons // CNN. URL: <https://edition.cnn.com/2013/08/25/world/meast/syria-civil-war/index.html?no-st=9999999999> (дата обращения: 07.08.2019); France: Sarin gas used in Syria // CNN. URL: <https://edition.cnn.com/2013/06/04/world/meast/syria-civil-war/index.html?no-st=9999999999> (дата обращения: 07.08.2019); Активистов из «Белых касок» уличили в создании фейков о работе в Сирии // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20170410/1491880199.html> (дата обращения: 07.08.2019).

Под жизненно важными характеристиками мишени мы понимаем такие ее фундаментальные морально-нравственные, культурно-исторические, ценностно-социальные и информационно-идеологические основы, искажение, ослабление или игнорирование которых влечет за собой дискредитацию ее образа в сознании (подсознании) объекта информационного воздействия. Для индивидуума и группы лиц это могут быть качества, связанные с порядочностью, честью, вероисповеданием, расовой принадлежностью, этническим и социальным происхождением, политическими и идеологическими взглядами и т. п.; для общества в целом и государства – качества, связанные с политической, военной, экономической, социальной и другими видами безопасности, территориальной целостностью и суверенитетом, идеологией, политико-экономическим строем и формой правления, судебной-правовой системой и общечеловеческими ценностями, ценностно-социальными и мировоззренческими установками, историческим прошлым и морально-нравственными устоями, национальными, этническими, религиозными, языковыми и другими особенностями, отношениями с союзниками и потенциальными противниками, научно-техническими, социально-экономическими, спортивными достижениями и т. п. Таким образом, информационно-психологическая война затрагивает как социально-политические устои государства, так и ментальные и духовно-ценностные характеристики человека и общества [Сабилов, Соина 2019: 81].

Следует признать, что вопреки общим представлениям, согласно которым информационная (информационно-психологическая) война – это противостояние сторон, далекое от простых граждан, повседневной журналистики и обыденной жизни и происходящее только на уровне специальных служб, резонансных событий и межгосударственных отношений, – едва ли не половина массово распространяемых сообщений является информационно-психологическим оружием. Однако реципиент чаще всего не осознает их опасность ввиду суггестивного характера воздействия. С учетом огромного потока ежеминутной информации на разных языках и в разных аудиовизуальных формах мишенями информационного воздействия выступают тысячи и миллионы объектов внеязыковой действительности. Каждый день в бесчисленном количестве сообщений ими становятся частные лица, чиновники и политики, исторические персонажи и события, коммерческие и международные организации, государственные структуры и политические партии, города, министерства и государства. На получателя информации оказывается системное

и непрерывное манипулятивное воздействие, целью которого является искажение, ослабление и дискредитация в его сознании (подсознании) жизненно важных характеристик подобных мишеней и, как следствие, их концептуального образа в целом.

По понятным причинам наибольший интерес для отечественных исследователей в области политической лингвистики и лингвистики информационно-психологической войны представляют образы России и ее структурных компонентов, которые целенаправленно или неосознанно, но все же активно формируются многочисленными субъектами информационного взаимодействия. Рассмотрим характерный пример (пост в социальной сети, орфография и пунктуация автора сохранены):

Сердце сжимается от боли, от безысходности, от презрения к бездействию чиновников и руководства государства. Каждый час огонь уничтожает миллионы кубометры древесины, обрывает миллионы жизней животных, страдают миллионы жителей России, фактически уничтожается национальное достояние России. Ради чего тогда наши деды отдавали свои жизни в Великую Отечественную войну?! Нужно было тогда в 1941 все отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления как сегодня... [https://facebook.com/story.php?story_fbid=1757465914399615&id=100004086701416].

Сообщение вызвало общественный резонанс в связи с тем, что его автор намеренно или неосознанно подорвал жизненно важную характеристику государства – его историческое прошлое, связанное с едва ли не главным для него испытанием – Великой Отечественной войной против гитлеровской Германии. Дело заключается в сомнительной, если не сказать ошибочной и предательской, фразе: «Нужно было тогда в 1941 все отдать немцам». Этим автор сообщения ставит под сомнение саму необходимость спасения страны в 1941 году, из чего следует мысль (даже если он об этом не задумывался) о напрасной жертве советских людей, забвении их подвига и попрании их памяти. Таким образом, подрываются фундаментальные морально-нравственные, культурно-исторические и ценностно-социальные основы российского общества и государства. Этого условия достаточно, чтобы признать сообщение оружием информационно-психологической войны, в данном случае примененного против России.

С лингвистической точки зрения проанализировать сообщение возможно следующим образом. После определения области текста, в которой кроется главная мишень информационного воздействия

(три последних предложения), мы должны установить конкретное наименование последней. В данном случае были использованы наименования следующих потенциальных мишеней: «деды», «жизни», «Великая Отечественная война», «все» (в смысле «территория»), «немцы», «тайга», «дорога», «Сибирь», «направления». В ряде случаев наименование мишени (а также источника метафорической экспансии) может додумываться в процессе анализа и вытекать из контекста, поскольку не всегда окончательная формула «X – это Y», отражающая концептуальную установку текста, содержит употребленные в тексте лексические единицы. Тем не менее здесь ярко выражено смысловое ядро отрывка – Великая Отечественная война.

Автор задает вопрос: ради чего были отданы жизни в этой войне? – и утверждает, что «нужно было... все отдать немцам». В этом высказывании ярко выражен концептуальный вектор напрасности и бесполезности. Таким образом, определяется концептуальная установка «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА – это БЕССМЫСЛЕННАЯ БОРЬБА».

Концептуальных установок в тексте может быть несколько, иногда они могут дополнять друг друга или относиться к разным мишеням информационного воздействия и источникам метафорической экспансии. В данном случае, исходя из присутствующих концептуальных векторов, представляется возможным уточнить указанную установку другой: «СМЕРТИ НАШИХ ДЕДОВ – это НАПРАСНЫЕ ПОТЕРИ».

Как мы видим, выявленные концептуальные установки сообщения, содержащего эмоционально-экспрессивные и субъективно-оценочные элементы, достаточно откровенно и цинично выдают то, что кроется в глубинных метафорических смыслах, намеренно или неосознанно заложенных автором. Метафора в самом широком смысле слова объединяет все указанные элементы и выступает основным средством политического и идеологического воздействия на стилистическом уровне языка, выполняя манипулятивную, аксиологическую, эвристическую и другие функции.

В большинстве своем сообщения, которые могут определяться как информационно-психологическое оружие, содержат нестрогий, разговорно-фамильярный язык с вкраплениями субъективно-оценочной и эмоционально-экспрессивной лексики. Это делается для того, чтобы довести информацию до адресата на понятном ему языке и достигнуть целей коммуникации. Так, если рассматривать политический дискурс, основополагающие каноны журналистики об объективном

отражении действительности с использованием достоверной и проверенной информации постепенно уходят в прошлое, уступая место субъективному мнению, эмоциональному и неконструктивному обсуждению, фиксированию внимания реципиента на одних темах и деталях в ущерб другим, предоставлению заготовленных выводов и т. п. Одним из свидетельств этому выступают информационно-аналитические и дискуссионные программы современного телевидения, в которых нередко присутствуют обращения на «ты», используется разговорно-фамильярная речь, лексика сниженного регистра, а иногда и вовсе – оскорбления и обценная лексика, которые, в свою очередь, усиливают намеренное информационное воздействие на адресата. Вместе с тем по-прежнему достаточно распространен и нейтральный стиль изложения информации, задачей которого становится неявное, суггестивное воздействие на реципиента за счет скрытых вербальных и невербальных манипулятивных средств:

США провели первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты

После официального выхода из ДРСМД США провели испытание крылатой ракеты, которая способна поражать цели на той дальности, которую запрещал подписанный еще с Советским Союзом договор. Ракету запустили с острова в Тихом океане (РБК, 19.08.2019).

Сообщение, в котором отсутствуют эмоционально-экспрессивные элементы, содержит информацию о факте испытания недружественным государством крылатой ракеты, которая еще недавно подпадала под действие Договора о ракетах средней и малой дальности. Это подрывает жизненно важную характеристику Российской Федерации как государства – безопасность. Основной манипулятивный посыл сообщения может быть определен так: «США – это УГРОЗА». Применительно к нашей стране как одной из мишеней информационного воздействия он может быть дополнен еще одним: «РОССИЯ – это УЯЗВИМЫЙ ОБЪЕКТ».

Необходимо учитывать большой контекст сообщения: Россия подобных испытаний еще не проводила, и официально у нее подобного оружия нет. Степень угрозы оказалась настолько высока, что реакция государственных структур не заставила себя ждать (РИА Новости, 20.08.2019).

Заметим для сравнения, что подобное краткое сообщение, например об учениях сухопутных войск США в штате Техас, не являлось бы оружием информационно-психологической войны. Однако

такovým является следующее высказывание Д. Трампа, с учетом его должности и роли космического пространства в глобальном паритете: *Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе – следующей области военных действий. Я считаю, что это довольно очевидно для всех* (РИА Новости, 29.08.2019). Мишень, как и в предыдущем примере, не указана конкретно, однако и без этого понятно: речь идет о России и любой другой космической державе, не являющейся союзником США. Концептуальный вектор тревожности и опасности подогревается заголовком сообщения: *Трамп назвал космос следующей областью боевых действий* (Там же). Как мы видим, часто неординарные и даже провокационные заголовки придумываются средствами массовой коммуникации в целях повышения спроса на конкретную новость и своего рейтинга в целом, а не ради ведения информационно-психологической войны, что, однако, не отменяет факт ее поощрения таким образом.

Сфера ведения информационно-психологической войны выходит далеко за рамки политического дискурса и охватывает практически все сферы жизнедеятельности человека. Соответственно, оружием информационно-психологической войны может выступать сообщение невоенного и неполитического характера. Например, в 2004 году издание «Коммерсант» опубликовало материал, в котором утверждалось, что отделения «Альфа-банка» и «Гута-банка» «атаковали сотни вкладчиков», пытающихся снять свои деньги со счетов, а коммерческие организации испытывают проблемы с кредитованием. По итогам рассмотрения иска «Альфа-банка» к газете Арбитражный суд г. Москвы обязал ответчика выплатить банку 11 млн долларов за «возмещение нематериального репутационного вреда, причиненного умалением деловой репутации истца» [<https://iq.hse.ru/news/177723954.html>]. В сообщении не содержалось эмоционально-экспрессивных элементов, формирующих негативный образ мишеней, однако вследствие репутационного удара по их жизненно важной характеристике – надежности – их концептуальный образ, который в данном случае может быть назван имиджем, был подорван.

Таким образом, определяющими и независимыми друг от друга признаками информационно-психологического оружия выступают его *отрицательный коннотативный вектор в отношении мишени информационного воздействия и репутационный ущерб ее жизненно важным характеристикам. Исключением* является случай использования речевой (коммуникативной) тактики *положительной*

оценки, оправдания или поощрения аморальных для конкретной мишени исторических, социально-политических и идеологических реалий или объектов внеязыковой действительности, а также ее критиков или конкурентов в различных сферах. Так, примененным против российского общества информационно-психологическим оружием может выступать сообщение, реабилитирующее нацизм, культивирующее интерес к гомосексуальным отношениям, поощряющее сепаратизм и сдачу государственных территорий. Против ВС РФ и России в целом – сообщение о превосходстве вооруженных сил иностранных государств, продаже их образцов вооружения и военной техники потенциальному в этой области торговому партнеру страны, об успешных испытаниях или размещении ракетных систем в чувствительных для России регионах. Заметим, что все перечисленное затрагивает жизненно важные характеристики соответствующих мишеней информационного воздействия. Приведем пример:

Я считаю, что будет величайшим благом, если мы продадим Южные Курилы за 40 миллиардов долларов. Все равно придется в ближайшие 5–10 лет отдать эти острова [Андронов 1998]. Через положительный образ продажи Курильских островов как «величайшего блага» продвигается аморальная идея передачи национальных территорий. Кроме того, здесь просматривается все тот же концептуальный вектор бесполезности («Все равно придется... отдать»).

При определении сообщения как информационно-психологического оружия необходимо обязательно учитывать его малый и большой контекст, который может повлиять на заключение эксперта-лингвиста. В качестве одного из примеров, характеризующих важность окружения высказывания, можно привести провокационные, нередко не соответствующие действительности заголовки статей, использующиеся с целью привлечения внимания реципиента и изменения его концептуальных установок. Так, интервью с философом Дугиным о проблеме территориальной принадлежности Курильских островов озаглавлено следующим образом: *Дугин: Мы должны отдать Курилы* (<https://youtube.com/watch?v=srpIlvBYDLg&t=379s>). Совершенно ясно, что такое высказывание не только подпадает под определение информационно-психологического оружия, но и, возможно, под действие статьи 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Однако если проанализировать речь Дугина в целом, то выяснится, что все не так категорично. Во-первых, его фраза, содержащая мысль о передаче Курил,

имеет вторую часть, выражающую определенное условие: «Я считаю, что нам нужно отдать острова Курильские Японии, но в обмен на вывод американских стратегических войск с Окинавы» (Там же). Во-вторых, Дугин как минимум еще один раз проговаривает условие такого шага: «Нам японцы очень дороги, но острова отдавать им нельзя, особенно пока на Окинаве стоят американские военные базы»; «Острова в обмен на выпихивание американцев» (Там же). Таким образом, автор достаточно емко прояснил свою позицию. Следует ли тогда считать подобное сообщение информационно-психологическим оружием?

И все-таки в этом конкретном случае – да, следует, поскольку проявляются все признаки информационно-психологического оружия:

- сообщение распространено в средствах массовой коммуникации;

- ослабляется жизненно важная характеристика государства – территориальная целостность;

- имеется отрицательный коннотативный вектор в отношении Курильских островов как части России («Острова, *которые нам особо не нужны, которые мы захватили на всякий случай, чтобы никому неповадно было на нас нападать, мы их можем отдать за соответствующий стратегический баланс. Американцы уходят – это тогда рассматривается. Американцы остаются – это не рассматривается*») (Там же).

Мы видим, что мишенью информационного воздействия здесь выступают не только Курильские острова, но и сама Россия, чьей частью они являются. Сам факт возможного торга с Японией, предметом которого станут национальные территории и проживающее на них население, подрывает фундаментальные морально-нравственные основы мишени (России) и влечет потерю ее положительного образа в сознании (подсознании) объекта информационного воздействия (русскоязычного реципиента).

Обсуждение философом Дугиным темы Курильских островов вписывается в отработанную технологию изменения общественного мнения и предусматривает несколько этапов использования сообщений, потенциально рассматриваемых как информационно-психологическое оружие. Сначала в информационное пространство вбрасывается какой-то слух или полуофициальное сообщение, которое вызывает достаточно резкое неприятие со стороны общественности, если не резонанс, поскольку противоречит ее ценностям и мировоззренческим установкам. Как правило, такое сообщение

оперативно опровергается официальными лицами, а если в нем содержалось какое-то предложение, то последнее решительно отвергается. Далее наступает этап подготовки общества к принятию самого факта обсуждения данной темы, когда новости и комментарии по ней появляются все чаще. С течением времени она становится привычной для реципиента и даже может войти в ряд наиболее освещаемых и злободневных, а ее первоначально встреченные враждебно концептуальные установки перестают выглядеть как нечто неприемлемое. Главный фактор успеха субъекта информационного воздействия состоит в необходимости постоянной коммуникации на эту тему и насыщения информационного пространства ее обсуждением. Чем чаще какая-либо тема поднимается публично и чем больше по ней высказываются разные, даже вызывающие неприятие общества мнения, тем быстрее оно к ним привыкает и допускает возможные варианты развития событий и решения проблемы. Поэтому монолог Дугина о Курильских островах можно рассматривать в качестве примера обсуждения актуальной проблемы с целью суггестивного воздействия на аудиторию.

Тем не менее не всегда информационное воздействие на адресата достигает ожидаемого эффекта. Это связано с определенным «иммунитетом» к дезинформации, самосознанием общества и отдельных реципиентов, а также действиями государства по обеспечению собственной информационной безопасности. Пытаясь подорвать жизненно важные характеристики мишени, субъект информационного воздействия должен систематически и последовательно их «расшатывать», завоевывая благосклонность общественного мнения. Это весьма сложно сделать в отдельном языковом сегменте информационного пространства, если в нем господствуют средства массовой коммуникации, преподносящие иную интерпретацию событий. В таком случае положительного результата не всегда удастся достичь даже при долгосрочной информационной атаке как спланированном, массивном информационном воздействии на адресата с целью формирования общественного мнения и поведения в соответствии с задачами организаторов атаки (по [Коцюбинская 2017: 81]).

Так, для россиян тема отравления Скрипалей уже малоинтересна и не вызывает практически ничего, кроме усмешки. В результате усилий отечественных средств массовой коммуникации и официальных лиц постоянное появление со стороны Великобритании все новых и новых сообщений относительно возможного участия России в этой операции и введения против нее очередных санкций

привело к усталости аудитории и потере ее интереса к происходящему. Обвинения в адрес России были грамотно проанализированы и преподнесены нашим гражданам как абсурдные и безосновательные. В сообщениях отечественных средств массовой коммуникации мишенями информационного воздействия стали Великобритания, ее спецслужбы, премьер-министр Мэй и другие объекты внеязыковой действительности.

Вместе с тем обвинение российских спецслужб в отравлении Скрипалей у британского обывателя сомнений, как правило, не вызвало. С российскими СМИ он незнаком, а доморощенные лишь подтверждали официальную точку зрения: это рука Москвы. Мало того, информационно-психологическое воздействие этих сообщений было дополнено действиями, характерными для гибридной войны: из страны выслали более 20 российских дипломатических работников, страны Евросоюза «в порядке солидарности» выслали по два российских дипломата каждая. На Западе начался очередной виток антироссийской истерии, и, когда русофобская кампания достигла своего пика, против России ввели коллективные экономические и другие санкции. Таким образом, можно констатировать, что информационно-психологическое оружие успешно применяется по обе стороны баррикад как в качестве средства агрессии, так и в качестве средства защиты, а также как часть более глобальной гибридной войны.

В определенных случаях информационно-психологическое оружие и вовсе может сработать против субъекта информационного воздействия. Характерным примером стал антисталинский доклад Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС. Дискредитировав своего предшественника, олицетворявшего силу советского народа и сам Советский Союз, Хрущев вызвал огромное разочарование простых людей в системе руководства страной, коммунистических идеалах, самом Хрущеве. Это стало источником тех противоречий в советском обществе, которые способствовали и в итоге привели к распаду государства.

Отчасти такое сообщение стало дезинформацией своего народа. Наряду с фактологической информацией в нем широко использовались субъективно-оценочные и эмоционально-экспрессивные элементы, обеспечившие дискредитацию образа Сталина и формирование его негативного, даже демонического образа. Однако сообщение может считаться информационно-психологическим оружием даже в случае отсутствия этих элементов. Например:

Russian toll in Syria battle was 300 killed and wounded: sources MOSCOW (Reuters) – About 300 men working for a Kremlin-linked Russian private military firm were either killed or injured in Syria last week, according to three sources familiar with the matter (Reuters, 15.02.2018).

Вторит агентству Рейтер и телеканал «Дождь»:

Reuters рассказал о 300 погибших и раненых в Сирии россиянах за неделю

За прошлую неделю Россия потеряла в Сирии погибшими или ранеными около 300 человек, все они служили в частной военной компании, связанной с Кремлем, сообщил Reuters со ссылкой на три информированных источника (Дождь, 15.02.2018).

Какие это источники и откуда появились такие данные о потерях – для реципиента, как и субъекта информационного воздействия, уже не важно, поскольку проверить это невозможно. В отсутствии субъективно-оценочных и эмоционально-экспрессивных элементов суггестивное воздействие призваны оказывать цифры и завуалированные формулировки, за которыми нет конкретики: «три информированных источника», «Reuters рассказал...» (глагол употреблен так, чтобы агентство Рейтер казалось несравненным авторитетом). Главное, что такая дезинформация просочилась во все крупные средства массовой коммуникации, в том числе в русскоязычный сегмент интернета, а альтернативы ей не оказалось.

Факт использования фейка субъектом информационного воздействия определяется, как правило, гораздо позже появления сообщения в информационном пространстве. Большинство реципиентов в момент восприятия информации обычно не могут сразу оценить ее на предмет истинности, особенно если приведены те или иные цифровые значения. В связи с этим любая информация, подрывающая жизненно важные характеристики мишени и воспринимаемая как сомнительная, должна рассматриваться в качестве одной из разновидностей информационно-психологического оружия. Таким образом, мы невольно приходим к выводу, что, даже несмотря на возможное содержание в сообщении истинной информации, в отношении конкретной мишени информационного воздействия оно может в некоторых случаях выступать оружием информационно-психологической войны, поскольку дискредитирует ее концептуальный образ:

– Масштаб и география репрессий огромны. Известны ли точные цифры? Сколько человек пострадали – и кем были эти люди?

– Безусловно, масштабы и география репрессий действительно огромны. На территории СССР и на территории Российской Федерации не было ни области, ни союзной республики в составе СССР, где бы не было мест лишения свободы, лагерей, колоний, тюрем. От репрессий пострадало огромное количество людей. Если мы возьмем официальную статистику, то с 30-го года, то есть с начала функционирования ГУЛАГа, и до 56-го года, когда началась массовая реабилитация после XX съезда партии, через лагерь, колонии и тюрьмы в СССР прошли более 20 миллионов человек (НТВ, 30.10.2017).

Основное персуазивное воздействие на реципиента оказывают выделенные и повторяющиеся в тексте эпитеты «огромные», числовое значение «более 20 миллионов человек», а также постоянное уточнение и дублирование наименований мест отбывания наказания, формирующих негативный образ СССР и России: «лагерь», «колония», «тюрьма», «место лишения свободы» как видовое понятие. Заметим, что адресант ставит в один ряд сразу два государства: «На территории СССР и на территории Российской Федерации не было ни области...» – суггестивно формируя концептуальную установку реципиенту сообщения, согласно которой в современной России также были репрессии.

Проверка этого высказывания на истинность затрудняется тем, что в обществе существуют достаточно разные методы подсчетов, которые периодически используются для манипулирования информацией. Но даже если по умолчанию принять это сообщение как истинное, оно является оружием информационно-психологической войны в отношении мишеней информационного воздействия – образа СССР как «тюрьмы народов» и РФ как его официального преемника.

Угрозы, обвинения, равно как ультиматумы и призывы в адрес государства (общества, этнического меньшинства, отдельного лица и т. п.) со стороны официальных лиц, иностранных государств, организаций, террористических группировок и других структур к совершению каких-либо действий также являются информационно-психологическим оружием, поскольку считаются вмешательством во внутренние дела мишени информационного воздействия. Так, оружием информационно-психологической войны можно считать требование Гитлера к Чехословакии освободить Судеты [Млечин 2013] и неоднократные публичные призывы Катона Старшего разрушить Карфаген. Знаменитое «Иду на вы!» («Хочу на вы идти») Святослава I

Игоревича также можно отнести к информационно-психологическому оружию, подрывающему морально-психологическое состояние противника. Одним из громких сообщений, используемых в качестве информационно-психологического оружия, являются слова Д. Трампа о том, что Россия «должна убраться» из Венесуэлы. На вопрос журналиста о том, как этого добиться, президент США ответил: *Посмотрим. Все способы допустимы* (Regnum, 27.03.2019). Это и вовсе прямая угроза в применении силы.

Дело Ассанжа представляет собой яркий пример информационно-психологической войны с использованием обвинений. На своем портале Wikileaks и через ведущие мировые СМИ он опубликовал секретные сведения о преступлениях США в Афганистане и Ираке. Эти сообщения логично выступили информационно-психологическим оружием, спровоцировали международный скандал и нанесли тем самым существенный урон национальной безопасности США. В свою очередь, Ассанж был ими обвинен в раскрытии секретных сведений и публично объявлен преступником, а затем против него были выдвинуты обвинения и со стороны Швеции. Череда этих сообщений также является информационно-психологическим оружием, поскольку обвинения всегда ведут к дискредитации концептуального образа мишени, в данном случае – образа Ассанжа как борца за права человека. Примерно такой же сценарий имели события, связанные с бывшим сотрудником ЦРУ и информатором Э. Сноуденом.

Более тяжким по последствиям своего действия информационно-психологическим оружием являются ложные сообщения о якобы готовящихся террористических атаках, заложенных взрывных устройствах, минировании объектов инфраструктуры и других мероприятиях, затрагивающих общественную, государственную, а также физическую безопасность гражданского населения. Такие сообщения могут иметь как эмоционально-экспрессивные и субъективно-оценочные элементы, так и быть лаконичными и содержать в целом лишь фактологическую информацию, которая в этом случае будет нести основную смысловую нагрузку. Их особенность заключается в том, что они чаще всего передаются из хулиганских побуждений. Однако это обстоятельство не меняет сути дела: в условиях террористической угрозы подобные сообщения оказываются опасными, так как притупляют бдительность реципиентов подобной информации и одновременно стремятся посеять панику среди мирного населения и дезинформировать военные структуры страны, не говоря уже о причиняемом ими экономическом ущербе.

Эксклюзивным правом законного распространения сведений о нештатных ситуациях обладают уполномоченные государственные лица и органы, а также СМИ со ссылкой на них. В иных случаях подобные сообщения независимо от их источника должны рассматриваться как информационно-психологическое оружие. Приведем пример сообщения, не являющегося информационно-психологическим оружием:

Сообщения о заложенных бомбах поступили в несколько столичных ТЦ

Несколько торговых центров в Москве получили сообщения о заложенных бомбах, сообщает «Интерфакс».

Кинологи проверяют ТЦ на проспекте Вернадского, Преображенской площади, Земляном валу («Атриум»), а также на улице Миклухо-Маклая.

Из всех торговых центров эвакуировали посетителей и сотрудников. На месте работают службы МЧС России.

Ранее сообщалось об эвакуации трехсот человек из ТЦ «Капитолий» на Варшавском шоссе.

Отмечается, что четыре из пяти ТЦ, в которые поступили сообщения о взрыве, относятся к сети ТЦ «Капитолий» (ОТР, 16.02.2019).

Ср. с оружием информационно-психологической войны: посольство США в Москве накануне несанкционированной акции протеста 3 августа 2019 г. в Москве опубликовало информацию для митингующих, завуалированную под предупреждение американским гражданам избегать шествия. Причем схема шествия была размещена на русском языке и была озаглавлена как «Прогулка по бульварам» (рис. 1.5: Newsweek, 08.09.2019)

Мы уже привели несколько примеров, которые могут рассматриваться не только в рамках лингвистики информационно-психологической войны, но и с точки зрения соблюдения Уголовного кодекса РФ. В частности, сообщения, являющиеся информационно-психологическим оружием, потенциально могут стать предметом рассмотрения лингвистов-экспертов в области судебной (юридической) лингвистики в связи с нарушением статей УК РФ: 128.1, 137, 138, 155, 205.2, 207, 217.2, 280, 280.1, 283, 297, 298.1, 305, 306, 307, 310, 311, 319, 336, 354, 354.1. Любое сообщение, подпадающее под действие вышеуказанных статей УК РФ и распространенное публично, одновременно является информационно-психологическим оружием, наносящим репутационный ущерб жизненно важным характеристикам мишени информационного воздействия.

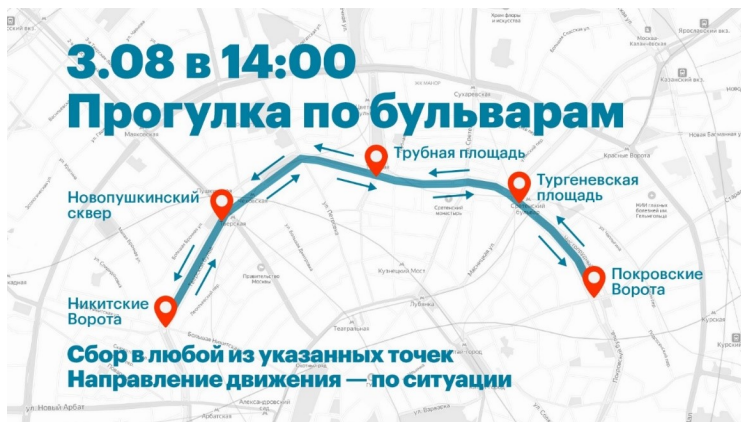


Рис. 1.5. Схема шествия «Прогулка по бульварам»

Еще одной разновидностью оружия информационно-психологической войны является использование приема замалчивания (игнорирования) мишени информационного воздействия или ее характеристик, что ведет к потере ее авторитета, принижению ее роли или уровня участия в каких-либо событиях и другим негативным для нее последствиям. Парадокс заключается в том, что при отсутствии мишени в сообщении удар все равно наносится по ней. Ярким примером можно назвать фильм «Бесславные ублюдки», в котором в принципе отсутствует какое-либо упоминание об участии Советского Союза во Второй мировой войне и все преподнесено так, будто с нацистами сражались только американцы, англичане, французы и евреи (не говоря уже о полной фальсификации исторических фактов смерти Гитлера и конца войны). Если открыть один из американских учебников по истории для 7 класса, то выяснится, что после высадки союзников в Нормандии про Советский Союз «забыли»: *Победа в Европе. Вслед за кампаниями в Северной Африке и Италии союзники открыли западный фронт против ослабленных немцев. 6 июня 1944 корабли союзников с 156,000 солдат на борту высадились в Нормандии, северном побережье Франции. Известная как День Д, высадка в Нормандии была началом массированного похода союзников на восток. Через шесть месяцев союзные армии дошли до Германии. После последней попытки достичь успеха в декабре 1944, известной как Битва в Арденнах, немецкая армия была*

сокрушена. Союзники провозгласили победу в Европе 8 мая (перевод Н. Старикова) [<https://nstarikov.ru/blog/11955>].

Подытоживая вышесказанное, выделим *признаки* сообщения, являющегося оружием информационно-психологической войны:

1. *Признак a priori*: сообщение распространено на численно большие, рассредоточенные аудитории.

2. *Определяющие и независимые друг от друга признаки* (наличие любого из них вскрывает наличие информационно-психологического оружия):

– сообщение подрывает жизненно важные характеристики мишени информационного воздействия;

– сообщение содержит концептуальные установки, формирующие негативный образ мишени информационного воздействия;

– сообщение содержит концептуальные установки, формирующие положительный образ других мишеней, противоречащих интересам мишени информационного воздействия;

– в сообщении содержится дезинформация (или сомнительная информация) в отношении мишени информационного воздействия;

– в сообщении фигурируют угрозы, обвинения, требования и призывы к каким-либо действиям, означающие вмешательство во внутренние дела мишени информационного воздействия, а также информация, способствующая совершению противоправных действий;

– сообщение содержит ложную информацию о якобы готовящихся террористических актах;

– в сообщении применяются приемы замалчивания (игнорирования) мишени информационного воздействия или ее характеристик, ведущие к потере ее авторитета, принижению ее роли или уровня участия в каких-либо событиях и другим негативным для нее последствиям.

Таким образом, *оружие информационно-психологической войны* – это распространенное на численно большие, рассредоточенные аудитории сообщение (текст, изображение, креолизованный текст, аудио-/видеоматериалы), дискредитирующее мишень информационного воздействия путем формирования ее негативного образа или положительного образа противоречащих ее интересам других мишеней, а также нанесения репутационного ущерба ее жизненно важным характеристикам, в том числе с использованием:

– дезинформации (фейковых новостей);

– угроз, обвинений, требований и призывов к каким-либо действиям, означающим вмешательство в ее внутренние дела;

- информации, фактически призывающей к совершению противоправных действий;
- ложной информации о готовящихся терактах;
- приемов замалчивания (игнорирования) мишени информационного воздействия или ее характеристик, ведущих к потере ее авторитета, принижению ее роли или уровня участия в каких-либо событиях и другим негативным для нее последствиям.

1.7. О понятиях «лингвонекрофилия» и «лингвобиофилия»

Введение. Процессы эмоциональной негативации русской речи тесно связаны с таким явлением, как речевая (или словесная, вербальная) агрессия. Известный исследователь современного состояния русской речи и русского языка В.И. Шаховский замечает, что «появляются все новые и новые средства для обозначения негативных эмоций и отрицательных явлений, порождения эмоционально отрицательных сообщений и целых текстов», что приводит «к негативации языковой картины у носителей языка» [Шаховский 2016: 122–123; Шаховский 2013: 303]. В нашей статье разговор пойдет о той речи, которая, по выражению Н.Е. Петровой и Л.В. Рацибурской, «характеризуется повышенной агрессивностью, в том числе активным использованием соответствующих стратегий и тактик речевого поведения: **угрозы, игнорирование, дискредитация, брань, ложь, навешивание ярлыков, оскорбления** и т. д.» (выделено мной. – А.С.) [Петрова, Рацибурская 2011: 21–22]. Эти и другие признаки речевой агрессии не всегда упоминаются авторами дефиниций речевой агрессии в силу их (дефиниций) лаконизма и обобщающего характера, в том числе не включены они и в дефиницию, предлагаемую упомянутыми авторами: «...под речевой агрессией в данном пособии понимается жесткое, подчеркнутое средствами языка выражение негативного эмоционально-оценочного отношения к кому-, чему-либо, нарушающее представление об этической и эстетической норме, а также перенасыщение текста вербализованной негативной информацией, вызывающее у адресата тягостное впечатление»

[Там же: 24]. Ср. определения речевой агрессии у других авторов, например: [Гордеев 2017: 176; Завьялова 2003: 562; Трошева 2003: 340; Щербаков 2014: 525] и др.

Однако в ряде дефиниций и характеристик речевой агрессии указания на некоторые ее конкретные признаки, манифестирующие ту или иную негативную эмоцию, присутствуют. Например, в диссертации Э.Э. Паремушавили говорится о том, что «иронические высказывания и намеки используются в речи также для того, чтобы в зависимости от целей говорящего выразить **порицание, упрек, обвинение, грубое требование, пренебрежение, насмешку, оскорбление, угрозу** и др.» (здесь и далее выделено мной. – А.С.) [Паремушавили 2013: 7]. К формам речевой агрессии А.В. Щербаков относит «**оскорбление, враждебное замечание, угрозу, грубое требование, грубый отказ, порицание (упрек, обвинение), насмешку, донос, клевету, ссору, жалобу** и нек. др.» [Щербаков 2014: 526]. Т.А. Воронцова считает, что «при узком понимании агрессия в речи рассматривается как речевой акт, замещающий агрессивное физическое действие: **оскорбление, насмешка, угроза**. При широком понимании под словосочетанием “речевая агрессия” подразумеваются все виды доминирующего речевого поведения» [Воронцова 2006: 83]. К.Ф. Седов пишет, что «прямая (она же – явная) речевая агрессия – результат коммуникативного акта, иллюкуция которого содержит открытую, **очевидную враждебность... оскорбления, угрозы, злопожелания (иногда содержащие табуированную лексику)**» [Седов. URK: <http://gigabaza.ru/doc/100170.html>]. В.В. Кислица [Кислица 2016], по сути дела, повторяет определение Ю.В. Щербининой, которая в своем фундаментальном исследовании предлагает такую дефиницию речевой агрессии, уточняя определение А. Басса: «...вербальная (речевая, словесная) агрессия – это **словесное выражение негативных чувств, эмоций, намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме**» [Щербинина 2008: 15]. Кстати, полагаю, что в этой формулировке, как и в некоторых других, не хватает указания на адресность агрессивного высказывания, направленность его на адресата (например, человек, который в ситуации публичности, поскользнувшись и упав, выругался, нарушил этико-речевую норму, но вряд ли такое высказывание представляет собой речевую агрессию).

Обращают на себя внимание два факта. Во-первых, отсутствие единого основания в перечне релевантных признаков речевой агрессии. Так, в ряду «угрозы, игнорирование, дискредитация,

брань, ложь, навешивание ярлыков, оскорбления» угрозу, брань, оскорбление, по-видимому, можно отнести к разряду речевых жанров; игнорирование, дискредитацию, ложь – к речевым стратегиям, а навешивание ярлыков – к речевым приемам. Во-вторых, такие феномены (по сути – речевые жанры), как порицание, упрек, обвинение, насмешка, ссора, жалоба, могут квалифицироваться как речевая агрессия только в определенной ситуации и при соответствующем подборе лексических средств. Сами же по себе эти речевые жанры не несут основного содержательного признака речевой агрессии – враждебности.

В литературе, посвященной проблеме речевой агрессии, нет ее общепринятого определения и характеристики разновидностей (см. об этом, например, в работе [Закоян 2008]). Считаю приемлемой вышеприведенную дефиницию речевой агрессии, предложенную Н.Е. Петровой и Л.В. Рацибурской, с некоторой ее конкретизацией, в частности с учетом определения понятия агрессии, данного в авторитетных словарях современного русского языка, включающего сему враждебности («открытая неприязнь, вызывающая враждебность» [Толковый словарь... 2011: 5], «о словах или действиях, выражающих неприязнь, враждебность» [Большой толковый словарь... 1998: 28]). Это определение может быть таким: **речевая/вербальная агрессия – это спонтанное или целенаправленное речевое действие (высказывание), выражающее враждебное (часто – оскорбительное) отношение к какому-либо объекту в широком смысле (лицу, коллективу, народу, социальному институту, стране и т. п.) и имеющее целью нанесение этому объекту того или иного вреда.**

Впрочем, нас интересуют не столько предлагаемые разными авторами дефиниции речевой агрессии, сколько дифференциация ее видов по интенсивности эмоции, деление ее на слабую и сильную. Говоря о том, что виды речевой агрессии можно классифицировать по интенсивности, Ю.В. Щербинина справедливо замечает, что «брань или грубое требование явно более выраженные способы агрессии, нежели невежливый отказ или скрытый упрек». К сильной речевой агрессии Щербинина относит «брань, ругань – особо обидное оскорбление, крайне эмоционально и экспрессивно выраженное прямое порицание; грубое требование, произнесенное в явно повышенном тоне (“крик”» [Щербинина 2008: 133]. И дает такие примеры: «Ты дурак! Урод!! Ненормальный!!! Пошел вон отсюда!!!», «Мы же уже де-е-лали это! – Ты чо?! – Заткнись, подонок!!!» [Там же].

Однако такие характеристики и иллюстрации сильной речевой агрессии не «схватывают» главного признака того вида речевой агрессии, который мы имеем в виду. А именно такого вида речевой агрессии, который можно назвать **сверхсильной речевой агрессией**, воплощающей такие «категориальные эмоциональные ситуации» (термин В. И. Шаховского), как **ненависть, бешенство, ярость** (см.: [Шаховский. URL: <https://goo.gl/mbTgcZ>]), **и, главное, такую субъективную модальность, как желание смерти, уничтожения объекта эмоции.**

Цель настоящей статьи – определение содержательных релевантных признаков данного вида речевой агрессии и поиск для нее подходящего терминологического обозначения; выявление основных языковых средств выражения этого вида речевой агрессии и помещение ее в контекст речевой системности. Достижению этой цели служат прежде всего интенционально-прагматический, лингвоаксиологический и контекстуально-семантический методы анализа, главной задачей которых является вычленение, демонстрация и комментирование тех высказываний и фрагментов текста, которые в совокупности своих контекстуальных связей обуславливают аксиологическую тональность текста в отношении того или иного объекта (мишени – в терминах лингвистики информационно-психологической войны). Это предполагает выявление в тексте (а по мере возможности, в текстах всего дискурса данного автора или источника информации) ключевых идеологем, их сочетаемости в речевой ткани текста, что «способствует выявлению смысловых и этических приращений, отражающих точку зрения автора на те или иные политические события» [Купина 2015]; установлению и описанию лингвоидеологической парадигмы субъекта [Мирошниченко 1995]; его рационально- и эмоционально-оценочных суждений и квалификаций, а также языковых и речевых средств их выражения.

Исследование. Приведем примеры речевой агрессии, которую мы обозначили как сверхсильную.

• *Не существует в природе никаких «русских националистов». Почему? Да потому, что животные не имеют национальности. Русское быдло темное, пьяное, тупое. Свиньи, скот, мразь, говно. Не люди, нет. Недочеловеки. Людьями эти отбросы человечества именоваться недостойны. И вот именно такими населена вся Россия... Россия – это мразь. Ее полному уничтожению нет никакой разумной альтернативы в нашем мире...* (из статьи Б. Стомахина «Мысли вслух»; цит. по: [Неменский 2013: 57]).

- *«Срань господняя!» – совершенно правильно назвали этого «патриарха» и его банду долгополых солистки Pussy riot. Вы мразь и нечисть, ребята в рясах и клобуках. «Православные ублюдки», – про вас уже вполне можно снять фильм под таким названием, куда там Тарантино!.. <...> Да, ваша «православная церковь», РПЦ МП (КГБ/ФСБ) – это дрянь, мразь и срань. Ваши попы – подонки, мерзавцы и стукачи. Вся «социальная группа» черносотенных мракобесов в рясах, да-да. Все, до одного, подонки – нормальный человек там служить не сможет и не будет. Все ваши «верующие», у которых постоянно «оскорбляются» некие «чувства», – это такое же дерьмо, генетический мусор, отстой и отбросы цивилизации. Характеризовать «социальную (или какую там?..) группу» «православные верующие» в России можно только одним словом: дерьмо, дерьмо и еще раз дерьмо!!! (Б. Стомахин. URL: <https://rights-freedom.livejournal.com/361381.html>).*

- *Ельцин ушел жалко и отвратительно. Сбежал из власти. Ненавидимый, сгнивший, был отторгнут страной, которая всеми своими сословиями молила о его скорейшей смерти, всеми слезами и проклятиями приближала его крах. <...> Страна оттолкнула его, как пушкинский рыбак отталкивает веслом утопленника, и он, разбухший, без глаз, с языком, в который впились раки, пиявки и улитки, поплыл в безвременье, напоминая кусок гнилой мешковины (из статьи А. Проханова «Ельцин погрузился как гнилой топляк». Завтра. 2000. № 1).*

- *...Потому что народ в массе своей – тупой скот. Огромная толпа. Именно поэтому я народ и не люблю. Я люблю людей. И великое счастье и одновременно заслуга глобализма состоит в том, что он убивает народ как феномен. Растаскивает его. Атомизирует. Не будет в грядущем этих тупых узколобых големов, на которых молятся и которыми клянутся политики (фрагмент текста Александра Никонова; цит. по: [Чумаков. URL: <https://cont.ws/@vitalchuk/517376>]).*

Главной особенностью и эмоционально-смысловым ядром этих и подобных им текстов является яростная ненависть и презрение к объекту эмоциональной оценки; желание (в перспективе или ретроспективе) его полного уничтожения, ликвидации, исчезновения. Этим текстам свойственно множественное, конвергентное использование экспрессивных языковых средств и приемов, в том числе (факультативно) разнообразной инвективной лексики и фразеологии, в разных синтаксических позициях, чаще всего в позициях

определения и предиката. Так, например, в первом фрагменте мы последовательно обнаруживаем прием диалогизации монолога (*Не существует в природе никаких «русских националистов». Почему? Да потому...*); зооморфную метафору, или прием бестиализации (*...животные не имеют национальности*); словесный ярлык инвективного типа и цепочку инверсированных отрицательно-оценочных эпитетов (*Русское быдло темное, пьяное, тупое*); нагнетание инвективных предикатов в неполном бесподлежащем предложении (*Свиньи, скот, мразь, говно*); редупликацию отрицания в сочетании с плеоназмом и политическим ярлыком (*Не люди, нет. Недочеловеки. Людьями эти отбросы человечества именоваться недостойны*); гиперболу (*И вот именно такими населена вся Россия...*); инвективный предикат (*Россия – это мразь*); итоговое оценочное суждение в форме речевого жанра «вердикт» категорической тональности (*Ее полному уничтожению нет никакой разумной альтернативы в нашем мире...*).

Рассматриваемый здесь феномен сверхсильной речевой агрессии ассоциируется с теорией злокачественной агрессии – некрофилии – Эриха Фромма, изложенной им в книге «Анатомия человеческой деструктивности» [Фромм 1998]. По Э. Фромму, есть два вида некрофилии: «во-первых, имеется в виду сексуальная некрофилия (страсть к совокуплению или иному сексуальному контакту с трупом). Во-вторых, речь может идти о феноменах несексуальной некрофилии», которую «можно определить как *страстное влечение ко всему мертвому, больному, гнилоственному, разлагающемуся; одновременно это страстное желание превратить все живое в неживое, страсть к разрушению ради разрушения; а также исключительный интерес ко всему чисто механическому (небиологическому). Плюс к тому это страсть к насильственному разрыву естественных биологических связей*» (курсив Э. Фромма. – А.С.) [Там же: 435].

Весьма примечательно, что Э. Фромм упоминает о наличии некрофильского языка: «Прямым проявлением речевой некрофилии является преимущественное употребление слов, связанных с разрушением или экскрементами» [Там же: 446]. Цитированные выше тексты служат убедительной иллюстрацией некрофильского языка – явления, для обозначения которого мы предлагаем термин *лингвонекрофилия*. Лингвонекрофилию мы можем обнаружить не только в отдельных текстовых фрагментах, но и в целых текстах большого формата. Иллюстрацией может служить книга А.Г. Невзорова

«Отставка господ бога. Зачем России православие?» [Невзоров 2015]. В этой книге автор делает мишенью своих злобных нападок многое из того, что особенно дорого для русского человека. Это прежде всего православие, русская ментальность и те выдающиеся страницы истории русского народа и те наши соотечественники, которые являются предметом национальной гордости; национальные традиции и патриотизм; русская классическая литература; российская государственность, так называемая русская идея и т. д. В совокупности, взятые как целое, эти словесные атаки Невзорова создают «полноценный» лингвонекрофильский продукт – книгу. Взятые же по отдельности, представляют собой некий предуготовительный «полуфабрикат» – высказывания, основными модальностями которых выступают циничное глумление и сарказм, направленные на дискредитацию и/или десакрализацию мишени. Вот несколько примеров:

- *Суворова, как и прочие архаичные комиксы, вроде радонежских, невских, пересветов, пожарских, кутузовых и пр., надо было бы оставить историкам, которые умеют с ними обращаться бережно и аккуратно, пользуясь пинцетами, в резиновых перчатках (с. 58);*

- *Единственное, что не вполне ясно из этого закона, – так это судьба самого бога: встанет ли он швейцаром к думским дверям или депутаты отделаются от него талонами на двукратное посещение своей столовой (с. 89);*

- *А по меркам и классической, и современной психологии 75 % святых христианской церкви подлежат немедленной госпитализации и принудительному лечению аминазином и галоперидолом с доведением дозы до 30 мг в сутки (с. 164);*

- *Как сказал классик, духовность – это газ, который выделяют попы из разных бородатых отверстий (с. 176).*

Анализ книги Невзорова свидетельствует также о том, что для лингвонекрофильского текста необязательно употребление инвектив, обцененизмов, жаргонизмов, грубого просторечия. Лингвонекрофильский эффект может создаваться и достигать высоких степеней накала путем использования лживых, предельно циничных и кощунственных высказываний, грубо нарушающих этическую норму. Эта особенность невзоровской лингвонекрофилии (без использования этого термина) замечена журналистами. Так, Анатолий Макаров в статье «Братья по глумлению» пишет: «О власти, надо сказать, повсюду не принято отзываться с особым почтением. Но “сверхчеловек” Невзоров плюет и в то заветное, что теплится даже в очерстевшей душе. Достоевский – макулатура, концерт в Пальмире – пытка

виолончелью, Родина – что ею дорожить, просто дрянь. Понимаю: это подло кощунственный стеб, но ведь не легкомысленный, а заранее обдуманый, как тщательно подготовленная террористическая акция» (Литературная газета. 2016. № 30). А писатель А. А. Проханов, рассуждая в статье «Крымское солнечное затмение» о причинах внутреннего бунта человека, замечает: «...в человеке разверзается бездна, о которой писал Достоевский. В этом страшном подполье начинает плодиться зло, в человеке рождается Невзоров, в человеке происходит расчеловечивание» (Завтра. 2018. № 31). Так к характеристике признаков лингвонекрофилии прибавляются цинизм и глумление.

Отсутствие в лингвонекрофильских текстах «крепких выражений» типа обцензуров, бранных выражений, грубых жаргонизмов и просторечий восполняется целым рядом приемов, из которых наиболее очевидным представляется постановка дискредитируемого слова-понятия в один ряд с названиями категорически отвергаемых социумом явлений. Например: *Гомофобия, православие, нацизм, путинизм – боюсь, эти пороки уничтожат Россию...* [Ivanism 2011]; *Гомофобия – преступление против человечности, наряду с расизмом, антисемитизмом и фашизмом. Источник гомофобии – мракобесие церковников. В сегодняшних условиях – это Православие* [И. Леонов] (примеры взяты из: [Копнина 2017: 209]).

Итак, сформулируем предварительное определение-характеристику понятия «лингвонекрофилия»: **это такая разновидность речевой (вербальной, словесной) агрессии, для которой характерна интенция морального и/или физического уничтожения объекта негативации, сопровождаемая эмоциями враждебности, ненависти и презрения; реализуемая в модальностях цинизма, глумления, кощунства, сарказма, клеветы, очернения, уничижения; тяготеющая к воплощению в некоторых речевых и литературных жанрах (например, в речевом жанре проклятия и литературном жанре памфлета) и в совокупности этих признаков результирующая текстом с запредельным нарушением этической нормы.**

Обращение к феномену лингвонекрофилии заставляет вспомнить мысль, высказанную Н. А. Бердяевым более ста лет тому назад, которая звучит достаточно актуально и в наше время: «Раздор и вражда растут с каждым годом, теряется общий язык и всякая возможность взаимного понимания. Революционному отщепенству все люди другого, враждебного им круга представляются иной расой, низшей породой, относительно которой существует другая этика,

чем та, которая действует в их кругу. Совершенно так же реакционному отщепенству все люди другого, враждебного им круга представляются иной расой, относительно которой все дозволено. Теряется не только сознание национального единства, но и сознание единства человеческого» [Бердяев 1998: 92]. Недаром утверждают, что «информацией (облаченным в необходимый образ или форму словом) действительно можно убить. Или фактически оздоровить, рекреационировать человека» [Илющенко 2019]. И не так уж неправ Н. Д. Голев, когда заявляет, что, хотя выражение «слово убивает» пока воспринимается как метафора, но пора подумать и о юридической квалификации подобных речевых действий [Голев. URL: <http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z33.html>].

Теперь обратимся к другой стороне рассматриваемого явления. Э. Фромм противопоставляет некрофилии *биофилию*, под которой понимается «страстная любовь к жизни и ко всему живому; это желание способствовать развитию, росту и расцвету любых форм жизни, будь то растение, животное или идея, социальная группа или отдельный человек. Человек с установкой на биофилию <...> стремится творить, формировать, конструировать и проявлять себя в жизни своим примером, умом и любовью...» [Фромм 1998: 481]. Полагаю, что выделение биофилии с точки зрения идеи системности дает основание по аналогии с лингвонекрофилией говорить также о *лингвобиофилии*, которая, по-видимому, не столь характерна для текстов российского публичного дискурса, как лингвонекрофилия, но обнаруживается не только в русской поэзии и художественной прозе, но и в публицистике. Приведу несколько примеров стилистики лингвобиофилии из публицистики Александра Проханова:

• *Умер Фидель Кастро. Но он не умер. Умерла его утомленная, прожившая столько лет на земле плоть, а его ослепительный дух бессмертен. Он вырвался из плоти и продолжает сверкать над нами, как путеводная звезда. Герои не умирают. Фидель Кастро – герой. Герой в самом классическом, в античном смысле. Это герой, ополчившийся на космическое зло, на космическую тьму. Это он, штурмуя казармы Монкада, кинулся в схватку с драконом, ринулся на бой со змеем. Он разрубил змея на части, зашвырнул змея в океан, где тот сгинул в пучине. <...> Сегодня Фидель, носитель божественной мечты, дает нам надежду. Мы знаем, что эта мечта реет совсем близко от нас, всматривается в каждого из нас, ищет среди нас того героя, в кого она вселится. Душа Фиделя вселится в этого героя, душа Фиделя вселится в этого нового человека.*

Смерть Фиделя – это форма его бессмертия. Он говорил: «Родина или смерть!» Смерть минует, Родина восторжествует (А. Проханов. Гений мечты).

- *Смерть Чавеса вспыхнула над миром радугой его бессмертия. Он появился из магмы латиноамериканского континента. Он – слиток, родившийся из огненного вулкана. Он – индеец, в чьих жилах бушует наследие ацтеков и инков. Он – потомок испанских конкистадоров, вонзивших в Латинскую Америку свой окровавленный меч, воздевших над американским континентом свой католический крест. Он – социалист, тот красный пассионарий, который полтора века сражается за народ, отрицая жестокую несправедливость мира. <...> Смерть Чавеса – горе миллиардов. Мир рыдает, провожая гроб, в котором покоится великий десантник. Мир не хочет расставаться с Чавесом, а желает видеть его вечно, помещенным в стеклянный саркофаг. Народ на руках вносит Чавеса в историю. <...> Вот путь для народного вождя и героя. Вот доля десантника, которого сбросил на землю с небес Господь Бог (Завтра. 2013. № 11).*

- *С каждым годом Победа обретает все больше черт великого религиозного праздника, который соразмерен с Пасхой и Рождеством Христовым. <...> Война советского народа против фашистской Германии сорок первого – сорок пятого годов – это явление Христа на землю. Это второе Его Пришествие, когда Он встал среди русских полей и лесов. Облачился в форму пехотинцев и летчиков. Мчался в горящих танках и стреляющих кораблях. Те, кто падал, пробитый железом под Сталинградом и Курском, кого мучали в застенках и сжигали в пылающих избах, кто умирал в голодных обмороках у стен Адмиралтейства и Эрмитажа – все это был Христос, что сражался с сатанинской тьмой. Победа сорок пятого года – это красная Пасха, делающая советский период русской истории величайшим мессианским периодом... (Завтра. 2013. № 20).*

Стилистика лингвобиофилии в значительной степени зеркально повторяет стилистику лингвонекрофилии, но с противоположными эмоционально-оценочными значениями языковых и речевых единиц. Главной особенностью и эмоционально-смысловым ядром таких текстов является интенция горячей, часто восторженной, доходящей до сакрализации, любви к объекту эмоциональной оценки; желание (в перспективе или ретроспективе) его вечного существования, хотя бы в благодарной памяти людей. Этим текстам также свойственно множественное, конвергентное использование экспрессивных языковых средств и приемов, в том числе разнообразной

мелиоративной лексики и фразеологии в разных синтаксических позициях, чаще всего в позициях определения и предиката. Так, например, в первом фрагменте из приведенных выше трех последовательно обнаруживаются: прием псевдопротиворечия в сочетании с антитезой эпитетов и оценочных предикатов (*Умер Фидель Кастро, но он не умер. Умерла его утомленная, прожившая столько лет на земле плоть, а его ослепительный дух бессмертен*); персонификация в сочетании с образным аллюзивным сравнением (*Он вырвался из плоти и продолжает сверкать над нами, как путеводная звезда*); экспрессивный (интенсифицирующий) лексический повтор оценочного предиката в конструкции анадиплосиса (*Фидель Кастро – герой. Герой в самом классическом, в античном смысле. Это герой...*); гиперболоа в сочетании с повтором (*Это герой, ополчившийся на космическое зло, на космическую тьму*); развернутая метафора-иносказание, стилизованная под фольклор (*Это он, штурмуя казармы Монкада, кинулся в схватку с драконом, ринулся на бой со змеем. Он разрубил змея на части, зашвырнул змея в океан, где тот сгинул в пучине*); эмоционально-оценочный эпитет (*божественной мечты*); развернутая персонификация с частичным синтаксическим параллелизмом и экспрессивной тавтологией (*Мы знаем, что эта мечта реет совсем близко от нас, всматривается в каждого из нас, ищет среди нас того героя, в кого она вселится. Душа Фиделя вселится в этого героя, душа Фиделя вселится в этого нового человека*); парадокс (*Смерть Фиделя – это форма его бессмертия*); экспрессивная цитата, ставшая фразеологизмом (*Он говорил: “Родина или смерть!”*); изоколон (полный синтаксический параллелизм) в сочетании с рифмой (*Смерть минует, Родина восторжествует*).

Предлагаем следующую рабочую дефиницию лингвобиофилии: **это такая разновидность речевой (вербальной, словесной) позитивации (эмоционально-позитивирующего контекста), для которой характерна основная интенция гипертрофированной хвалы объекта, реализующаяся в модальностях восторженного превознесения, поклонения, сакрализации, обожествления; тяготеющая к воплощению в некоторых речевых и литературных жанрах (например, в речевых жанрах восхваления, славословия (дифирамба) и литературных жанрах панегирика, оды и т. п.).**

Этическая квалификация лингвобиофилии зависит от соответствия или несоответствия ее пафоса объекту позитивации. В этой связи заметим, что тексты, написанные в стилистике лингвобиофилии, могут быть и неэтичными, и манипулятивными. Покажем это

на примере книги К. М. Александрова «Мифы о генерале Власове» (М.: Посев, 2010. 256 с.), написанной с явной целью обелить предательское поведение генерал-лейтенанта А. А. Власова в немецком плену, ставшего орудием немецко-фашистских агрессоров в войне против тогдашней России – СССР: по его инициативе была создана из советских пленных солдат и офицеров так называемая Русская освободительная армия (РОА), которую он и возглавил и которая воювала вместе с немецкими фашистами против Красной Армии.

Книга представляет собой апологетику генерала Власова: все обвинения, предъявляемые генералу исследователями его биографии, или отрицаются путем переинтерпретации фактов, или, в случае невозможности их отрицания (например, двоеженство и развратность генерала), объявляются простительными по принципу «не он один, все так делали». Для создания положительного, даже обаятельного облика Власова многократно приводятся хвалебные отзывы его воинских советских начальников и немцев, с которыми он имел дело в плену; даже отзывы его односельчан. В качестве примера приведу опубликованный в книге фрагмент воспоминаний Валентины Карбаевой, его родственницы: «Мы все очень любили Андрея Андреевича. До войны он почти каждый год приезжал в Ломакино. Помню, шел он по селу такой высокий, широкоплечий. Подходил к маме и спрашивал: “Ну что, Дуня, поедem в Гагино, ребятишкам чего-нибудь купим”. Своих детей у него не было, вот он и баловал нас... Хоть и в высших чинах был, а не чурался общаться с односельчанами. Каждый его приезд был событием для села. По вечерам выступал в клубе, рассказывал о том, что творится в мире. Не боялся и крестьянской работы. Он все умел: и косить, и пахать. К нему во время отпуска любой односельчанин мог подойти за помощью в хозяйстве – он никому не отказывал. А как он умел петь?! Всегда возил с собой гармонь, на которой исполнял русские народные песни» [Александров 2010: 32].

Читают такое наивные люди и думают: «А ведь правда, какой приятный, симпатичный человек!» Ненаивные тоже начинают колебаться в оценках, так как книга насыщена позитивной информацией со ссылками на документы и конкретных свидетелей. Это делает концепцию автора книги убедительной и, вполне возможно, частично соответствующей действительности. **Однако не следует забывать главного! Суть дела все же в том, что, какими бы достоинствами ни обладал генерал-лейтенант А. А. Власов, это не отменяет главного: он изменил Родине. Причем в очень трудный и опасный для**

нее час. И нанес ей своим предательством большой вред. И тексты, подобные рассматриваемому, тоже приносят вред, так как способствуют разрушению ценностной матрицы нашего народа.

Выводы. Основной вывод из всего сказанного таков. Если под речевой системностью понимать взаимосвязь и взаимообусловленность языковых и речевых единиц, участвующих в создании текста, в том числе составляющих смысловые и стилистические оппозиции, то следует признать одним из проявлений этой системности существование и функционирование семантико-стилистической оппозиции «лингвонекрофилия – лингвобиофилия». Причем стилистика текстов, демонстрирующих лингвонекрофилию и лингвобиофилию, аксиологически резко противоположна, а со стороны типологии языковых средств в значительной степени изоморфна. Речевая системность в данном случае проявляется также в том, что противопоставлению лингвонекрофилии и лингвобиофилии аксиологически соответствуют некоторые жанровые оппозиции, например оппозиция речевых жанров проклятия и восхваления и литературных жанров памфлета и панегирика.

Напрашивается также вывод об опасности для любого социума лингвонекрофилии, а при определенных экстралингвистических условиях и лингвобиофилии (например, в случае восхваления, рекламы этически недостойного или опасного для благополучия и даже жизни людей объекта); о необходимости выявления и ликвидации социальных причин такой опасности. Но это уже проблема, лежащая в значительной степени за пределами лингвистики.

Раздел II

Морализм

**во взаимоотношениях этосов
в эпоху информационных войн**

2.1. Морализм как этический и социокультурный феномен

Первоначально необходимо определиться в исходных понятиях. Для этого необходимо логически «развести» исходные понятия: этика, мораль, нравственность. Однако начнем, как это ни странно, с утверждения о тождественности этих феноменов¹, заключающегося в том, что все они вместе и порознь говорят на одном языке, оперируют одними и теми же понятиями: добро и зло, справедливость, честь и достоинство, ответственность и долг... Разница же между ними состоит в том, что в этике – это теоретические понятия, категории, инструменты познания разных проявлений морали и нравственности, названные данными словами. В морали же, как одном из способов нормативной регуляции, это нормы, необходимые для поддержания стабильной и предсказуемой социальной жизни, обеспечивающие защиту социума и личности, декларируемые обществом и вменяемые его членам. В нравственности же эти понятия предстают уже как некие ценности, глубоко усвоенные личностью и ставшие ее внутренними убеждениями, и потому придающие смысл самим моральным нормам. Этика как теория морали и нравственности, по существу, пыталась объяснять их тем или иным образом. Этика, мораль и нравственность в совокупности входят в более широкое понятие этоса, которое, с нашей точки зрения, включает в себя также нормы, ценности и смыслы религиозного, эстетического, правового характера. Однако в рамках данного материала мы сконцентрируемся все же на этической стороне этоса, поскольку нас интересует морализм как своеобразный этический и социокультурный феномен.

«Этика должна не только обосновывать мораль, но и изобличать ложь морали», – заявлял в свое время Н.А. Бердяев [Бердяев 1993: 33]. Предметом данного исследования как раз и является критический анализ морализма, как негативного аспекта морали, нравственности, а нередко и этических теорий. Актуальность же

¹ Это находит отражение не только в этической теории, но и в обыденном языке.

подобного исследования в значительной степени обуславливается не только сугубо теоретическими факторами, но и злобой дня, поскольку морализм, по сути дела, составляет едва ли не главное оружие современной информационной войны. Оба эти обстоятельства мы и будем иметь в виду, рассматривая проблему морализма.

Еще раз обратимся к терминологии. В русском языке существует два схожих понятия: морализм и морализаторство, внутренне связанных друг с другом, но все же не тождественных. Морализаторство есть, безусловно, одно из проявлений морализма и выражается в нравоучительной проповеди, интенции осуждения ближнего, желании переделать его на свой лад. Морализаторство редуцируется к нравоучительному резонерству и всякому нравственному высокомерию, которое свойственно недалеким или нравственно несостоятельным людям, хорошо видящим недостатки у других и полностью отвергающим возможное их наличие у самих себя. Оно есть разновидность духовного насилия над человеком. Морализм же представляет собой весьма сложное явление, на которое обратили внимание русские философы Серебряного века: В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк и другие. Наиболее полно феномен морализма представил в своих работах Ф. А. Степун [Соина, Сабиров 2017: 147–154].

Хотел бы оттолкнуться в своих рассуждениях от высказывания С. Л. Франка: «Это умонастроение, в котором мораль не только занимает главное место, но и обладает безграничной и самодержавной властью над сознанием, лишенным веры в абсолютные ценности, можно назвать *морализмом*, и именно такой нигилистический морализм и образует существо мировоззрения русского интеллигента» [Франк 1991: 174]. В нем, с нашей точки зрения, точно схвачены существенные характеристики морализма, без которых его трудно представить и теоретически осмыслить.

Во-первых, С. Л. Франк совершенно справедливо отмечает, что морализм есть особое умонастроение, т. е. представляет собой смесь интеллектуального и эмоционального состояния сознания личности или социальной группы в виде определенной установки на восприятие событий, обстоятельств, людей, их личностных качеств и роли в жизни общества. Морализм не есть теория, т. е. глубоко отрефлексированное знание, а всего лишь совокупность представлений с преобладанием в них оценочных моментов.

Во-вторых, отечественный мыслитель, демонстрируя глубокое понимание места и роли морали в духовной жизни человека, подчеркивает, что морализм возникает на почве отсутствия или утраты

веры в абсолютные ценности, каковыми являются для христианина Бог-Троица и Иисус Христос. Морализм возникает на почве абсолютизации морали и моральных ценностей, т. е. нормы, занимающей место личного Бога. Неудивительно, что Спаситель свой праведный гнев обращает более всего отнюдь не на грешников, а на фарисеев, фактически иудейских праведников, которые беспрекословно выполняли заповеди Моисея. Почему, спрашивается, столь непреклонен к ним Христос? Ответ на этот вопрос мы находим у о. Павла Флоренского: «Почему ценна заповедь, суббота? Потому что дана Богом. Но представьте себе, что я забуду Бога, перестану видеть Его, любить Его как Отца, а всей душой прилеплюсь к Его словам, к самим заповедям. Тогда они станут для меня злом, хотя сами по себе они – добро и не перестают быть хорошими. <...> Тогда всякое нравственное правило и вся их совокупность становятся самодовлеющими в силу того и по той причине, что именно я их признал таковыми. Таким образом, заповедь становится моим рукотворением, и человек с пути поклонения Богу становится на путь идолопоклонства, поклонения самому себе. И чем выше предмет такого увлечения, тем оно опаснее. Чем чище живешь, тем глубже, опаснее и неискоренимее страсть поклонения себе самому» [Флоренский 1999: 459].

В-третьих, С.Л. Франк вполне оправданно добавляет к морализму эпитет «нигилистический», утверждая тем самым его разрушительную сущность. Занимая место спасающего Бога, мораль превращается в лже-сотериологию, которая не спасает, а, в конечном счете, аннигилирует все: и спасаемое, и спасителей. Поскольку данное высказывание взято из статьи С.Л. Франка в знаменитом сборнике «Вехи», опубликованном в 1909 году, то оно, конечно, в первую очередь относилось к характерной черте русской интеллигенции, взвалившей на себя мессианскую функцию, которая обернулась трагедией 1917 года и другими не менее трагическими событиями в истории нашей страны. Однако нигилистическая черта морализма присуща не только русской интеллигенции, а морализму как таковому, независимо от того, кому лично или какой социальной группе он свойственен.

Другой русский мыслитель – Ф.А. Степун – в своей философско-биографической книге «Бывшее и несбывшееся» дает аналитику разных вариаций морализма, каждая из которых по-своему лжива и опасна.

- Морализм самым решительным образом обнищает перед необъятным разнообразием человеческих типов, коими Россия

до революции была так богата. Разве можно их «уложить» в прямолинейный шаблон представлений об исключительно «добрых» и исключительно «злых» людях, который моралисты с педантичной уверенностью в своей правоте распространяют на всех и вся!? У Степуна читаем: «Я с нежностью вспомнил дореволюционную Россию: до чего же она была богата по особому заказу скроенными и сшитыми людьми. Что ни человек – то модель. Ни намек на стандартизованного человека западноевропейской цивилизации. И это в стране монархического деспотизма, подавлявшего свободу личности и сотнями бросавшего молодежь в тюрьмы и ссылки. Какая в этом отношении громадная разница между царизмом и большевизмом, этой первой в новейшей истории фабрикой единообразных человек. Очевидно, государственный деспотизм не так страшен своими политическими запретами, как своими культурно-педагогическими заданиями, своими замыслами о новом человеке и о новом человечестве. При всем своем деспотизме, царская Россия духовно никого не воспитывала и в духовно-культурной сфере никому ничего не приказывала» [Степун 1995: 214].

• Морализм, доведенный до социально-доктринального уровня и представший перед обществом в виде непререкаемой идеологемы, решительно отменяет всякую духовно-ценностную и социокультурную иерархию идей, воззрений, принципов и смыслов, не позволяя таким образом различать и противопоставлять друг другу внешнее и внутреннее, духовное и моральное, норму и ценность, слово и смысл, сакральное и профанное. Весьма характерно в этом плане, что еще в бытность своего пребывания в молодой советской России Степун был участником и свидетелем многих послереволюционных диспутов и публичных прений, где представители зарождающегося советского агитпропа пытались на новый лад переделать консервативное сознание крестьян. Однако, всячески выпрямляя и упрощая представления людей согласно нормам и стилям нового советского морализма, борцы с «религиозными предрассудками» и «вековой отсталостью народа» нередко получали решительную и бескомпромиссную отповедь именно от представителей трудового народа. В «Бывшем и несбывшемся» Степун приводит весьма остроумный ответ одного из своих односельчан, кузнеца Ивана, на моралистическую критику религии и священства из уст ретивых представителей «нового пролетарского мировоззрения»: «Священники у нас разные бывают – и праведные, и грешные. Но не твоей совести дело судить их. За бессовестный же твой поклеп, хотя ты и неверующий,

все равно перед Богом ответишь потому, что крещеный ты. Это тебе первый ответ. А вот и второй: хотя бы и твоя правда была, против святости Церкви она все одно ничего не доказывает. Ты вот во что вникнуть должен: кто в попе пьет – человек или сан? Если батюшка по человеческой слабости иной раз лишнее и выпьет, это ему на исповеди простится, ну а святой сан не пьет. Мы же в священнике не грешного человека чтим, а рукоположенного иерея. Затем ведь священник поверх портков и рясу носит... чтобы она трезвая оставалась, когда портки напьются» [Там же: 545–546].

• Морализм радикально противостоит осмыслению духовной сущности жизни, особенно в ее предельно тяжкие исторические периоды. Более того, он, по Степуну, вообще антагонистичен духовному углублению жизни, и прежде всего сложнейшим историософским ее основаниям. Да и вообще, по-видимому, невозможно сколько-нибудь серьезно и обстоятельно осмыслить жизнь и выработать к ней особенное, творческое отношение, оставаясь «на почве» последовательного и непререкаемого морализма. Степун пишет: «Распознавание сущности становилось жизненной необходимостью для каждого из нас, потому что на каждом перекрестке стояла судьба, потому что каждый поворот означал выбор между верностью себе и предательством себя. В нашей внешней до убожества упрощенной жизни в те дни на каждом шагу совершались сложнейшие нравственные процессы, руководить которыми не могли ни привычные точки зрения, ни унаследованные нормы. Чтобы устоять, чтобы оградить себя от самого страшного, от гибели души и совести, надо было иметь живые, неподкупные глаза и владеть даром интуитивного распознавания «духов»... Без веры в свой долг, в свою звезду, в свою судьбу, в Бога нельзя было трястись в тифозном вагоне за хлебом для стариков и детей, нельзя было быть уверенным, что близкий человек не предаст тебя на допросе и что ты сам скорее умрешь, чем предашь его. Так всякий час, всякий взор, всякий жест наполнялись предельною серьезностью и первозданным значением. Это вынужденное восхождение душ – о, конечно, не всех, но тех, в которых спасалась душа России, – к вечным ценностям глубже всего свершалось в Москве, которая отнюдь не была только грязным и разваливающимся, но и совершенно фантастическим городом, в котором призрачно переплетались все времена и пространства русской истории» [Там же: 460].

• Морализм, будучи прямым следованием букве и духу морально-правовых норм, не гарантирует самому субъекту моралистических

инициатив и деяний решительно ничего: ни признательности, ни тем более уважения, ни любви других людей, ни даже элементарной безопасности. В каком-то смысле безоговорочно применяемый морализм есть безукоризненное подтверждение выверенного веками и во многом метафизически точного наблюдения: «Благими намерениями вымощена дорога в ад». Это суждение в полной мере подтверждается жизненным опытом и пронизательностью Степуна: «Живя в Советской России, я понял, что в смутные и лживые эпохи всякий принципиальный морализм, всякая законническая честность ведет прямым путем к жестокости и даже подлости» [Там же: 584]. В «Бывшем и несбывшемся» мыслитель приводит множество примеров, подтверждающих данный тезис. К примеру, летом 1918 года большевики объявили в Москве регистрацию бывших офицеров. В случае неявки на специально созданные для этого пункты им грозил расстрел. Однако в действительности получилось наоборот: всех явившихся на регистрацию офицеров, поступивших честно и законопослушно (а следовательно, отчасти моралистически), большевики безжалостно расстреляли; тех же, кто благоразумно игнорировал предписание, руководствуясь тяжким опытом «новой» жизни и своей духовной пронизательностью, у властей просто не было возможности разыскивать. Будучи царским офицером и членом Временного правительства, Степун, несомненно, сильно рисковал, отказавшись от сомнительной процедуры регистрации. Но именно благодаря тому, что писатель вовремя подавил в себе порыв офицерской чести и связанные с этим порывом моральные переживания (что теперь принадлежали уже совсем другой эпохе), он получил возможность сохранить свою жизнь. В глубоком историософском плане, когда речь идет о жизни и смерти, собственной судьбе или судьбах близких и уж подавно о будущем страны и народа, по глубокому и проверенному временем убеждению Степуна, нельзя руководствоваться сугубо моральными мотивами, бездумно подчиняться норме и тем более приказу. «В то время все жили и действовали в одиночку, на свой риск и страх» [Там же: 464], что, по-видимому, было вполне оправданным, если учитывать быстро меняющиеся жизненные обстоятельства.

- Более того, крайне опасный в житейских отношениях морализм губителен и в сфере международных контактов, где нередко производит подлинную катастрофу. Так, по Степуну, неудачи и конечный крах Временного правительства были в определенной степени обусловлены стремлением значительной его части (к которой,

в частности, принадлежал министр иностранных дел П. И. Миллюков) соблюдать договоренности со странами Антанты и продолжать войну из мотивов верности союзническому долгу. В условиях, когда смысл войны не был понятен солдатской массе, такой ложный политический морализм действительно вел к уничтожению исторической России. Успех же большевиков кроется именно в том, что те вышли из войны, заключив морально позорный, но политически целесообразный Брестский мир.

Разумеется, было бы наивным и ошибочным воспринимать критику Ф. А. Степуном морализма в разнообразных его вариациях как проявление имморализма и эстетизма писателя в духе К. Н. Леонтьева и уж тем более как откровенный аморализм и беспринципность. Смысл критики мыслителем морализма, на наш взгляд, как раз и заключается в том, что, во-первых, мораль только тогда действительна и конструктивна, когда живы и феноменологически оправданы ее духовные основания. Религиозное чувство у Степуна было глубоким и выверенным, оно углублялось и крепло у мыслителя с каждым годом. Будучи православным христианином, тонко чувствующим метафизику христианства, Степун, конечно, не мог ассоциировать его только с моральным учением. Во-вторых, как свидетельствует жизненный опыт Степуна, избежать морализма вполне возможно, если подходить к решению нравственных проблем избирательно и творчески, включая полноценную этическую аналитику, что подразумевает полноту и силу нравственного ума [Сабиров, Соина 2009: 515–530], преодолевающего поспешность и бездумность скоропалительных моральных решений. «Вы начинаете бороться во имя добра с врагом и со злом. Но вы кончаете тем, что сами проникаетесь злом, – не без оснований предупреждал Н. А. Бердяев. – Основная моральная проблема нашего времени есть проблема отношения к врагу. Врага перестают считать человеком, к нему не должно быть человеческого отношения. В этом произошло наибольшее отступничество от евангельской истины» [Бердяев 1993: 300].

Далее хотелось бы раскрыть механизм действия морализма в реальной жизни людей и общества, в том числе и в контексте современной информационной войны.

Во-первых, всякий морализм означает безусловный приоритет моральной оценки, нравственного переживания и даже этической рефлексии над всеми другими видами отношения человека к действительности, какие только возможны и необходимы в различных обстоятельствах его жизни: духовно-религиозными, интеллектуальными,

эстетическими, – а также соображениями политической, экономической и даже витальной целесообразности. Такое бездумное подчинение моральной норме, утвердившись над миром и человеком, довлея над ними со всей непреложностью нравственного законодателя, неизбежно порождает моралистическую препарацию людей, жизненных обстоятельств и исторических событий. Оно не только крайне утрирует действительность, упрощая до вечно «добрых» или вечно «злых» состояний, но и в конечном счете омертвляет ее как духовно, так и витально. Морализм обезоруживает человека перед лицом смертельной опасности, освобождает его от необходимости в моменты острейших социально-исторических кризисов принимать суровые, жесткие, но жизненно оправданные и необходимые решения. Именно поэтому морализм как всякая апология прямолинейного и духовно сомнительного «добра» особенно опасен в сложные, исторически напряженные моменты национальной судьбы, невольно или преднамеренно подчиняя ее воле случая или, что еще хуже, капризам разного рода волонтаристов, популистов, авантюристов и проходимцев.

Во-вторых, очень часто морализм облекается в какие-либо доктринерские формулы, схемы или стереотипы мышления и даже как бы потенциально предполагает их. Гипертрофия моральной оценки имманентна тому или иному этическому учению, где одна из традиционных категорий (долг, польза, счастье, удовольствие, совершенство и др.), принципов или норм берет на себя основную императивную функцию, то есть, превосходя возможности морального регулятива, начинает управлять и законодательствовать во всех сферах человеческой жизни – от бытия Бога до сферы самых интимных человеческих отношений. Такой разросшийся до социокультурной необъятности морализм неизбежно становится *доктринальным* (пучающим и резонерствующим согласно определенной идейно-ценностной установке), и потому все, что не соответствует той или иной моральной идеологии, нравственно третируется, а затем истребляется физически. В философском смысле это особенно неприемлемо, ибо, как справедливо замечал Степун, «морализирующее отношение к истории, конечно, неправильно, так как не только все великое, но даже и святое неизменно выросло из таинственного сотрудничества добра и зла: исторически ведь и Христос неотделим от Иуды» [Степун 1995: 221].

В-третьих, морализм означает фактическую объективацию зла, предполагающую поиск врагов вовне и отказ от признания своей

личной вины за зло и несправедливость, извечно царящие в мире. Н. А. Бердяев писал: «У людей есть непреодолимая потребность в козле отпущения, во враге, который виновен во всех их несчастьях и которого можно и должно ненавидеть. Это могут быть евреи, еретики, масоны, иезуиты, якобинцы, большевики, буржуазия, международные тайные общества и т. п. Революция всегда нуждается во враге для своего питания и выдумывает врага, когда его уже нет, то же самое и контрреволюция. Когда найден козел отпущения, то человек чувствует себя лучше. Это есть объективация зла, выбрасывание его во внешнюю реальность...» [Бердяев 1952: 113]. И этот путь постоянных конфронтаций, конфликтов и войн, несомненно, будет осложнять историческое бытие мира и России до тех пор, пока не будет преодолен духовно и творчески.

Возможность морализма всегда присутствует в сознании и поведении людей. Однако он становится повсеместной реальностью в периоды социокультурных кризисов внутри той или иной страны, а также в отношениях между государствами и народами.

В настоящее время мы как раз переживаем глубокий внутренний экономический, социально-политический, социокультурный, духовно-нравственный кризис и обострение международных отношений, влекущих к информационной войне между разными социальными группами в России и между геополитическими противниками на международной арене.

Сейчас в нашей стране наблюдается чрезвычайно интересная ситуация в области внутренней информационной войны. Складывается впечатление, что она ведется между лжепатриотами и фальшивыми либералами, которые на словах уничтожают друг друга, а в перерывах между страстными словесными баталиями в кулуарах или на досуге мирно общаются друг с другом. Эта ситуация прекрасно отображена в нашумевшем сериале «Спящие». В действительности морально поддерживаемые и хорошо оплачиваемые глобалистски ориентированными политическими кругами и их экономическими спонсорами современные отечественные СМИ не столько изображают борьбу политических и идейных противников, сколько пытаются разобщать, развращать и деморализовать широкие народные массы. В результате мы видим противоестественную картину, когда «патриоты России» воюют друг с другом на донбасской земле: одни за ополченцев ДНР и ЛНР, а другие – в рядах украинских добровольческих батальонов. Ситуация в этом регионе бывшей большой России убедительно показывает, что информационная война, ведущаяся

между якобы разными идейно и политически ориентированными противниками, в действительности оборачивается гражданской войной между оболваненными или запуганными людьми фактически одной крови и судьбы. В основании этого фальшивого информационного противостояния лежит то, что для «либерально»¹ ориентированной интеллигенции по преимуществу характерно оптимистическое восприятие западного типа культуры и цивилизации и крайне пессимистическое – в отношении России. У «патриотов»² же, как правило, наблюдается чрезмерный критицизм к Западу и квазилюбовь к «вечно гибнущей» России. В действительности же эти два моралистических умонастроения одинаково одномерны и, следовательно, недостоверны для углубленного осмысления прошлого, настоящего и будущего России, а тем более решительно непригодны для практических преобразований в разных сферах ее существования. Отметим, что в своих основаниях отечественный «либерализм» и «патриотизм» смыкаются друг с другом именно потому, что оба они моралистичны и гиперкритичны по отношению к настоящей России, т. е. к той, которая реально существует и так или иначе строится и развивается на наших глазах. «Нет народа с таким тяжким историческим бременем и с такою мощью духовною, как наш, – писал в свое время И. А. Ильин, – не смеет никто судить временно павшего под крестом мученика; зато выстрадали себе дар – незримо возродиться в зримом умирании, – да славится в нас Воскресение Христово!» (цит. по: [Шмелев 1998: 133]).

Причем оба эти умонастроения крайне утопически воспринимают ту Россию, которой уже нет или еще нет и которой, быть может, никогда и не будет в силу идеализации дореволюционной России или же «цивилизаторских» возможностей обобщенного «Запада».

Чтобы убедиться, что информационная гражданская война в нашей стране не есть вымысел, но суровая жизненная реальность, достаточно попутешествовать по просторам интернета и почитать комментарии наших соотечественников к тем или иным статьям, написанным на самые разнообразные темы: политические, социальные, экономические, гражданские, семейные и многие другие.

¹ Ставим в кавычки слово либерализм, ибо, к сожалению, большинство современных отечественных либералов любят не столько свободу для всех, сколько право господствовать с идеями свободы над другими людьми.

² Здесь имеется в виду показной и официозный патриотизм, свойственный людям, сделавшим его своим профессиональным делом или своеобразным политическим бизнесом, либо откровенный национализм в худшем понимании этого слова.

К сожалению, в них преобладают невежественные суждения озлобленных людей, моралистически препарирующих не столько содержание публикаций, сколько авторов статей и других комментаторов. Нетрудно представить, чем может закончиться эта эскалация ненависти: ведь из области виртуальной реальности при определенных условиях она легко может перейти в реальную жизнь, выплеснуться на площади наших городов, свергнуть страну в хаос и тотальное разрушение.

Мы можем с полной уверенностью предположить, что значительная часть этой истерии в интернете и социальных сетях инспирирована извне, поощряется не только морально, но и материально нашими геополитическими противниками. Последние не только пытаются ценностно разобщить граждан нашей страны, но также соответствующим образом настроить и обработать население своих стран, всячески насаждая русофобские стереотипы, которые опять-таки целиком и полностью построены на морализме, но с учетом ментальности этосов тех или иных народов.

Таким образом, можно констатировать, что морализм представляет собой сложный этический и социокультурный феномен, который, являясь негативным аспектом сознания личности или определенной социальной группы, напрямую задействован в современной информационной войне как внутри нашей страны, так и в контексте острейших конфронтаций между основными геополитическими противниками.

2.2. Морализм и морализаторство в отечественной культурной традиции

Морализм и морализаторство. Как правило, рассуждая о морали, люди вполне естественно предполагают, что именно она управляет сложной стихией человеческих отношений. Согласно широко укоренившимся представлениям, ей есть дело до всего, что происходит на свете, а потому, стало быть, *морали никогда не может быть много*. вполне естественно, что, рассуждая таким образом, люди приходят к убеждению, что решительно все аспекты

действительности должны быть подвергнуты процедуре моральной оценки, не только подразделяющей их на добрые и злые, дозволенные и недозволенные, благие и скверные и пр., но и при этом подвергающей их непрерываемому нравственному ostrакизму. Иными словами, квалифицируя то или иное явление жизни как нравственное или безнравственное, мораль, в соответствии с широко распространенными представлениями, просто обязана вынести ему однозначный нравственный приговор, судить и порицать его, а иногда, в самых радикальных случаях, отказывать чему бы то ни было в праве на существование. Это сложное, глубоко *парадоксальное* положение морали в мире, призванной, с одной стороны, *оценивать* все существующее с точки зрения соответствия его некоей безусловной *норме* его *должного* (благого) бытия, и в то же время гипертрофирующей эту оценку до абсолютного значения, до непрерываемости и непреклонного ригоризма, прекрасно осознавали многие чуткие умы, обеспокоенные внутренней противоречивостью этического знания.

Что касается собственно этической теории, то именно там этот сложный и парадоксальный феномен нравственного бытия человека давно осмыслен и кодифицирован, но справедливости ради нельзя не заметить, что наилучшим образом с ним справляются отнюдь не профессиональные философы, но скорее обычные люди, наделенные здравым смыслом и трезвым видением реальности, или же великие художники слова, способные в силу щедро отпущенной им духовной проницательности отличить истину от подделки в сокровенной глубине нравственных переживаний человека. «Ну, пошел читать мораль!» – слышим мы расхожее суждение о человеке, заменившем реалистический анализ определенной жизненной ситуации ни к чему не обязывающими апелляциями к добру, справедливости, милосердию, любви к ближним и т. д. и т. п. Это чрезмерное злоупотребление моральной оценкой, сводящее духовную многомерность бытия человека к плоской и элементарной конкретике либо добрых, либо злых его состояний, в этике принято называть *морализаторством*, как правило, проявляющимся и в предметном содержании этических учений, и на субъективно-личностном уровне в качестве определенной моральной позиции личности, и в сложной сфере ментальных переживаний того или иного народа, где ему предоставлены самые широкие и предельно разнообразные формы выражения.

Применительно к задачам настоящей работы я не считаю необходимым придерживаться детальных различений морализаторства и морализма, поскольку чисто теоретическая разница здесь невелика

и в особых комментариях не нуждается¹. Более того, в содержательном смысле оба эти понятия, на мой взгляд, прекрасно дополняют друг друга и потому могут использоваться как взаимозаменяющие, без далеко идущих сомнений по поводу теоретической оправданности этого. Совсем другое дело – вопрос о мировоззренческих соответствиях между моралистами, т. е. теми мыслителями, для которых этическое умонастроение, так или иначе, являлось духовной доминантой творчества, и, так сказать, морализаторами по призванию, по стилю жизни, по принципу существования, наконец, каковым у Ф. М. Достоевского и оказывается его феноменальный Фома Опискин из повести «Село Степанчиково и его обитатели». На мой взгляд, если различие здесь и есть, то оно в значительной степени объясняется духовными масштабами моралиста, утонченностью его психологических реакций, а главное – тем этическим счетом, который он способен предъявлять к самому себе, не заботясь об ответных инициативах окружающих. Проще говоря, моралист способен удержать в чистоте свое этическое отношение к миру, если он не собирается, как это ни парадоксально, морализировать над ним как над последней жизненной истиной и исправлять с ее помощью чудовищные, с его точки зрения, человеческие пороки. Именно поэтому от моралиста до... морализатора – всего лишь один шаг, и, к сожалению, сделать его тем легче, чем несомненное видится нравственному мыслителю его собственная этическая доктрина и ее благотворное влияние на бытие в целом. Мне представляется, что великий русский моралист Л. Н. Толстой в своей этической теории и непосредственной жизненной практике сумел достичь невиданных духовных прозрений, фантастическим образом соединенных с самым что ни на есть вульгарным морализаторством, и в этом смысле он, к величайшему сожалению, почти ничем не отличается от гениально спародированного Ф. М. Достоевским морального тирана, великолепного в своей риторике и неиссякаемого воспитательном энтузиазме.

По существу, анализируя феномен морализаторства, в равной мере свойственный как нашему национальному сознанию, так и отечественной нравственной философии, автор разделяет замечательное убеждение русских религиозных философов (Н. Бердяева, о. С. Булгакова, И. Ильина, С. Франка, о. П. Флоренского и др.) в том, что мораль есть эмпирическая «производная» от абсолютных духовных

¹ Автор солидарен с В. Ш. Сабировым, утверждающим связь морализаторства с морализмом. Здесь мы делаем акцент прежде всего на морализаторстве.

ценностей; и потому возводить ее на место Бога, пропагандируя глубоко религиозное к ней отношение, есть позиция нечестивая именно с последовательно христианской точки зрения, о чем, кстати, предупредил и сам Иисус, полемизируя с фарисеями: «И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе? Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всею душою твоею, всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» [Мф. 22: 36–40]. Существо этого умонастроения, представленного именно православной духовной традицией, прекрасно выразил в свое время П. И. Новгородцев, писавший: «Жизнь определяется тут именно религией, а не моралью, так что без религии морали не остается, и когда православный человек отпадает от религии, он может склониться к худшей бездне падения» [Новгородцев 1995: 415]. «Религия, – констатирует также о. С. Н. Булгаков, – которую хотят целиком свести к морали, в целости своей находится выше морали и поэтому свободна от нее: мораль существует для человека в известных пределах, как закон, но человек должен быть способен подниматься и над моралью» [Булгаков 1994: 48–49]. Таким образом, если человек действительно желает стать моральным, а не научиться лицемерить на нравственные темы (по Христу, фарисействовать), он должен верить в абсолютные начала бытия, считаться с их духовным влиянием как в своем собственном существовании, так и в более широком жизненном плане во всех его многообразных составляющих.

Именно в этических учениях и теориях морализаторство узнаваемо лучше, чем где бы то ни было, и любой, даже не слишком искушенный в теоретических сложностях человек справляется с операцией его опознавания поражающе просто, без всякого сомнения и внутреннего замешательства. Именно там, где под видом *учения о морали* авторы предлагают разного рода *проповеди о ней*, беспелляционные и категорические, оторванные от реальной нравственной жизни человека с ее глубоким внутренним драматизмом и извечной парадоксальностью нравственных решений, мы имеем дело с *моралистически ориентированной этикой*, постоянно преподносящей человечеству моральные уроки и слишком мало думающей о его реальном нравственном исправлении. Примерами моралистической направленности этических учений от древности вплоть до наших дней этика прямо-таки изобилует, однако это вовсе не означает, что

морализмом поглощена вся этика как таковая. Там, где этическое учение или та или иная теория морали руководствуется неприятием эмпирических сторон нравственной жизни человека и провозглашает идею немедленной ее переделки под свои собственные теоретические представления, мы встречаемся с чистой водой *морализаторством*, замуфлированным под самую благородную в мире нравственную проповедь. То, что, пытаясь рассуждать о морали и ее задачах в деле совершенствования общественной жизни, человеческих нравов и внутреннего мира человека, этик из благородного мыслителя, искренне сострадающего несчастному человечеству, способен превратиться в... его *беспощадного морального тирана*, бескомпромиссно искореняющего как его мнимые, так и реальные пороки, заметили многие мыслители.

Для нас интересны размышления известного французского философа Ж. Маритена о нравственных трансформациях личности Ж.-Ж. Руссо, ставшего также одним из значительнейших моралистов своего времени: «...Жан-Жак, никогда не смущавшийся суждениями мирской мудрости и предрассудками ложной рассудительности, добрый, естественный Жан-Жак, как никто, наивно (не то слово: цинично) возвращает эту *теоретическую* любовь к добродетели...» [Маритен 2004: 234], – теоретическую любовь, никоим образом не исправляющую его самого и находящуюся в самом вопиющем противоречии с обстоятельствами его жизни. «Отсюда и его низкие поступки, и нравственная дряблость. Трусливая покорность действительности... объясняет и то, как он бросил пятерых детей, и его любовные перипетии, его разрывы с друзьями... все позорное, все несчастья в его жизни» [Там же]. На отечественной почве не менее сложные формы нравственного перерождения личности мы можем наблюдать в поздние годы жизни Л. Н. Толстого, также пытавшегося создать некую всеобъемлющую теорию морали, преобразующую мир, человека и общество в интересах предложенного писателем этического учения и при этом ставящую его в резко конфликтные отношения с собственной семьей, Церковью и государством.

Примеры из жизни этих и многих других великих и не слишком значительных этических реформаторов убеждают нас в том, что, во-первых, любая этическая теория способна вырождаться в чистой воды морализаторство, если авторы ее, исследуя мораль как сложный социокультурный феномен, отождествляют философскую теорию морали и нравственное учение о человеке, неизбежно требующее от них единства слова и дела, философии и поступка; во-вторых,

не видят принципиального различия между *умозрительными представлениями о морали* и *реальной нравственной жизнью* и, намереваясь улучшить людей и их нравы, пытаются просто-напросто деспотически подчинить их своей этической дидактике; и, наконец, в-третьих, провозглашая свою теорию морали единственно верной, недвусмысленно принуждают людей к безоговорочному принятию их этических воззрений, что в итоге оборачивается почти неограниченным нравственным насилием, своеобразным диктатом моральной оценки над нравственным бытием человека, подавляющим свободу и автономное волеизъявление личности.

Итак, перед нами как бы сами собой возникают сложнейшие парадоксы этики, разрешить которые собственно философскими средствами столь же трудно, сколько и необходимо:

- *Этизируя* действительность, укрощая и совершенствуя ее с помощью разного рода *теорий* морали, этика, будучи своего рода «дочерней» частью философского знания как такового, невольно предает философию как свою прародительницу, заменяя ее извечно *вопрошающий*, рефлексивный подход к человеку и его месту в мире категорическими в своей безусловности *оценками* его моральной природы. Иными словами, если этика желает философствовать, то зачем она при этом еще и учит как жить?

- Стремясь возвыситься над жизнью и претендуя на положение *нравственного учителя человечества*, этик тяготеет к осуществлению *насилия* над ней исключительно во имя торжества своих же собственных теоретических представлений. Итак, если этика пытается создать совершенное учение о морали, то зачем «внедряет» его в жизнь такими несовершенными способами?

- Пытаясь исправлять мнимые и настоящие пороки окружающих и предлагая им многочисленные «правила морали», воплощенные в императивах, кодексах и предписаниях, этик зачастую никоим образом не переносит эту ригористическую принципиальность своего же собственного нравственного учения на себя самого, предпочитая резонерствовать по поводу других людей и быть вполне довольным самим собой. Что это такое: нравственная непогрешимость знающего истину мудреца или же утонченное моральное лицемерие, вполне цинично провозглашающее: «Орнитологи тоже не летают»?

Что же касается морализаторства как определенной нравственной установки личности, то аналитикой ее весьма бедна этическая теория, зато исключительно богата художественная литература. Описанием разного рода моралистов, успешно практикующих

этическую дидактику как способ подавления окружающих в сочетании с ханжеством, резонерством и лицемерием буквально изобилует и европейская, и отечественная классика (вспомним хотя бы шекспировского Яго – злодея и моралиста одновременно или мольеровского Тартюфа, чье ханжество в сочетании с самым изощренным морализаторством давно уже стало явлением настолько хорошо узнаваемым, что как бы уже и не нуждается в соответствующей этической квалификации). И все же мы, наверное, погрешили бы против истины, если бы обошли вниманием, возможно, самый выдающийся в мировой художественной литературе анализ феномена морализаторства, предпринятый гением отечественной классики – Ф. М. Достоевским в сравнительно небольшой повести – «Село Степанчиково и его обитатели». Проста и незамысловата ее сюжетная канва: в смиренное провинциальное семейство вторгается моралист и... производит революцию в умах и образе существования всех его членов. Здесь мы не имеем возможности детально анализировать духовный склад, нравственную психологию и особенности поведения действительно выдающегося моралиста и одного из главных героев этой повести – Фомы Фомича Опискина [Соина 1995], однако считаем необходимым предельно кратко представить вниманию читателей некоторые приемы его нравственно-педагогического воздействия на свое окружение, обнаруживающего в нем не столько благородного воспитателя человечества, сколько утонченнейшего морального тирана.

• Во-первых, как убедительно показывает Ф. М. Достоевский, его герой, будучи отнюдь не философом по призванию, как великий Платон, не мыслителем-гуманистом, как Ж.-Ж. Руссо, и уж тем более не великим писателем, как Л. Н. Толстой, тем не менее несколько не сомневается в своем праве на нравственное исправление человечества, ибо решительно не принимает мир таким, каким он есть в действительности, со всеми его светлыми и темными сторонами, а главное – со сложным смещением *добра и зла* в душах и поступках людей, его окружающих. Однако там, где в основе этической теории или субъективной моральной позиции человека заложен *принцип мироотрицания* (по удивительно точному суждению немецкого философа и практического гуманиста А. Швейцера), неизбежно возникает и стремление *переделать* его любой ценой, в особенности если инструментом этой переделки оказывается *мораль*, воспринимаемая и как *орудие власти*, и как средство нравственно-педагогической дрессуры. «...Я на что послан самим Богом, чтоб изобличать

весь мир в его пакостях» [Достоевский 1972: 16], – безапелляционно заявляет Фома Фомич Опискин, демонстрируя всем и каждому и непререкаемость своей моральной оценки, и крайний ригоризм как нравственного судии.

- Во-вторых, подавляя людей нравственно и психологически, моралист, как убедительно показывает Ф.М. Достоевский, тяготеет к идее их принудительного осчастливливания, т. е. к очень жесткой и бескомпромиссной этической *опеке*. «Прежде кто вы были? – упражняется Фома Фомич в своем «благодетельном» влиянии на окружающих. – На кого похожи вы были до меня? А теперь я заронил в вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заронил ли я в вас искру небесного огня или нет? Заронил ли я в вас искру или нет?» [Там же: 119]. Само собой разумеется, что ответ должен быть утвердительный, ибо, как справедливо замечает один из героев повести: «...против благонравия не поперешь!» [Там же: 27]. Именно изощренная *моральная демагогия* является одной из характернейших и легко опознаваемых форм проявления морализаторства – и в этической теории, и в сфере межличностных отношений, и еще того более – в нравственной психологии того или иного народа, тяготеющего к крайней поляризации своих моральных оценок и, как следствие, к нравственной нетерпимости.

- В-третьих, утверждает Ф.М. Достоевский, делая тем самым выдающееся этическое открытие: потребность в морализаторстве может проявляться и на *ментальном уровне*, – у самых разных слоев общества, в особенности в среде интеллигенции. Общеизвестно, что в образе Фомы Фомича Опискина и в его «нравственных» проповедях писатель гениально спародировал моралистическую риторику Н.В. Гоголя из его знаменитых «Выбранных мест из переписки с друзьями». Однако существо этических прозрений Ф.М. Достоевского заключается вовсе не в критике этого, несомненно, моралистического произведения и не вполне обоснованных претензий Н.В. Гоголя предстать в нем в качестве непререкаемого *учителя нации*, но скорее в осмыслении далеко идущих последствий социокультурного плана, как правило, сопровождающих подобного рода решения, равным образом значительных как и для того или иного народа, пытающегося усовершенствовать и «преобразовать» человечество в целом, так и для отдельных социальных слоев или групп, намеревающихся подчинить своему нравственно-педагогическому воздействию весь социум без исключения.

Как показывает сложный исторический опыт России начала XX столетия (или пережитые Францией духовные и гражданские потрясения в ходе Великой революции 1789 года и после нее), *морализаторство*, закрепленное в культуре и оформленное доктринально в виде учения, теории или идеологии, чревато очень серьезными социокультурными последствиями, способными глубоко потрясти народ или нацию, спровоцировав тем самым очень сложные (а иногда и необратимые) изменения в ее образе жизни и нравственном самосознании. О стремлении русской предреволюционной интеллигенции *омораливать* практически все коллизии социально-гражданского бытия народа, подвергая их недвусмысленному этическому остракизму либо в духе учения Л. Н. Толстого о непротивлении злу насилием, либо еще того радикальней – с позиций марксистской идеологии, писали многие серьезные исследователи.

Однако, справедливости ради, нельзя не отметить, что мессианское отношение к морали или, еще более того, восприятие ее *сотериологически* как универсального средства спасения от торжествующего в мире зла не только отдельно взятой страны, но и всего человечества в целом, весьма характерно не только для нравственной психологии отечественной интеллигенции, но и в какой-то мере способно овладеть умонастроениями представителей самых разных народов и наций. Причины возникновения морализаторства чрезвычайно сложны и многообразны, и здесь мы не считаем возможным высказывать преждевременные суждения на этот счет. Тем не менее весьма любопытным представляется то, что, будучи в значительной степени уже изжитым русским национальным самосознанием, рецидив *моралистического* мировосприятия внезапно ожил и проявил себя в Америке XXI века, в среде наиболее влиятельных представителей современной политической элиты. Типологические параллели между умонастроениями русской радикальной интеллигенции начала XX столетия и этико-политической риторикой наиболее влиятельных политиков США начала XXI века, увидевших в новейших формах либерализма и демократии своего рода инструмент этико-политической дрессуры самых разных народов и государств, столь очевидны, что почти не нуждаются в соответствующих комментариях. Дух и стиль гениально исследованного Ф. М. Достоевским Фомы Фомича Опискина, несомненно, торжествует в современных политических реалиях; другое дело, что аналитика этих реалий рискует вырождаться в то же самое морализаторство, правда, гораздо более низкого качества, чем у творцов этических учений минувших эпох.

Замечательно писал по этому поводу Ф. А. Степун, один из виднейших мыслителей русского зарубежья: «Морализм – одна из наиболее распространенных форм ограниченности нравственного дарования и против него, как против всякой бездарности, ничего не поделаешь. Но одно дело – спорить против ощущений моралистов, и совсем другое – разрешать проблему морализма как таковую перед лицом общечеловеческой логики и своей совести» [Степун 1994: 267]. В любом случае для исследования этой чрезвычайно сложной проблемы явно необходимы усилия не одного поколения вдумчивых представителей этической теории, обладающих как необходимым бесстрашием мысли, так и стремлением вникнуть в существо дела без излишней предвзятости и ни к чему не обязывающих оглядок на авторитеты.

Между тем ответственно мыслящий этик не может не заметить, что причина морализаторства в значительной степени кроется в предметной доктринальности самой науки о морали как таковой, точнее в тех учениях о нравственности, которые и обрекают ее на заведомо ложное духовное положение, провоцируя тем самым неразрешимый конфликт между ценностями абсолютными и эмпирическими, Богом и человеком. Но почему же возникает эта столь часто встречающаяся в разного рода этических теориях гипертрофия моральной оценки?

Почему мораль способна обращаться против самой себя и в себе самой растворять свои же собственные ориентиры? Почему странным образом изменяет ей ее ценностный язык и извращается ее духовная воля?

Чтобы ответить на эти в полном смысле слова роковые для этики вопросы, необходимо не только радикально изменить устоявшиеся представления о морали, но и подвергнуть самому решительному пересмотру содержательные основания самой этической теории. По сути дела, именно этика XX столетия, вынужденная заново утверждать себя после Освенцима и Гулага, должна пережить полноценный опыт духовного очищения, выстрадать себя в беспредпосылочности своего нового мышления и в бесстрашии нравственного самоопределения. Только в этом случае она сможет возвратиться к своей предметности и творчески освоить ее, ибо, согласно существу вещей, «этика не есть кодификация традиционных нравственных норм и оценок. Этика есть дерзновение в творческих оценках» [Бердяев 1993: 31]. Серьезность этой теоретической ситуации очевидна для любого непредубежденного исследователя. Фактически здесь мы имеем дело, возможно, с самой радикальной гносеологической

апорией, в наибольшей степени отвечающей предметному содержанию этики как науки. Обобщенно она может быть сформулирована следующим образом: если этика нормативна по определению (т. е. рассматривает мораль как должное состояние человеческого бытия), то, стало быть, обосновываемые ею нормы по своим предметным характеристикам тождественны ценностям. Следовательно, нормативная этика парадоксальным образом изучает как раз именно то, что проповедует как истину, иначе говоря, анализ морали здесь имманентно становится и ее пропагандой, императивной как по способу действия, так и по существу убеждения. Очень глубоко осмыслил эту теоретическую драматичность этики русский социолог П. Сорокин в статье с характерным названием «Нормативная ли наука этика и может ли она ею быть?». Так, ученый, не обинуясь, отказывает этике в праве на нормативность, ибо только в таком случае она, по его предположению, действительно может претендовать на статус теоретической дисциплины: « ... Этика, как и всякая наука, не может быть нормативной, ибо нормативная наука – не есть наука, а может быть только теоретической, изучающей сущее, как оно есть. Этим объясняется, что большинство предыдущих систем морали, считавших своей целью приказывать и законодательствовать, вместо того чтобы давать законы реально совершавшихся явлений, не могли достигнуть существенных результатов и не могут представлять собой научную дисциплину» [Сорокин 1994: 239].

Столь однозначная категоричность выводов, по-видимому, тоже не вполне отвечает существу дела. Однако, на мой взгляд, ученый поразительно точно осмыслил этическую природу морализаторства, обнаруживающую себя, когда нормативы морали начинают обслуживать не земное бытие, не сущее, но область идеальных надчеловеческих долженствований, ставясь тем самым ее абсолютными ориентирами. Между тем, претендуя на абсолютность своих ценностей, мораль узурпирует прерогативы ей никак не принадлежащие, ибо по своим функциональным характеристикам она явно рассчитана на адекватную регуляцию «серединного бытия» (то есть сферы эмпирических отношений индивидов) и потому не может претендовать на всеобъемлющее управление высшими духовными процессами, равно как и подчинять их трансцендентной логике земную природу человека. Как и всякое дело рук людских, мораль, к величайшему сожалению, зачастую не только уклоняется от своего духовного предназначения, но и вообще сбивается с пути, блуждает, ошибается, а в наиболее зловещие периоды человеческой истории способна

переживать самые отвратительные падения. Поэтому безусловно доверие ко всем ее императивам без критического их восприятия не менее опасно для человеческого сознания, чем нигилистическая профанация этических абсолютов, в очередной раз провозглашаемых той или иной философской «системой». «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, – поучает царь Соломон, – но конец их – путь к смерти» [Притчи 14; 12].

Таким образом, несовершенное совершенство морали есть, если угодно, единственный реальный ее жизненный модус, с которым волей-неволей приходится считаться любому этику, независимо от его теоретических и духовных притязаний. Однако, выступая с такими обобщениями, я вовсе не проповедую никакого этического релятивизма. Ни в коей мере не покушаясь на ценностную суверенность морали, я всего лишь предлагаю признать, что в духовной подоснове ее содержится, по всей вероятности, некое трудноуловимое нечто, странным образом рассогласовывающее ее взаимоотношения с действительностью, с Богом и с человеком и тем самым невольно провоцирующее эффект морализаторства. Разумеется, как исследователь, я не могу не осознавать, что результатом такой этической установки неизбежно оказывается качественное изменение всей теоретической парадигмы. Так, для того чтобы сколько-нибудь приблизиться к ее осмыслению, следует решительно отказаться от традиционных констатаций спекулятивного или же нормополагающего характера, ибо, как явствует даже из первичных приближений, сама этическая радикализация данной проблемы требует принципиально иных решений. «Этика должна не только обосновывать мораль, но и изобличать ложь морали», – заявлял в свое время Н. А. Бердяев [Бердяев 1993: 33]. Более того, добавлю со своей стороны, этика обязана пытаться узреть источник этой лжи и отыскать способы ее пресечения на экзистенциально-духовном уровне бытия человека; через рациональную сферу его этической рефлексии и, наконец, в мировоззренческих обоснованиях нравственных коллизий во всей их духовной объемности.

Моралистические тенденции в русской нравственной философии. Что касается русской нравственной философии, то присущая ей устремленность к абсолютности этических решений, в равной мере характерная для различных ее представителей – от Л. Н. Толстого до коммунистов, – не может не свидетельствовать об ее несомненной моралистичности или, по крайней мере, не констатировать ее как данность. Думается, что к феномену морализаторства

в русской этической мысли и следует в настоящий момент относиться именно как к данности, то есть воспринимать его как нечто само собой разумеющееся и, так сказать, онтологически имманентное нашему отечественному менталитету как таковому. В любом случае вскрывать первопричины этого явления здесь явно не представляется возможным: даже для очень беглой его проработки необходимы специальные исследования этно-этического характера, требующие корректных и очень компетентных подходов к существу вещей. Однако на некоторые предварительные замечания на этот счет автор, по-видимому, должен решиться, иначе он рискует оказаться в классическом для русской культуры положении Ивана, родства не помнящего и живущего по принципу «иди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что».

Так, на мой взгляд, моралистичность русской этики обуславливается следующими обстоятельствами. Во-первых, на передний план, несомненно, выходит нравственная психология народа, извечно тяготеющего к прямолинейности этических решений (либо добро, либо зло, а третьему быть не дано) и любую жизненную ситуацию традиционно воспринимающего в аспекте ее морального содержания, без каких-либо далеко идущих сомнений по этому поводу. Эту в высшей степени характерную для русских способность омораливать практически все коллизии их существования отмечали многие серьезные исследователи – кто с крайним раздражением, а кто, наоборот, с позиций самой откровенной комплиментарности.

Не считая возможным подробно воспроизводить здесь все детали полемики на эту тему, как автор, все же предполагаю необходимым подчеркнуть, что в данном случае я вполне разделяю суждение известного русского историка Л. А. Тихомирова, смотревшего на эту проблему с простотой и честностью человека, слишком хорошо знающего Россию. «Этическое... настроение, – писал он в своей знаменитой работе «Монархическая государственность», – то есть предрасположение все явления жизни подчинять этике – характеризует современного русского ничуть не меньше, чем его отцов и дедов. Современные русские, несомненно, крайне развращены, так что об их этике может показаться стыдно и говорить. Но должно вспомнить, что это состояние “греховное”, а не возведенное в норму. Русский – сбился с пути, потерял рамки жизни, необходимые для воспитания, и вот почему он стал так деморализован. Но этическое начало в этом развратном человеке остается все-таки единственным, которое он в глубине сердца своего уважает. Простую нравственную

“дисциплину”, “дрессировку”, которую столь искренне ценят другие народы, он не уважает и доходит до совершенной деморализации. Именно потому в существе своей души он “этичен”, хочет непременно истинного чувства, и если его не находит, то отворачивается от всяких утилитарных подделок. Но пока душа русского такова – он не может быть способен искренне подчиниться какой-либо верховной власти, основанной не на этическом начале, а потому он не способен признать над собою власть ни аристократии, ни демократии» [Тихомиров 1992: 406].

Можно, конечно, не разделять политологических констатаций Тихомирова, но духовная достоверность его положений не вызывает никакого сомнения. Обобщенно их можно сформулировать следующим образом: каждый, кто хочет быть понятым в России, рано или поздно будет поставлен перед необходимостью этизировать свою духовную задачу, утверждая ее как единственное средство спасения мира и человека, народа и государства. Вполне естественно, что и сама мораль, воспринятая таким образом, с роковой неизбежностью становилась сотериологической, что, в свою очередь, не могло не повлечь за собой принципиальных изменений в общем статусе отечественной этической теории, неоправданной гипертрофии ее за счет иных направлений философской мысли. Именно русская нравственная философия и явилась исключительно сильным и духовно значительным источником моралистического мироощущения народа, поскольку религиозное отношение к морали здесь внутренне дополнялось гетерономией (чужезаконностью) этического мышления, трактующего нравственность не как автономную сферу эмпирического бытия человека, но как ценностный коррелят разного рода онтологических закономерностей метафизики, мистики или же (как было совсем в недавнем прошлом) перспектив общественного развития. Поэтому практически любое направление мысли здесь так или иначе предопределяло себя как моралистическое, то есть рассматривающее действительность преимущественно с этической точки зрения – и в плане вынесения ей духовного приговора, и пропагандирования весьма радикальных в нравственном смысле возможностей ее преобразования.

И, наконец, моралистическая содержательность философской теории не может не свидетельствовать о предельно этизированном сознании самих ее творцов, для которых именно мораль была основной духовной темой их мирозерцания, их религией и «исповеданием веры», их *existentia et essentia*. Пожалуй, только в России

возможно, подобно Толстому, переживать экзистенциальную утрату смысла жизни, оканчивающуюся в итоге поиском абсолютной общечеловеческой нравственности. Или же, наоборот, как Вл. Соловьев, устремляться к воссозданию целостной духовно-эмпирической онтологии мироздания, оборачивающейся в конце концов безусловной декларацией ее этического содержания. Или, как русские теософы, обещать посвятить человека в сокровенные тайны бытия и вместе с тем грозить ему же жесточайшими нравственными карами только за то, что он рискнул усомниться в их достоверности. Или же (что еще того радикальнее), как адепты коммунистической идеологии, предрекать изменение социальной картины мира и по мере достижения этого объявлять моральным врагом нового общества каждого, кто почему-либо оказался вне этого жизненного уклада. Словом, имеем ли мы дело в отечественной культуре с духовной экзистенцией индивида, или с его теоретической рефлексией, или же, наконец, с его мистическими озарениями, на поверку они так или иначе оказываются моралистическими, ибо везде, независимо от умонастроения того или иного авторитета, торжествует диктатура моральной оценки, с категорической непреложностью воздвигнутая над миром и человеком. Объясняется ли это обстоятельство практическим отсутствием в русской культурно-исторической традиции автономного субъекта морали, чей нравственный выбор обладал бы универсальной этической императивностью и вследствие этого не зависел бы ни от жизненных обстоятельств, ни от той или иной социальной доктрины; или же причиной тому были совсем другие явления (к примеру, метафизика и мистика православия с их однозначной устремленностью к горнему миру и отчетливо явленным пренебрежением к миру дольнему и возможностям его позитивного социально-практического устройства), но нельзя не признать, что слишком многие русские мыслители, часто независимо от индивидуальных умонастроений и критического восприятия воззрений друг друга, демонстрируют поразительную общность этических подходов – вплоть до буквальных совпадений по принципиальным вопросам.

Морализм и морализаторство в контексте современной информационно-гражданской войны. Информационная гражданская война, несомненно, имеет место и в современной России. Ее истоки тоже уходят корнями в историю нашей страны. И они, так или иначе, связаны с проблемой взаимоотношений между Россией и Западом (сначала с европейскими странами, а затем вкупе с ними и с США).

Одним из первых проявлений информационной гражданской войны в России можно считать знаменитую переписку между царем Иоанном Грозным и Андреем Курбским – бывшим его приближенным, ярославским князем, перешедшим на сторону Великого княжества Литовского. Следующим важным этапом информационной гражданской войны на Руси были реформы патриарха Никона, которые привели к церковному расколу в стране, имевшему далеко идущие последствия. Исторический парадокс заключается в том, что старообрядцы, ратовавшие не только за чистоту веры, но и за сохранение национальных традиций, материально поддерживали леворадикальные движения, которые в конечном счете свергнули ненавистную власть и уничтожили те самые традиции и веру, за которые старообрядцы так неистово боролись. Разумеется, главным моментом явного или скрытого гражданского противостояния в России, сопровождаемого соответствующими пропагандистскими акциями, были реформы Петра Великого и последующие за ними события. Через сотню лет после смерти первого российского императора стало формироваться идейное противостояние между западниками и славянофилами, двумя крылами русской интеллигенции. «Герцен говорил о западниках и славянофилах того времени: “У нас была одна любовь, но не одинаковая”. Он назвал их “двуликим Янусом”. И те и другие любили свободу. И те и другие любили Россию, славянофилы, как мать, западники, как дитя. Дети и внуки славянофилов и западников уже разойдутся настолько, что не смогут спорить в одном салоне. Чернышевский еще может сказать о славянофилах: “Они принадлежат к числу образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе”. Но его уже нельзя себе представить в споре с Хомяковым» [Бердяев 1990: 76]. Действительно, второе и третье поколения западников и славянофилов все дальше отходили друг от друга, превращаясь из идейных оппонентов в откровенных политических и личных врагов. В этой борьбе перевес оказался на стороне западников, чьи идеи проникли в народные массы, утомленные Первой мировой войной. Г.П. Федотов писал: «К 1917 году народ в массе своей срывается с исторической почвы, теряет веру в Бога, в царя, теряет быт и нравственные устои» [Федотов 1991: 99]. Вспомним в этой связи злобную тираду Мышлаевского из булгаковской «Белой гвардии» по поводу «мужичков-богосцев Достоевских» [Булгаков 1966: 131]. Если брать эмпирический пласт современной народной жизни, то есть достаточно оснований для горьких констатаций. Г.П. Федотов вслед за Н.А. Бердяевым

предсказывал грядущее обуржуазивание русского народа: «Гибель коммунизма, можно думать, не только не остановит, но еще более подвинет этот рост буржуазного сознания. Интеллигентские “идеи” находят свою настоящую... почву: в новом мещанстве. Тем самым вековое противостояние интеллигенции и народа оканчивается: западничество становится народным, отрыв от национальной почвы – национальным фактом» [Федотов 1991: 99–100].

Хрущевская «оттепель» родила новый этап противостояния в среде интеллигенции: родилось диссидентское движение, откровенно западническое и подкармливаемое Западом. Возникли новые формы идеологического воздействия на умы людей в виде «самиздата», которые, несомненно, оказали свое разрушительное воздействие на многие шаткие умы среди интеллектуалов и, главное, правящей партийной верхушки. Горбачевская перестройка явилась апофеозом этой тенденции. К чему это привело, всем хорошо известно.

Краткий экскурс в историю идейных противостояний в нашей стране говорит о том, что цена их – существование нашего государства, цивилизации и культуры. Почему же она столь высока? Как мы попытались показать на примере этических учений Л. Н. Толстого, В. С. Соловьева, русских теософов и коммунистов, зараженных вирусом морализаторства, возводивших мораль в некий абсолюте, компромиссы, консенсус, даже попытки хотя бы слушать друг друга у идейных противников полностью отсутствовали. Если взять, к примеру, современных «западников» и «патриотов», то они сами и их доктринерство, как это ни парадоксально, без наличия самой социально-политической и социокультурной доктрины, опять же страдают крайними формами морализаторства, которое не позволяет им трезво оценить самих себя и свои подходы к истории и культуре нашей страны. Поэтому они содержат в себе огромный потенциал разрушения. Претендуя на спасение России, они в действительности обрекают ее на медленное умирание или катастрофическую гибель.

2.3. Моралистическая деструкция геополитических и цивилизационных противников в исламистской идеологии

В данной статье мы рассмотрим пример влияния морализма на формирование этоса, оформленного в виде радикальной религиозно-политической идеологии и конструирования в рамках данного этоса образа объективированного врага. Этот пример связан с экстремистским движением исламизма, или радикализированного и превращенного из богатой духовной традиции в моралистически схематичную и формально-логически структурированную идеологию, апеллирующую к священным текстам и богословию ислама. Анализ моралистически структурированного этоса начнем с вопроса об актуальных трансформациях экстремистской идеологии в среде исламистов (под которыми мы подразумеваем в первую очередь глобальных джихадистов). Каким образом за последние годы мирозерцание исламистского движения изменилось, как поменялись его базовые мировоззренческо-идеологические и тактические установки?

Следует отметить, что объективные условия, в которых существуют экстремистские движения, достаточно быстро изменяются – современный глобализированный социум стремительно переходит к стадии социального бытия, теряющего свойства устойчивости, предсказуемости и определенности процессов. Современные тенденции структуризации и оформления целых сегментов рискогенной среды в виде социально узаконенных институтов (финансовые биржи, экспертные системы, «абстрактные системы», повышающие как степень комфорта, так и уязвимость городской среды и пр.) [Гидденс 1994: 114] и слабая управляемость социальными процессами на национальном уровне в связи с воздействием глобальных политических и экономических факторов могут быть обозначены в качестве социально-турбулентных процессов.

В мировоззренческой сфере и идеологии турбулентность проявляется в размывании цельности религиозных систем и возникновении множества сектантских и радикальных трактовок на осколках духовной традиции. Для новых религиозных и псевдорелигиозных субкультурных движений часто свойственна семиотическая мимикрия, выступающая в качестве метода конструирования собственной доктрины и культурной традиции [Чудинов 2016: 131–132].

В этом случае интенции по преодолению социально-турбулентных тенденций и духовно-культурного нигилизма западной цивилизации соединяются с пересозданием духовной традиции ислама, ее превращением в псевдорелигиозную идеологию принудительного политического порядка, выступающего альтернативой модели глобализированного социума. Эта идеологическая система построена на выделении некоторых религиозных категорий ислама и превращении их в доминантные идеологемы, только по форме напоминающие традиционные понятия. К примеру, в среде радикальных современных салафитов и в идеологии «Исламского государства» (ИГ)¹ исламское понятие «хиджра» приобрело значение бескомпромиссной сегрегации «истинноверующих», отделения их от любых форм современного общества, трактуемого в качестве тотально секулярного в мусульманских странах. На деле это означает призыв к переселению на территории Ближнего Востока, захваченные экстремистами с целью поддержки их дела. Ранее, в XX веке, подобную реинтерпретацию понятие «хиджра» претерпело в идеологии экстремистского движения М. Шукри, отколовшегося от «Братьев-мусульман»² и продемонстрировавшего как в теории, так и на практике крайне сектантскую и враждебную обществу форму мировосприятия.

Для исламистского движения в целом (исповедующего идеологию, которая превращает исламское вероучение в радикальный религиозно-политический дискурс) характерна своеобразная имитация и прочтение модели тактики Пророка Мухаммада по обращению языческого арабского мира в ислам. Эту модель можно обозначить как «уход – возврат». На протяжении всей истории арабо-мусульманской цивилизации она в различных вариациях симулировалась различными политическими движениями. В среде экстремистов она воспринимается как поэтапная практическая программа действий по приведению общества и государства к «нормативной» социально-политической модели.

Современные вариации модели «ухода – возврата» получили свою реализацию, в частности, в идеологии ИГ. Это движение после провозглашения «халифата» на занятых экстремистами территориях Ирака и Сирии в своей пропаганде стало активно позиционировать последние в качестве единственно подлинной «земли ислама»,

¹ Запрещенная на территории Российской Федерации террористическая группировка.

² Там же.

переселение сюда было объявлено обязанностью подлинных мусульман. В этом случае модель сегрегации «истинноверующих», еще обоснованная идеологом наиболее воинственного крыла «Братьев-мусульман» С. Кутбом (на базе разделения возрождающегося исламского общества («авангарда» современного ислама) и джихалийского социума, куда относились не только западные, но и мусульманские общества, испытывавшие секуляристские тенденции), начинает мыслиться в подлинно глобальном масштабе как создание единственного оплота перед мировым духовным нигилизмом. Однако это подразумевает окончательный разрыв с любыми наличными формами государственности и общества, а также безжалостную конкуренцию между экстремистскими группировками за статус представителя «нормативной» модели общества (между ИГ, Аль-Каидой и ее «филиалом» «Джабхат ан-Нусрой»¹, другими вооруженными оппозиционными группировками в Сирии).

Еще одна характерная черта мировосприятия, которая свойственна идеологии ИГ и, соответственно, становится важным стимулом его практической деятельности, – это свойственная в целом исламистскому религиозно-политическому сознанию актуализация и доминирование эсхатологической компоненты. При этом на новом витке эволюции исламизма и глобального джихадизма эта особенность приобретает более полное раскрытие в виде эсхатологическо-апокалиптического мировоззрения.

Следует заметить, что для традиционного ислама характерен устойчивый баланс между «срединностью» (ориентацией на земные ценности) и эсхатологизмом (упованием на осуществление трансцендентальных ценностей и предельных смыслов, раскрывающихся в ракурсе истории как завершающегося континуума, переходящего в метаисторический апокалипсис и жизнь вечную). Поэтому тот идеал, который заложен изначально в сердцевину ислама, а именно утверждение господства религиозного закона в имманентном мире, уже в этой жизни, неразделен с упованием на блаженную жизнь в вечности. В исламе подчеркивается справедливость воздаяния за действия человека, которые обретают свою соразмерную награду (или же наказание) как в этой, земной жизни, так и в последующей (где праведные деяния вознаграждаются многократно по милости Божией).

¹ Все перечисленные в данном предложении организации запрещены на территории Российской Федерации в качестве террористических группировок.

В экстремистском сознании, построенном на симуляции религиозных категорий и реинтерпретации их в радикализованном и политико-идеологизированном ракурсе, эсхатологизм занимает ведущее место. Разбалансированность мировоззренческой картины мира, ее наполненность воинствующими идеологемами приводит к апологии крайних форм насилия и даже к таким специфическим разновидностям экстремизма, как террористические акты с участием смертников, которые с началом развития джихадистского движения в Ираке (после военной кампании и временной оккупации США в 2003 году) стали настоящей террористической «эпидемией» на Ближнем Востоке.

Важным идеологическим сдвигом в исламистском движении стало восприятие лидерами и последователями ИГ его геополитического проекта в качестве «халифата» последних времен. Ранее экстремистским исламистским движениям глобального масштаба не была присуща вера в близкий Апокалипсис и мессианизм, но скорее царил убежденность в возможности противостояния глобальному врагу (мировой *джахилийе*) и возрождения цивилизации ислама. В частности, для идеологов «Аль-Каиды» при руководстве У. бен Ладена, мироустроительный мотив (в «позитивной» части их политической программы) в виде реставрации всемирного халифата и учреждения всестороннего господства религиозного закона был доминирующим и исчерпывающим. Этот проект по большому счету можно расценивать как политический по своему характеру и отчасти хилиастический, поскольку он был нацелен на учреждение социально-утопического идеала в ближайшем будущем, что отчасти воспринималось как стабилизация социально-турбулентных процессов и приведение социально-политической реальности к «нормативному» состоянию. Последнее мыслилось возможным в виде возврата социального бытия к его изначальным метафизическим основаниям, под которыми подразумевалось соответствие Божественной Воле, выраженной в неизменном религиозном законе, который способен объединить Божественное и человеческое начала социальности.

В идеологии ИГ, которая в зародыше уже проявлялась в джихадистском мирозерцании Абу Мусаба аз-Заркави (основателя так называемой «Аль-Каиды в Ираке»), напротив, акцент в трактовке социально-политического идеала поставлен в сторону эсхатологическо-апокалиптической компоненты исламистского мировоззрения (более подробно см. [McCants 2015]). Восстановление религиозно ориентированной государственности в современном мире,

отказавшемся в публичной сфере от духовных ценностей, в интерпретации адептов ИГ представляет собой скорее не длительный исторический и цивилизационный проект (хотя надежда на это также присутствует), но предвестника свертывания мировой истории и наступления окончательной исторической катастрофы и метаисторического Суда, где произойдет наиболее полное и явное отделение мира неверия от мира куфра (истинноверующих от лицемеров, неверующих и идолопоклонников). При этом борьба «воинов джихада» ИГ – это лишь приуготовительное разделение этих двух миров, начальная его стадия.

Устремленность к глобальному сражению между исламом и его врагами как предвестнику апокалиптических событий и финальному торжеству истинной веры – новое в идеологической системе исламистов. В пропаганде ИГ этот компонент формирует достаточно притягательную для радикально настроенной молодежи мотивационную основу. Локальный военный конфликт в этом свете превращается в финальную историческую битву и проявление вселенской борьбы между добром и злом.

Во всех этих трансформациях идеологических установок воинствующих исламистов сохраняется неизменным один компонент – объект врага. Следует отметить, что этот объект имеет полиморфный характер. Враги исламистов подразделяются на внутренних и внешних противников. Ко внутренним относятся все не-салафитские течения ислама, включая суфизм; традиционные богословские школы (такие как ашаризм, матуридизм); официальные административные структуры традиционного ислама (духовные управления и пр.), в той или иной степени сотрудничающие со светскими властями. Внешний враг – это социальный мир *куфра* (неверия) и *джахилийи* (духовного невежества), а именно все светское общество и последователи других конфессий, даже включая «людей Писания» – иудеев и христиан. Если переходить на уровень цивилизационных единиц, то цивилизация секулярного Запада, пожалуй, стоит на первом месте в списке внешних врагов исламистского движения.

Цивилизация Запада в идеологических сочинениях исламистов и пропагандистских материалах изображается в виде окрашенного в моралистические тона образа. Некоторые замечания относительно опыта ее исторического развития и взаимодействия с другими цивилизациями носят характер вполне справедливых упреков (колониальное подчинение других народов, навязывание бездуховной массовой культуры и пр.). Однако в основном оценки ценностных

и культурных оснований цивилизации-противника носят упрощенный характер. Более того, в идеологическом сознании и пропаганде воинствующих исламистов цивилизация Запада подвергается целенаправленной моралистической деструкции. Во-первых, она воспринимается относительно монолитной по своим ценностным основаниям и культурному содержанию, несмотря на то, что в XX веке и в последующую эпоху турбулентности ее разрывают противоречивые тенденции и сама она состоит из различных цивилизационных центров и культурно гетерогенных единиц. Во-вторых, ее ценностные установки воспринимаются как враждебные и диаметрально противоположные «истинной вере», даже в части ее христианских истоков.

Классик идеологии исламизма А.А. аль-Маудуди еще в начале XX века заявлял, что западная цивилизация представляет собой «чистое безбожие», и приводил ее характеристику в качестве общества, которое полностью предало забвению религиозные понятия о жизни после смерти, страха перед будущим воздаянием за дела и поступки в земной жизни, отсутствие высших целей (которые якобы заменены на чисто «животные устремления») [Маудуди б. г.].

Как известно, С. Кутб относил западную цивилизацию целиком к миру *джахилийи* (духовного невежества) и считал западные государства и светские режимы в арабском мире, копирующие европейские политические институты, «материальным препятствием» для распространения ислама, которое возможно и даже необходимо преодолевать с помощью «наступательного джихада» (вооруженной борьбы). Причина неизменной и изначальной враждебности Запада исламу прежде всего связывается с несовместимостью светского образа жизни, распространяемого западной цивилизацией, и религиозной системой ценностей, лежащей в основе цивилизации ислама. Частым общим лейтмотивом в исламистских сочинениях различных идеологических направлений является обвинение западной цивилизации в искажении собственных духовных основ еще со времен раннего христианства. Утверждается, что учение Христа было искажено его последователями, в первую очередь апостолом Павлом [Кутб 2012].

Впоследствии идеологическое обоснование деятельности транснациональных террористических сетей глобальных джихадистов (таких как Аль-Каида и др.) опиралось на идею «дальнего врага» (западной цивилизации), победа над которым мыслилась в качестве первой необходимой ступени к реисламизации мусульманских

обществ и внедрению исламистской модели социально-политического порядка.

Современная идеология салафитского ислама, распространяемая через социальные сети и мессенджеры, в большей степени ориентирована на моралистическое развенчание представителей традиционного, не-салафитского ислама и мусульман, отчасти следующих светским стандартам жизни в качестве отступников от подлинной веры и неверующих. Центральной в данном контексте выступает концепция «дружбы и непричастности», которая учит тому, что любое уподобление представителям неисламской культуры ведет к неверию и выходу из ислама. Согласно этой концепции мусульманину запрещается участвовать в праздновании Нового года и других (светских) праздников, не связанных с мусульманской традицией; уподобляться светским людям и представителям неисламских культур в одежде и внешнем облике; дружить с ними и иметь какие-либо другие доверительные отношения. Более того, в качестве морального императива утверждается проявление вражды ко всему неисламскому социальному окружению. Согласно данным идеологическим установкам только полный разрыв связей с миром духовного невежества (*джахилийи*) способен привести к возрождению исламской цивилизации. А это предполагает жесткую моралистическую селекцию, имеющую под собой опасную религиозно-юридическую логику: тот, кто отказывается обвинять другого в неверии и отходе от истинной веры, становится сам неверующим. Таким образом, круг «своих», последователей «чистой» веры в Единобожие, крайне сужается. Таким образом, образ внешнего врага и образ внутреннего врага в значительной мере сливаются, а социальное окружение узкой группы «истинно верующих» обретает черты тотально деградирующего общества.

Ранее рассмотренная нами трансформация идеологии глобальных джихадистов в лице ИГ с его эсхатологическо-апокалиптическим мировосприятием современной геополитики показывает неудачи в борьбе экстремистских течений исламизма с «дальним врагом». Следующим этапом идеологической интерпретации ситуации кризиса исламской цивилизации стало углубление исторического пессимизма и провозглашение близости конца истории в качестве ответов на вопрос, почему же «божественно установленный порядок» в том виде, как он мыслится воинствующими исламистам, не учреждается. В данном случае Запад сохранил в системе идеологических координат исламизма значение первостепенного врага,

но был переоценен моралистически в качестве соперника в условиях скорого апокалиптического крушения мира человечества в целом.

В условиях социально-турбулентных процессов мусульманские общества испытывают серьезную проверку на прочность. Они подвергаются испытанию не только в сфере общественной и государственной безопасности со стороны угрозы терроризма, но также и социокультурной безопасности – со стороны радикальных идеологических течений, осуществляющих апологию экстремистской деятельности на основе реинтерпретации некоторых компонентов и религиозных категорий исламской духовной традиции, нацеленной на противостояние наступлению глобального нигилизма. Эпоха турбулентного общества действительно скрывает в себе угрозу разрушения цивилизационных основ социального бытия, однако адекватное противостояние этим тенденциям может опираться только на аутентичную духовную традицию и традиционную религиозную культуру, которым присуща «срединность» и сбалансированность. При этом для действенного ответа на глобальные вызовы современному исламу следует быть парадоксальным образом как консервативным, так и «современным», т. е. неукоснительно придерживаться традиции, но быть способным к сбалансированной богословской оценке новых реалий и своевременной реакции на социальные изменения. Идеология исламизма представляет собой крайнюю моралистическую реакцию на политическую и культурную экспансию современного Запада и олицетворяет собой тактику моралистической деструкции геополитического соперника, применяемую на фронтах информационных войн.

2.4. Моральный аспект американского этоса

Соединенные Штаты Америки, позиционирующие себя оплотом демократии и свободы, действительно вполне могут считаться таковыми. Права и свободы граждан подробно задекларированы в Конституции страны и вполне реализованы. Американцы горды тем фактом, что предстают среди мировой общественности как свободная нация: любой гражданин имеет право на свободу слова,

вероисповедания, собственности и др. Америка знала немало случаев, когда обычные среднестатистические граждане подавали в суд на крупные компании или политических деятелей и вполне успешно выигрывали дела. Однако если посмотреть на ситуацию несколько с другого ракурса, то нашему взору предстанет огромное количество судебных решений, поражающих своей суровостью и временами жестокостью – когда за неосторожные слова обычным гражданам приходилось выплачивать немислимые по своему размеру штрафы или отбывать многолетние или пожизненные наказания за совершенные проступки, причем такие наказания не всегда несут юридическую подоплеку, но тем не менее провинившегося вынуждают отказаться от занимаемой должности или привычного окружения. Так, взглянув на обратную сторону американской демократии, закономерно возникает вопрос: с чем же связана такая чрезмерная беспощадность и суровость, царящая временами в американском социуме, не приемлющем прощения за многие поступки, не являющиеся настолько вопиющими с первого взгляда?

Предполагаем, что своими корнями сложившееся положение вещей уходит глубоко в пуританизм, оказавший огромное влияние на религиозные воззрения американцев, а именно в период сильнейших гонений на пуритан, составлявших костяк американской нации, которые начались в период правления в Англии Карла I, превзошедшего своих предшественников при введении новых репрессивных мер в отношении пуритан – Марию Тюдор (Кровавую), Елизавету I и Якова I. Именно в период его правления большинство пуритан было вынуждено переселиться в Америку, они заняли территорию на северо-востоке континента, которая была названа Новой Англией. Являясь ветвью кальвинизма, пуританизм не мог не вобрать в себя его идейных ценностей, удивительным образом распространившись практически на всех членов американского общества и во многом детерминировав их поведение, независимо от их вероисповедания. Равно как и кальвинисты, пуритане считали себя «богоизбранным народом». В частности, речь идет о людях, которые считаются как среди кальвинистов, так и пуритан «богоизбранными», или «спасенными», однако суть «спасения» тех и других в корне отличается. Кальвинист считается отмеченным особой Божьей «меткой», если в жизни ему сопутствует успех, он обладает материальным благополучием и деньгами. Пуританин же достоин спасения лишь по воле Божьей, поскольку Бог обладает абсолютной властью, хотя, безусловно, это не снимает ответственности с человека. Для того чтобы

считаться «спасенным», необходимо доказать свою избранность, которая определяется тем, насколько «святой» образ жизни ведет человек, и далеко не каждый, в конечном счете, может считаться таковым. «The number is comparatively small who maintain a divine right for either system of church organization» (Число тех, кто имеет божественное право на какую-либо систему церковной организации, сравнительно мало) [Fisher 1881: 335]. И, пожалуй, наиболее отличительным свойством, во многом предопределившим дальнейшее развитие и функционирование американского этоса, явилось то, что человек не может оправдать свои грехи и вымолить для себя прощение своими праведными поступками. «Единственный выход для него (грешника. – Ю.П.) – это отвернуться от себя и повернуться к Богу, который действительно может спасти. Все пути назад отрезаны. Сам человек не может себе помочь. Его надежда – воззвать к Богу и просить о милости. И милосердный Господь никогда не прогонит тех, кто приходит к Нему с верой» [Халз 2012: 138]. Так, пуританизм продвигал идею о ковенанте – особом божественном договоре между Богом и людьми. Пуритане были убеждены в том, что Бог заключил с ними особый договор, в соответствии с которым людям предписано жить на земле. Сущность ковенанта заключалась в том, чтобы верующий мог засвидетельствовать свое почтение к Богу и к вере. Самодисциплина и постоянный контроль над собой спланивали всех пуритан и работали на приобщение их к вере. Как раз такая преданность Богу и выступала в качестве принципа общественной морали, которая явилась главным отличительным качеством пуританизма, хотя морализм и присущ протестантизму в целом.

Такая его особенность просматривалась еще в философии Канта и Гегеля. Например, в «Жизни Иисуса» у Гегеля [Гегель 1975], которая как бы следует евангельским сюжетам, убраны все чудеса, которые творил Христос. Кант, объявив мораль автономной, то есть независимой от эмпирической природы человека и Бога, также поставил ее выше Бога, поскольку у него Он тоже подчиняется категорическому императиву. В «Религии в пределах только разума» [Кант 2012] Кант придает морали значение юридического закона, за нарушение которого должны следовать санкции, то есть наказание со стороны государства. В этой абсолютизации морали прослеживаются мотивы, схожие с пуританизмом.

Протестантизм, по сути дела, свел христианство к морали и отбросил метафизику христианства, что противоречит его духу. Христос говорил, что Он пришел спасать грешников, а не праведников,

которые спасутся своей праведностью. Спаситель понимал, что очень часто для того, чтобы пробудилась совесть и открылся Бог, человеку нужно сильно согрешить, даже совершить преступление. Подтверждение этому мы находим у Ф. М. Достоевского, внемлющего словам Всевышнего. Его философские размышления наполнены этими смыслами: «Именно в падшести человека Достоевский, вопреки всем и всему, а главное фарисействующей морали, декларируемой слишком многими социальными институтами, увидел единственную возможность его духовного спасения, и в этом откровении о путях человека в мире “горнем и вышнем” он действительно был, быть может, единственным подлинным провозвестником значения христианской сотериологии в эпоху все более и более ветшающего земного жизнеустройства» [Соина, Сабиров 2015: 17]. Младенец считается невинным, поскольку для него не существует моральных принципов, навязанных обществом. Однако по мере взросления человек вступает на путь освоения морали, когда ему необходимо следовать общественным нормам и принципам. Тем не менее у человека всегда есть право выбора добра или зла, соблюдения нормы или ее нарушения. Неповиновение, в свою очередь, предстает в качестве искушения, которому подвергается человек, не соблюдающий моральные нормы. Но в то же время, не нарушая их, невозможно понять, что есть добро и зло в этом мире, к каким моральным принципам и к какой вере стоит стремиться. Именно таким образом и открывается онтологическая глубина мира, где возможно раскаяние и покаяние, на основе чего человек приходит к Богу и становится нравственным не по принуждению, как в пуританизме, а свободно.

Пуританизм же, может быть, и следует букве христианства, однако, как было сказано ранее, противоречит его духу. Христос прощает и спасает покаявшегося разбойника. Пуританизм же добивает оступившегося человека, поскольку тот нарушил моральную норму и стал вне избранных, а значит, он обречен на погибель. Так, если в православии высшей ценностью выступает покаяние, то в пуританизме – моральность. Кроме того, отличительной чертой именно «пуританской морали» стало как раз то, что человек, по сути дела, не имеет права выбора между добром и злом, поскольку ему не представится возможности покаяться и хотя бы частично искупить свои грехи. Такое положение вещей приравнивает мораль к святости, то есть к тому, что нельзя нарушать ни в коем случае.

Таким образом, с нашей точки зрения, в пуританизме осуществляется подмена духовного добра и духовного зла, сопряженных

со спасением или гибелью души в вечности, с добром и злом как моральными понятиями, регулирующими поведение человека в обществе. Проблему соотношения духовного и морального добра и зла всесторонне проанализировали в своей монографии В. Ш. Сабилов и О. С. Соина [Сабилов, Соина 2010: 343–356]. Там же, где происходят такого рода подмены, неизбежно возникает релятивизация моральных норм, ценностей и смыслов, а также моралистическое восприятие жизни, людей, их поступков и человеческих качеств.

Так, к примеру, в американском обществе весьма распространен феномен доносительства, уходящий корнями именно в пуританскую традицию. С самого детства американцам закладывается в сознание установка на то, что для поддержания порядка в обществе необходимо и абсолютно правильно с моральной точки зрения доносить на своих близких, соседей, коллег, и в этом нет ничего зазорного. Это обстоятельство отражается в языковой практике: американскими эквивалентами понятия «донос» выступают такие слова, как *reporting* или чаще – *informing*, что означает просто информирование, донесение или сообщение нужной информации. Так, считается, что при доносе на своего коллегу, совершающего аморальные поступки или берущего на себя несвойственные ему функции, совершается благое дело для процветания компании или для того, чтобы начальство своевременно приняло необходимые меры для урегулирования возникающих вопросов и конфликтов. В этом плане нетрудно убедиться в том, насколько отличается менталитет американцев, к примеру, от менталитета русских, для которых донос всегда считался низким и подлым поступком с моральной точки зрения.

Американский этос в целом, представляя собой своеобразный и уникальный феномен, как раз обладает ярко выраженной моральной природой, поскольку там морали до сих пор придается преувеличенное значение с далекоидущими последствиями для отдельных индивидов. Все, кто, по мнению американцев, поступает неподобающим образом, ведут себя аморально, а морально «нечистый» человек не может и не имеет права находиться в сообществе других людей.

Хотя, казалось бы, произошедшие в США «сексуальные» и «кухонные» революции должны были максимально раскрепостить моральные нравы, и, на первый взгляд, они далеки от тех, которые господствовали в американском обществе в прошлом и позапрошлом веках. Об этом можно судить, в частности, обратившись к роману Н. Готорна «Алая буква» [Готорн 2011]. Разумеется, никакой суд в настоящее время не приговорит мать-одиночку к тому, чтобы стоять

перед толпой на позорном помосте, как это произошло с Эстер Прин, и не заставит носить в качестве клейма алую букву на своей одежде. В современном американском обществе многое из того, что было ранее под запретом, стало дозволено: секс до брака, возможность родить ребенка, не вступая в законный брак, однополые отношения или браки. Однако смеем предположить, что никакой сексуальной революции в Америке, по сути дела, не было. Безусловно, были предприняты некоторые попытки, но принципы пуританской морали довлеют над всем американским обществом абсолютно так же, как это было при первых пуританах. Американское общество продолжает оставаться загнанным в некие «моралистические» рамки, которые сейчас, как, впрочем, и раньше, четко регламентированы юридическими законами или же негласными нормами. Бесспорно, что, к примеру, сексуальная связь с несовершеннолетними карается законом практически во всем цивилизованном мировом сообществе. Что касается супружеской измены, то она до сих пор остается одним из самых тяжких «моральных» грехов, хотя и не является уголовно наказуемым преступлением. Тем не менее общественное мнение в США и моральное преследование уничтожают гораздо сильнее преследования в рамках закона. Так, изменившая сторона, особенно занимающая видное общественное положение, лишается всего – семьи, друзей, карьеры, поскольку само общество просто не допустит больше присутствия в публичной политике такого общественного деятеля. Американская политическая история знает немало таких примеров. Тогда естественным образом напрашивается вопрос: что же, по сути, изменилось в обществе по отношению к супружеской измене, если она, как и много лет тому назад, находится под тяжким гнетом «пуританской морали»?

Как нам кажется, изменилась лишь формальная сторона преследования изменщика/изменщицы. Теперь это не осуществляется в рамках закона, поскольку каждый, согласно Конституции, обладает якобы правом на свободу слова и действий. На самом же деле ничего, по сути дела, не изменилось. Равно как и Эстер Прин, только не такими радикальными способами, изменивший супруг или супруга, подвергаются тотальному осуждению со стороны общества. История американской нации помнит пример с президентом Б. Клинтонем, которого уличили в интимных отношениях со стажеркой президентского аппарата Моникой Левински. Данная связь, которая явилась дичайшим нарушением моральных норм, очень сильно подорвала репутацию президента и всей Демократической

партии США: в третий раз за всю историю США поднялся вопрос об импичменте.

А. Токвиль также описывал в своем труде «Демократия в Америке» ситуации, касавшиеся вынесения приговоров политическим деятелям и должностным лицам. В его словах о том, что «именно мягкость американских законов в политической области придает им особенно грозный характер» [Токвиль 1992: 274] заключается большая доля истины. В отличие от Европы и ее суровых приговоров, Америка лишала политического противника власти, формально оставив ему жизнь и свободу. Однако фактически это означало его полное уничтожение в обществе ввиду его запятнанной репутации.

Так американцы перенесли принципы пуританской морали в свою повседневную жизнь. Любой человек, проживающий в США, начинает проникаться этими нормами поведения, независимо от своего происхождения и вероисповедания. Пуританская мораль перестала быть частью веры на пути к спасению, тем принципом, которому следовали верующие на пути очищения и спасения Господом Богом. Пуританскую мораль сами же американцы превратили в средство в конкурентной борьбе. Человека, которого необходимо уничтожить как противника в бизнесе или политике, толкают на то, чтобы он нарушил моральные нормы, или зачастую выискивают компрометирующие ситуации из его прошлого. Супружеская измена или другие сомнительные моменты в репутации человека, особенно связанные с преступным миром, могут полностью уничтожить противника, перекрыв доступ в высшее общество, тем самым ликвидировав его бизнес и оставив без средств существования, без связей и без возможности возобновить свое дело или обзавестись новыми связями и знакомствами, поскольку мораль, сведенную к святости, нарушать ни в коем случае нельзя. Именно такой вырисовывается моральная природа американского этоса, обладающая уникальностью, с одной стороны, но в то же время, будучи приравненной к непоколебимой святости, лишённая сострадания, любви и благодати по отношению к ближнему.

Обратимся к яркому примеру морализаторства, каким служит вся жизненная ситуация Фрэнка Каупервуда в романе Т. Драйзера «Финансист» [Драйзер 1986. Т. 3], где изображена его финансовая карьера в Филадельфии, которая пошла под откос, когда широкой общественности стало известно об его, женатого мужчины и отца двоих детей, связи с девушкой Эйлин. При этом значительную роль в крахе карьеры Каупервуда сыграл отец Эйлин Батлер, для которого

связь дочери с женатым мужчиной была просто морально недопустимой. Во всей этой ситуации примечательно то, что отец Эйлин не был пуританином, поскольку он был ирландцем и католиком. Тем не менее, живя в Америке, он настолько впитал в себя принципы пуританской морали, которыми было пронизано все американское общество, что стал заодно со всеми теми, кто с помощью моральных норм, которые нарушил Каупервуд, пытался сломать ему жизнь и карьеру. Во второй части трилогии «Титан» [Драйзер 1986. Т. 4], когда Каупервуд все-таки женился на Эйлин, он снова потерпел поражение на деловом поприще из-за несоблюдения им моральных принципов, ибо он совращал жен и дочерей своих богатых противников. Да и его законную супругу Эйлин чикагский высший свет так и не принял в свой круг по той причине, что ее репутация уже была запятнана тем, что она имела связь с несвободным мужчиной и разрушила его первый брак. И опять, теперь уже в Чикаго, Каупервуд оказался выброшен за пределы финансовой сферы по причине попрания им моральных норм.

Однако интерес вызывает и другой момент, напрямую связанный с этикой и моралью. Так, Каупервуд вновь становится миллионером после биржевой паники. Он обладает как деньгами, так и сильно подпорченной репутацией, что вынуждает его уехать в другой город. При этом его законная супруга и дети остаются в Филадельфии на его содержании. Т. Драйзер пишет об этом так: «Миссис Каупервуд, бывшая жена Фрэнка, осуждала его образ действий, но охотно пользовалась всеми благами его преуспевания. Как сочетать это с понятием этики?» [Драйзер 1986. Т. 3: 550]. Данный пример наглядно показывает цену пуританской морали в американском варианте социума. Осудить, довести до полного уничтожения морально оступившегося человека не является предосудительным, но в то же время пользоваться материальными благами, которые он может предоставить, не считается зазорным. Поведение первой жены Каупервуда в очередной раз иллюстрирует принцип двойной морали, который, несмотря на присущую ему уникальность, стал вполне типичным для поведения американцев.

Кроме того, что морализм стал средством конкурентной борьбы в американском социуме, в настоящее время он приобретает формы некоего оружия информационной войны как между разными социально-политическими группами в США, так и за пределами страны с геополитическими оппонентами. Достаточно вспомнить нашу мевшую ситуацию, связанную с выборами президента Д. Трампа.

Ожесточенная информационная борьба между мейнстримными СМИ и небольшой группой нейтрально настроенных изданий сотрясала гражданское общество Америки на протяжении всей предвыборной кампании. Будущего президента выставляли в нелицеприятном свете в глазах американских граждан. Апогеем данной информационной войны и предвыборной гонки стало обвинение Трампа в связях с Россией, что произвело эффект разорвавшейся бомбы. Россия в сознании многих американцев вновь предстает «империей зла» вследствие того, что такой образ России поддерживается американскими СМИ, режиссерами голливудского кино, а также прямолинейными заявлениями американских властей. Так, кульминационный момент, связанный с Россией, а также методичная дискредитация авторитета Трампа, безусловно, были направлены на деструкцию сознания американских граждан, что формировало крайне негативный в моральном плане образ кандидата в президенты с целью уничтожения его как конкурента. Ситуация тем не менее разрешилась благоприятно не только для 45-го президента США, но для всей страны в целом, поскольку информационная война из виртуальной реальности вполне могла перерасти в столкновения между сторонниками и противниками Трампа, дестабилизировав политическую ситуацию в стране и мире.

Вышеприведенные примеры иллюстрируют суть американской «пуританской» действительности, в которой неизбежно происходит «моралистическая препарация людей, жизненных обстоятельств и исторических событий» [Соина, Сабилов 2017: 148]. Современному обществу кажется, что пуританские взгляды остались далеко в прошлом. Однако, как показывает реальная американская жизнь, они остаются в обществе и по сей день в несколько видоизмененной форме. Тем не менее изощренный морализм, принимающий порою дикие формы для современного цивилизованного мира, парадоксальным образом сочетается с, казалось бы, «аморальными» принципами ведения внешней и внутренней политической деятельности или сексуальной распущенностью в обществе, что в очередной раз подтверждает своеобразие и парадоксальность моральной природы американского этоса.

2.5. Моралистические интенции французского этоса

Моральные интенции, т. е. особые направления мыслительной деятельности, сформировавшиеся на основе принятых в обществе норм морали, оказывают значительное влияние на большинство сфер жизни нации. Однако в некоторых случаях мораль выходит за рамки адекватного регулирования жизни социума [Сабилов, Соина 2010: 22] и превращается в определенное умонастроение, охватывающее большую часть общества, и обладающее безграничной властью над его сознанием [Франк 1991: 174]. Другими словами, здесь мы сталкиваемся не с моралью, а с морализмом; и интенции, сложившиеся под его влиянием, мы назовем моралистическими. Они, в свою очередь, оказывают воздействие на многие области жизни, в том числе на взаимоотношения людей внутри нации, а также на отношения с другими государствами. Безусловно, что в некоторой степени моралистические интенции присущи любому этосу. В рамках данной статьи рассмотрим моралистические интенции, свойственные французскому этосу.

Еще в начале XX века испанский писатель и психолог Сальвадор де Мадарьяга в своей знаменитой книге «Англичане, французы, испанцы» заявил, что для французов характерно доминирование интеллекта в качестве регулятива и принципа жизни [Madariaga 1929]. Иначе говоря, они тяготеют к устройству жизни согласно вновь и вновь возникающим идеям, стремлению к некому прообразу реальности, часто умопостигаемому, но неадекватному действительности. Согласно французской стратегии, действие прежде всего должно быть обоснованным, правомерным и разумным, практическая же сторона зачастую вовсе не принимается во внимание и не подвергается заблаговременному обсуждению [Соколов 2003]. Более того, если идея каким-то образом (пусть даже невероятно жестоким) все же стала реальностью, негативные последствия, которых практически невозможно избежать, также игнорируются по какой-то всеобщей условной договоренности. Примером может послужить величайшее событие национальной истории Франции – Великая буржуазная революция 1789 года. Идея превосходства буржуазного класса над аристократией и пролетариатом возникла задолго до революции, и, несмотря на то, что в действительности буржуазия давно уже главенствовала в стране благодаря своему капиталу, эта идея потребовала всеобщего признания, а буржуазия – официального

возведения на социальную вершину Франции, пусть даже посредством многочисленных человеческих жертв и финансовых потерь. Некоторое время спустя после революции начали обнаруживаться недостатки в буржуазном строе общества и в самом буржуа как в человеческом типе. Но француз предпочел закрывать на них глаза, ведь «ради строгости системы он склонен даже пренебречь действительностью» [Там же]. По словам Ф. М. Достоевского, которому случилось побывать в Париже как раз в этот период и воочию оценить послереволюционную жизнь страны, все прорехи были завуалированы всеобщим довольством и счастьем, показательно нравственными и добродетельными взаимоотношениями между людьми, благоразумием и комфортом, определенным и прочно установившимся порядком цивилизованного общества. Ф. М. Достоевский отмечал, что все здесь было подчинено внутренней регламентации, духовной, из души происшедшей, когда необходимость совпадает с собственными убеждениями [Достоевский 1956: 90–92].

Разработка рациональных проектов наилучшего общественного устройства остается излюбленным занятием французов по сей день. Более современным примером интеллектуального начала французского этоса может послужить президентство Франсуа Олланда (2012–2017 гг.). Он стал вторым президентом Франции от социалистической партии, обойдя действующего президента Николя Саркози на незначительное количество голосов. Во время президентской гонки Ф. Олланд дал избирателям множество популистских обещаний, среди которых были легализация однополых браков и право на усыновление, искоренение безработицы и терроризма, увеличение роста ВВП, снижение пенсионного возраста, улучшение системы здравоохранения и многое другое [Hollande 2012]. Такие глобальные фантастические идеи были обречены на одобрение со стороны французского общества, в жизненном процессе которого интеллект доминирует над действием. Действительность же склонна к сопротивлению рационализации и упорядочению: действуя, следует ограничивать свободу мысли [Соколов 2003]. Поэтому мало кто из поверивших обещаниям Олланда задумывался о настоящей возможности и необходимости их воплощения, в том числе и сам президент. Большинство проектов президента оказались неосуществимыми при первом столкновении с реальностью. Сверх того, воплощение идеи легализации однополых браков и предоставления им права усыновления вызвало массовые волнения и протесты в стране, оказалось, что в действительности французское общество еще не готово

к подобным преобразованиям. Однако решением 60 % представителей парламента закон все же был принят [LOI n° 2013–404 du 17 mai 2013], несмотря на то, что он пошатнул исторически крепкий консервативный институт семьи и брака Франции. С точки зрения большинства французов, это действие оправдано, поскольку оно разумно и обосновано, а также соответствует идее свободы.

Но следует отметить, что вышеупомянутый закон не был одобрен значительной частью страны. Согласно исследованиям общественного мнения, в среднем более 40 % французов выступали против легализации однополых браков и около 50 % – против права усыновления [IFOP 2013]. На основе чего закономерен вопрос: почему население раскололось на два равных лагеря, если всей нации свойственно интеллектуальное начало? Вероятно, ответ состоит в том, что французы придают абсолютное знание не коллективному разуму и не разуму большинства, а своему собственному интеллекту. Э.В. Соколов писал, что нет ни одного француза, который бы не считал себя достаточно умным для поста министра, «однако общегосударственные правила и нормы, коль скоро смысл их не очевиден для данного лица, французы норовят игнорировать или обойти» [Соколов 2003]. Другими словами, французы не способны поступиться суверенностью индивидуального интеллекта, что мешает им в поиске решений, удовлетворивших бы всех без исключения. Возвращаясь к принятию закона об однополых браках, мы сталкиваемся с типичной для Франции ситуацией: когда одни экзальтированы новой идеей, а другие привержены однажды выработанным и усвоенным правам и законам. Моральная гипертрофия собственного разума зачастую отвергает возможность компромисса при столкновении разных идеологий. В связи с этим обсуждение одного закона создает в стране ситуацию, близкую к небольшой гражданской войне, а принятие этого закона сравнимо с маленькой революцией. История Франции богата такими примерами, ярчайшими из них являются религиозные гражданские войны XVI века между католиками и протестантами, по факту завершившиеся не Сен-Жерменским миром, а массовым убийством гугенотов, вошедшим в историю как Варфоломеевская ночь [Всемирная история 1958]. Примером также может служить весь XIX век, раздираемый многочисленными революциями, сменой форм правления, свержениями и провозглашениями королей и президентов. Отсюда можно сделать вывод, что Франции в целом свойственно революционное, а не эволюционное развитие. Компромисс между теми, кто хочет перемен, и теми, кто желает

жить по-старому, конечно же, возможен, но только не для французов, так как они противники полумер. Для них характерно разрешение противоречий с помощью борьбы, что прослеживается в столкновениях католиков и гугенотов в XVI веке, монархистов и республиканцев в XIX веке, сторонников и противников однополых отношений в XXI веке.

Э.В. Соколов считал, что полнота бытия французов совпадает с мышлением. В качестве доказательства он приводил знаменитое изречение французского философа Рене Декарта: «Я мыслю, следовательно, существую» [Соколов 2003]. Кроме этого, на наш взгляд, это положение свидетельствует о преувеличении французами значимости собственного интеллекта. Что, в свою очередь, влечет за собой возникновение многих проблем, так как индивидуальный разум всегда имеет границы. Они очерчивают поле разумного и дозволенного, которое чаще всего не совпадает с полями других личностей. Эти несовпадения и сопротивление компромиссу рождает моралистические интенции французского этоса. Они оказывают негативное влияние на общество вследствие того, что морализм пользуется склонностью человека к незамысловатости, простоте и сугубой прямолинейности представлений и поступков [Соина, Сабиров 2017: 148]. Чрезмерная увлеченность теоретизацией действий отвлекает от реального положения вещей, от понимания того, что действительно необходимо обществу в данный момент. Другими словами, логика французов отдаляет их от реальной жизни, а чрезмерная замкнутость на индивидуальном интеллекте – друг от друга. А так как при столкновении интересов сторон каждая придерживается собственных представлений о правах и законах и не намерена идти на какие-либо уступки, в стране происходят события, влекущие за собой большие потери.

Таким образом, можно сделать вывод, что ментальными основами французского морализма являются интеллектуализм, верность самостоятельно достигнутому пониманию истины и неизбежная ограниченность индивидуального ума, что оказывает непосредственное воздействие как на внутреннюю жизнь страны, так и на взаимоотношения с другими государствами. К тому же моралистические интенции, под влиянием которых находятся французы, могут быть задействованы в современной форме внешнего и внутреннего противоборства – в информационных войнах.

Раздел III

Частные аспекты лингвистики информационно-психологической войны

3.1. Признаки информационно-психологической войны в переводной художественной литературе

Эта публикация – первый, на весьма ограниченном материале, опыт проверки на причастность к феномену информационно-психологической войны зарубежной художественной литературы. Материалом послужили переводы на русский язык. Методом случайного отбора для этой цели избраны два прозаических произведения и несколько номеров журнала «Иностранная литература» за 2017 год.

Джеймс Роллинс. Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа; пер. с англ., 2008. В аннотации жанр определен как приключенческая повесть (хотелось бы сказать, фэнтези). Действие происходит в Южной Америке во времена существования СССР. НКВД посылает группу со спецзаданием. Во главе – Спалко, полковник-экстрасенс НКВД: умная, со сверхчеловеческими экстрасенсорными способностями, виртуозно владеющая всеми видами оружия, с соблазнительной внешностью, но бесстрастная, лишенная человеческих слабостей женщина (высокоразвитый робот?), фаворитка самого Сталина. *Спалко сокрушала еще и не таких. Она способна согнуть и перековать даже сталь. И никогда не знала неудач* (очевидно, **аллюзия** на роман Н. Островского). С советской стороны среди главных персонажей, кроме Спалко, – полковник Давченко. Остальные – безликие и безымянные – *вооруженный до зубов отряд русских диверсантов*, – бессловесно выполнявшие все приказы. Мишень критики – **агрессивность внешней политики СССР, его претензии на мировое господство**. Из аннотации на обложке: «... *Хрустальный череп – ключ к секретным внеземным технологиям, которые космические пришельцы оставили древнему народу майя. Завладев тайной, советское политбюро станет властелином мира. Длинные руки Москвы уже тянутся к Эльдорадо...*» (длинные руки Москвы – клишированная метонимия времен холодной войны).

Главный стилистический принцип – **контраст** в изображении «своих» и «чужих»: очеловечивание, героизация американской стороны (мелиоративная стратегия) и обезличивание, дегероизация,

схематизация, обезчеловечивание русской стороны (пейоративная стратегия). Экономия выразительных средств, полные лексические повторы, экспрессивные пейоративы, единый аксиологический вектор при изображении русских и многообразие выразительных средств, эмоциональная сопричастность, нюансированность позитивной оценочности при изображении американцев. Роль антропонимов: уменьшительное фамильярно-дружеские имена «Инди», «Мак», но только «Давченко», только «Ирина Спалко». Полковник Давченко – *высокий человек. Настоящий атлет. Гора мышц. На лице, словно вырубленном из ледяной глыбы, отсутствовали какие бы то ни было эмоции. Впечатлял его рост громалы; В его голубых глазах сверкнуло что-то первобытно-дикое... И все молчком; Он не улыбался, а скривил губы в едкой ухмылке; с ледяным выражением лица; Во всей ситуации было что-то зловещее; мрачный полковник; громала-полковник; русский гигант; Гигант занес над ним страшный кулак; громала-русский; свирепый полковник Давченко; Давченко хватает американского археолога-пленника своими страшными лапами. И во внешности, и в поведении русского персонажа – только черная краска: человек, однозначно несущий зло, человек, лишенный чувств, бездуховный, безнравственный, некоммуникабельный. Перлокутивный эффект: его необходимо уничтожить. Еще один русский, безымянный, но в его глазах таилась куда более страшная угроза; ...русский с мертвыми глазами; эти ужасные русские; советские ублюдки.*

Серость, близость в прямом и переносном смысле характеризуют и представителей государственной власти СССР: *Члены президиума советского политбюро – люди в строгих серых костюмах с непроницаемыми каменными лицами. Русские жестоки: Русские коммандос безжалостно перестреляли персонал лагеря, всех до единого человека. Русским нельзя доверять, они лживы. Американец-археолог вспоминает о таинственном происшествии в 1908 году в районе Тунгуски в России: ...распространили сообщение. Что это было падение обыкновенного метеорита. Что, конечно, было обыкновенной ложью (манипулятивный прием «ловли на крючок исторического факта»). Этноним «русский» традиционно сопрягается с водкой. Заглавный герой попал в плен к русским. Его взяли за волосы и... стали вливать в рот огненную жидкость... Водка. Деловая водка. Еще один клишированный символический образ русского человека – медведь. Как образец американского остроумия подается комментарий к ситуации, когда русский полковник был*

раздираем гигантскими термитами: *Кушать подано. Сегодня в меню деликатес. Туша русского медведя.*

Эмоции, позитивные характеристики сильных сторон и слабостей характеризуют американцев. Заглавный герой повести Индиана Джонс – профессор, археолог, полиглот, владеющий в том числе мертвыми индейскими языками (майя, койхома, один из диалектов инков кечуа), прекрасный стратег с тонким аналитическим умом, чрезвычайно изобретательный, противостоит всему русскому отряду. Виртуозно владея не только огнестрельным оружием, но и обыкновенным пастушьим кнутом, в конце концов выигрывает противостояние. Рядом – ставший предателем, польстившись на хорошее вознаграждение русских, бывший друг Индианы, а также, в силу сложных сюжетных хитросплетеней, женщина и юноша, оказавшиеся бывшей несостоявшейся женой Индианы и их сыном. Они дружны, находчивы, остроумны, не теряют чувства юмора, шутят даже в самых критических ситуациях. Внешне все худошавы, гибки, подтянуты. О заглавном герое: *от главы русских командос не ускользнуло, с каким пристальным вниманием он оценивал ситуацию и своих противников. Казалось, его мозг находился в постоянной работе. Несмотря на возраст, он находился в хорошей форме, собран и подтянут, как стальная пружина.* Они не чужды человеческих слабостей, сомневаются, раскаиваются, признают свои ошибки и проявляют пылкую любовь друг к другу, рискуют, готовы и пожертвовать собой ради спасения любимых.

Спалко говорит о планах СССР овладения психотропным оружием, многократно мощнее ядерного: *А в недалеком будущем мы продвинемся еще дальше: мы будем грозить вам новым оружием, а вы будете нас бояться: то, которое воздействует непосредственно на человеческое сознание и откроет новые рубежи в военной области. Наконец-то мы осуществим идеи великого Сталина! <...> Кто отыщет их (чудодейственные черепа. – А.Б.), тот сможет управлять одной из самых мощных природных энергий. Он получит власть над человеческим разумом! <...> Только вообразите, что это будет за власть! – шептала Спалко. – Не знающая ни границ, ни расстояний, она позволит выведать все вражеские секреты. Мы сможем управлять сознанием ваших лидеров. Даже целыми армиями. <...> Мы сможем мгновенно проникнуть в ваши сны, мысли, желания... <...> Но главная прелесть в том, что вы даже не будете догадываться о том, что происходит.*

Доминирующий концепт **русской угрозы** подкреплен двойным повтором лозунга периода холодной войны «**Русские идут!**», ставшего мемом. Этот лозунг сигнализировал угрозу странам НАТО со стороны СССР; происхождение не установлено. Сегодня иногда используется русскими националистами [Русские идут]. *Русские идут!* – надпись на транспаранте, который несут американские студенты во время политической демонстрации. Второй раз лозунг как предупреждение об опасности произносит заглавный герой повести. Видя преследующих его русских «диверсантов», Индиана решает, что должен поднять тревогу: «*Русские идут!*» Таким образом, повесть американского писателя, переведенная на русский и многие другие языки, вместе с фантастическим сюжетом внушает многоязычной, многонациональной читательской аудитории две ключевые идеи: русские – тупые, жестокие, бесчувственные; цель внешней политики России – завоевание мирового господства. На пути к этой цели тоталитарное государство, страна-агрессор готова безжалостно уничтожить все и вся, жаждет применить запрещенное (психотропное) оружие. Тотальная негативность характеристики русского народа и внешней политики России (здесь еще советской) свидетельствует о наличии в переводном художественном произведении признаков дискурсивной практики ИПВ.

Время действия романа-притчи «**Доброй ночи, сладких сновидений**» (пер. с чешск. М., 2015) **И. Крадохвила**, одного из самых видных современных чешских писателей, лауреата многочисленных литературных премий, – 1945 год. В чешском городе Брно еще действуют отряды гитлерюгенда. Немецкие войска отступают. Русские войска освобождают окраины города. Рушатся здания. Много человеческих жертв: русских, немецких солдат, гражданского населения. Внимание обращено к недавнему нацистскому прошлому, частично к более далекому – революции, Гражданской войне в России, проблемам русской эмиграции; частично и к будущему. Это попытка найти в недавней трагической мировой истории (нацизм, холокост) ключ к прозрению послевоенного будущего. Отношение автора к нацизму, холокосту безусловно отрицательное. Признается историческая миссия Красной Армии. Однако формируются и «но». Уже вначале заметна идея косвенно идентифицировать деяния гестапо и освободительные действия Красной Армии. Это, безусловно, распространенная в западной прессе и подхваченная рядом российских СМИ, а также российских писателей **дискурсивная практика, транслирующая идею пересмотра итогов Второй мировой войны**. В тексте

романа эта дискурсивная практика тесно переплетена с другой, выражающей идею **антисемитизма**. Деятельность *Революционного национального комитета*, организованного по указке и под эгидой *Красной Армии*, по мнению чешских граждан, едва ли отличалась от деяний гестапо: мародерство, грабежи, самовольный захват квартир евреев, выживших в концлагерях или спасенных милосердными людьми и вернувшихся в родной город. Один из центральных персонажей, сын евреев, погибших в концлагере, находит в своем доме таких «революционеров» – бывших соседей:

Вам, герр Штайман (выделено мной. – А.Б.), видимо, невдомек, что наступила новая эпоха. Такие люди, как ваш папаша, теперь не будут нами командовать. Кончилась капиталистическая лафа, которая довела нас до нацистской оккупации. Ваш, так сказать, дом принадлежит теперь трудовому народу, а вы ступайте себе туда, откуда пришли. Социально-статусное приложение «Герр» (немецкое «Herr») вкпе с еврейско-немецкой фамилией передают пренебрежительно-ироническое отношение адресанта как представителя мещанских кругов освобожденной страны, не по убеждению, а из соображений корыстной выгоды быстро примеривших на себя новые идеи освободителей. Конец фразы явно пахнет антисемитизмом. И этот «душок» косвенно намекает на распространенное мнение западных гуманитариев об антисемитизме в современной России. Еще более отчетливо поддерживаемая идеологическими представителями армии-освободителя псевдореволюционность обывателей, за которой явственно крылись откровенное корыстолюбие и махровый антисемитизм, развенчивается в саркастическом высказывании повествователя: <...> *часть брненских граждан отправилась служить мессу, даже целую уйму месс, чтобы только не вернулись, упаси Боже, из концлагерей евреи, чье имущество всю войну они так жертвенно оберегали, а другая часть граждан уже старательно присваивала осиротевшее имущество немцев*. В этом и других фактах эксплицитно передается мысль о безнравственности новой национальной (чешской) власти, но имплицитно передается негативная характеристика армии, а через нее – страны-освободительницы.

В гиперболически-игровой тональности вербализуется расширяемый в рамках широкомасштабной кампании по пересмотру итогов Второй мировой войны **миф о массовых изнасилованиях** женщин советскими солдатами-освободителями: *В конце апреля на окраинах Брно... брненские районы уже были заняты подразделениями Красной Армии – будь то ее многочисленными*

захоронениями... или **жизнерадостными молодцами** (выделено мной. – А.Б.), от которых все, что было в юбках, убежало и укрывалось в ветвях елей и пихт брненских лесопарков, откуда красноармейцы стаскивали их шестами для жалюзи, какие продаются в лавках. На **негативный образ армии освободителей** работают два якобы наблюдения жителей освобожденного города о том, что русские/советские не заботились, в противоположность немцам, о достойном погребении своих павших; более того, живые не гнушались **огрابتь мертвых товарищей** (тема якобы типичного для русского менталитета **воровства**, более того, **отсутствия чувства боевой солидарности**, без которой не может быть боевых побед, вообще института армии): ...но как раз **немцы в отличие от русских заботятся о своих погибших даже в самом жестоком сражении**, и, если им удастся, они сразу же их хоронят. Вы только сравните, какое множество советских солдат и как мало немецких мы кладем на телегу. Это наблюдение чеха – участника восстания чехословацкого корпуса в мае – августе 1918-го, примкнувшего к белому движению в послереволюционной России (в романе их называют «легионерами»). Тот же легионер развивает тему ретроспективно: *В то лето тысяча девятьсот девятнадцатого, когда мы с адмиралом Колчаком в бесчисленных схватках с большевиками удерживали часть Сибири, снежная целина вокруг нас была сплошь усеяна трупами. Окровавленные трупы волки усердно оттаскивали в свои логовища, а Лена и Енисей уносили мертвых куда-то в Ледовитый океан. <...> У немцев весьма строгие предписания относительно глубины могил;*

В то время как на покойниках... не было уже ни часов, ни вообще чего-то существенного – советские солдаты старательно обчистили их... Когда один парень, участвовавший в захоронении трупов, не нашел в этом ничего предосудительного («Почему бы и не взять? ...Ведь они покойники, и все, что на них, может еще живым пригодиться»), ему резко возразил легионер: «Мы не гиены, – отрезал легионер, и большие уже никто не посмел даже пикнуть, а парень, осмелившийся возражать, опустился на колени и надел часы на запястье покойного;

Там лежало девятéro мертвых русских солдат и двое немецких <...> Вся бригада прижалась к мостовой... К ним подошли русские солдаты и, приняв их за мертвых, собрались было их обчистить...

Мораль: чехи-европейцы более нравственны. И немецкие солдаты даже накануне поражения сохранили нравственность, дух

товарищества, уважение к павшим: и опять мы видим **пересмотр итогов войны в пользу побежденных**.

Подобные кажущиеся малозначительными вкрапления выполняют важную когнитивно-прагматическую функцию, создавая ментальный портрет русского, советского. Концепт «русский» приобретает традиционный для европейской картины мира штамп: да, советский солдат освободил Европу от фашизма, и за это ему спасибо. Победа дорого обошлась ему. Но при этом он остается варваром, нечистоплотным физиологически и нравственно, лишенным знаменитого немецкого Kameradschaft (чувства товарищества): обкрадывает трупы своих же соратников, не предает их земле, массово насилует женщин, насаждает в Европе чуждую ей безнравственную идеологию, опираясь на низменные инстинкты обывателей, склонен к антисемитизму. Характер негации позволяет трактовать соответствующие фрагменты романа как дискурсивную практику ИПВ.

Еще одна мишень ИПВ – **органы безопасности Советского Союза**. Они приравниваются к службе безопасности фашистской Германии: SS. В конце книги отплывающий из Европы в США персонаж-повествователь пишет другу: *Отчим, дорогой Якубек, предсказал мне и то, что нас ждет, если свободу принесут нам не американцы, а освободит нас Красная Армия. Я уже давно знал о существовании СМЕРШ, специального подразделения, выделенного из НКВД. СМЕРШ – аббревиатура, читаемая как «смерть шпионам». И СМЕРШ мало чем уступает Sicherheitsdienst (курсив мой. – А.Б.)*. Подстрочная сноска к немецкой лексеме – «служба безопасности»; хорошо известная без перевода аббревиатура SS «деликатно» опущена: тонкое, изощренное средство манипуляции.

Ярчайшая, дискредитирующая недавних освободителей Европы идея **оккупации** Советским Союзом стран Восточной Европы, вплоть до знака равенства с фашистской оккупацией: немногословно, как бы невзначай, но безошибочно закрепленная несколькими повторами, исключаящими «забывчивость» – мысль, абсолютно созвучная политической доктрине современных США по отношению к России и занимающая немаловажное место в содержательной концепции информационно-психологической войны против России. Идеологема **оккупация** усиливается другой идеологемой: армия освободителей и ее страна именуются **захватчиками**. Тот же персонаж едет морем в США и, проплывая мимо Румынии, в письме другу напоминает, что эта страна расположена *в нашей несчастной, опустошенной Европе, где одних захватчиков сменяют другие*. Идея

заявлена уже в начале повести. Наиболее близкий автору повествователь Костя передвигается по городу, за который Красная Армия еще ведет кровавые бои, и размышляет: *Некоторые улицы, как известно, заминированы. **Нынешние оккупанты будущим** уготовили огневое приветствие.* На пути в США он же комментирует: *...Венгрии и Румынии... был присвоен статус побежденных и потому они **оккупированы Красной Армией.***

Мишенью переоценки российского прошлого становится и **литература**, а именно господствовавший в советской литературе **социалистический реализм** и в этой связи роль и **судьба М. Горького**. Поводом стала центральная интрига, связующее звено сюжета: некий неизвестный в России групповой портрет кисти Репина: М. Горький в окружении Л. Андреева и ряда других известных лиц. Интрига раскрывается в конце романа-притчи. Рассказчик, начинающий литератор, сообщает случайному спутнику, что Горький – его биологический отец. Собеседник говорит, что в таком случае можно ожидать, что сын унаследовал от отца, признанного оплотом соцреализма, приверженность к этому направлению. Рассказчик возражает, обвиняя собеседника в неосведомленности. *О, ты о нем ни черта не знаешь. Под официальным знаменем соцреализма на самом деле он четко следил за развитием литературы, отстаивая и спасая ее исключительное разнообразие. Потому-то его в конце концов и **убрали, чтобы от имени Горького посадить всю литературу на одну болванку – на какой-то тупой реализм, на литературу для сотен тысяч читателей.*** Острые критики направлены на принцип массовости литературы в пользу элитарности: на то, что составляет нашу гордость, на ту громадную роль, которую художественная литература, не тронутая кризисом литературоцентризма, сыграла в подъеме культурного уровня, в духовной консолидации молодого советского государства и не в последнюю очередь в победе в Великой Отечественной войне, в послевоенном строительстве. Пейоративный метафорический эпитет *тупой* и оценочно близкая развернутая метафора со сферой-источником из мира несложного ремесла (*посадить на одну болванку*) с коннотативной семьей «тупой» за счет семантики производящей основы, без сомнения, входят в ассоциативно-оценочное поле «военных действий», то есть ИПВ.

Для характеристики **СССР как мишени критики** герой-рассказчик использует безжалостно-экспрессивный оценочный эпитет: *параноическое советское государство*. Если все советское изображается в рамках пейоративной стратегии, то Америка,

напротив, – мелиоративной, с целью повышения ее имиджа. В финале романа, в концовке письма рассказчика звучит мысль о том, что истинным освободителем был не СССР, а «цитадель свободного мира» – Америка: *...у меня нет, Якубек, ни малейших иллюзий относительно будущего Чехословакии. Американцы предчувствовали, что может произойти у нас, и потому предложили нам эту возможность: вовремя **просить убежища в свободном мире**. И мне, Куба, будет очень жаль, если Вы не воспользуетесь этим и угодите в **западню***. Здесь же, в рамках стратегии повышения имиджа, послевоенной Америке приписывается чувство не только гордости за победу, но и чувство вины: *Натан меня убедил, что Америка все еще испытывает чувство вины и оттого, что вступила в войну лишь тогда, когда у нее у самой уже горела земля под ногами, и оттого, что война не коснулась ее городов, в то время как в Европе пылали школы и храмы*. С чувством умиления описывается, как в конце войны, когда еще шли бои, американский десантник с риском для жизни доставлял больницам города мешки со спасительным пенициллином.

Свидетельством достоверности, убедительности негатива по отношению к России, ее до- и послевоенной истории призвана послужить демонстрация принципиальной непредвзятости автора: его якобы нежелание лакировать противоположный мир, олицетворяемый Америкой. В завершающих строках письма рассказчика другу читаем: *...мы покидаем **свободную стихию Атлантики** и снова вступаем в мир лишь **сомнительной человеческой свободы** <...> В это самое время отлетает в направлении Хиросимы специальный самолет с **little boy** (атомная бомба, сброшенная на Хиросиму)*. И далее, вспоминая, что по прибытии парохода в пункт назначения его ждет неприятная процедура тщательного медицинского осмотра, адресант, обращаясь к себе во втором лице, формулирует финальную фразу письма и романа-притчи: *Но нежелательной становится теперь **и зараза большевистскими идеями**, так что будет лучше, Константин Максимович, если ты **отречешься от своего отца**. Дело ясное, постарайся и **отрекись от папаши!*** Тавтологичный повтор лексемы-объектива в намеренно просторечной форме с ироничной коннотацией выдает вторичную, чисто функциональную роль всего сюжетного хода, дезавуирует интенцию непредвзятости: идеологическая интенция переводного художественного текста – создание негативного образа России, символический отказ от России. Связь с феноменом ИПВ неоспорима.

Остается открытым вопрос, почему при громадном выборе современных талантливых зарубежных произведений выбраны именно эти. Первое сочинение привлекательно для молодежи, второе в большей мере для людей среднего возраста. К сожалению, мы не задавались целью сделать какие-либо статистические выводы относительно места переводных произведений с признаками ИПВ по отношению ко всей массе переводной литературы, например, изданной в начале XXI века.

В этой связи небезынтересен вопрос о публикациях в периодических изданиях. В качестве первого пробного камня были проанализированы в нашем ключе несколько номеров журнала «Иностранная литература» за 2017 год.

ИЛ, 2017. № 1. Рубрика «Писатель путешествует». **Кристоф Рансмайр. Атлас робкого человека; пер. с нем. 2012.** Место действия – Чехия после распада СССР и Варшавского блока. Старик в одиночку пытается восстановить еврейское кладбище. Он не еврей, но *он не был и сторонником коммунистов, которые тогда еще правили страной и норовили попросту истребить все, что превосходило их разум или противоречило догматам их веры.* Категорическая тональность высказывания (экспрессивная семантика глагола, обобщенность местоимения), претендующего на неопровержимую истину, позволяет отнести его по степени радикальности к высшей степени борьбы – войне (информационно-психологической). Мишень – послевоенное прошлое страны как результат победы СССР над фашизмом (коммунисты – ставленники «оккупационных властей»; см. выше), с иной формулировкой – пересмотр итогов Второй мировой войны.

Еще в более острой форме роль СССР в этой войне пересмотрена в содержании второго номера журнала – **ИЛ, 2017. № 2.** Почти весь номер посвящен памяти Э. Бёрджесса. Знаменитый американский писатель Гор Видал («Почему я на восемь лет моложе Энтони Бёрджесса», 1987), цитирует культового английского писателя: *«В феврале на Ялтинской конференции половину Европы продали русским»*, предваряя цитату комментарием: «В той степени, в какой у Бёрджесса вообще были политические предпочтения, он был ярким реакционером и мог выдать “блимпиглы“» (Блимп – полковник, персонаж английских карикатур, стереотипный образ напыщенного, чопорного англичанина. – А.Б.). Наличие хоронима и топонима придает высказыванию эффект документальности. Значим синтаксис фразы: лаконичное бесподлежащее предложение несет

тональность неоспоримой утвердительности. Вторая мировая война представлена метафорой торговой сделки, главным актором которой выступают западные союзники, а СССР – пассивным «покупателем». Неосведомленный об истории страшной войны читатель не задастся вопросом о том, какой ценой далась «русским» эта «покупка». Номер журнала содержит текст юбиляра: Энтони Бёрджесс. Твое время прошло. Фрагменты автобиографии. 1961–1993. Автобиография – специфический литературный жанр. Автобиография «соединяет в себе документальность и фикциональность. Первая проявляется в использовании реальных фактов из жизни автора, определенных средств документальности, таких как датирование, топонимы и другие. <...> При написании автобиографии важно, **что** написано и **как** написано, что приближает автобиографию к художественным текстам» (выделено автором цитаты. – А.Б.). Специалисты говорят о важности того, что в жанре автобиографии «анализ действительности равен художественному образу этой действительности; субъективности мировосприятия соответствует предельная субъективность высказывания...», причем чем дальше событийное время отстоит от его описания, тем существеннее субъективный фактор оценочности [Сапожникова 2012: 54–56]. Бёрджесс в своей автобиографии описывает морское путешествие в Россию в начале 60-х годов, свои и своей жены впечатления о стране и ее людях. Н. Мельников в рецензии на роман Э. Бёрджесса «Клюква для медведей», в основу которого легли впечатления писателя о путешествии в Россию, весьма благодушно трактует отношение писателя к стране и ее людям: «Впечатления от эпохальной поездки в страну победившего социализма <...> оказались не столь мрачными... Образ Советской России эпохи хрущевской оттепели лишен у Бёрджесса демонического ореола “империи зла”, а сам роман не имеет ничего общего с расхожей антисоветчиной (мягко и ненавязчиво протекающей в русофобию), свойственной многим англо-американским беллетристам, обращавшимся к “русской теме”. Перед нами не политический памфлет и даже не “острая сатира”, а, скорее, экстравагантная комедия положений с элементами буффонады, пародирующая штампы “шпионского романа” и высмеивающая стереотипные представления о России, вбитые обывателям западной прессой» [Мельников 2003: 229]. Полярно иное откровение самого писателя о своем романе, для которого он изобрел сленг из русских и английских слов: «Мне хватило около двухсот русских слов. Так как речь в романе шла о “**промывании мозгов**”, то и тексту была уготована та же роль.

Этот минимум русских слов “**промоет мозги**” читателям. Роману предназначалось стать **упражнением в лингвистическом программировании**» [Бёрджесс 2017: 185].

В публикуемых фрагментах беллетризованной автобиографии отмечены несколько российских реалий с авторской **позитивной оценкой**. Характерная особенность: позитив каждый раз умалется или вовсе аннулируется посредством дополнительных обстоятельств, например, с отношением уступительности: *Поначалу Ленинград не произвел на нас большого впечатления – полуразрушенные складские помещения, запах канализации и дешевого табака <...> Однако Нева сверкала, словно дух Пушкина витал над ней, архитектура центра города была прекрасна, хотя и не по-советски*. Писатель отмечает красоту русских женщин, но тут же добавляет оценочный контрнегатив: *А прелестные девушки были ужасно одеты*. На пароходе по пути в СССР члены экипажа были **очаровательны** – по большей части учителя английского языка; они носили морскую униформу – чистую, хорошего покроя. Страницей дальше о них же: *Некоторые не говорили ни слова, что было лучше, чем говорить ужасно* (злая карикатура на советскую систему обучения иностранным языкам). За лечение туристки, жены писателя, в ленинградской больнице денег не взяли. Комментарий автора: «СССР – страна социализма!». С учетом дистанционного контекста позитив в глубинной структуре следует воспринимать как иронию, сравним: *Я ожидал увидеть грядущее суровое будущее... а увидел грязь и беспорядок*. За недружелюбной иронией кроется злорадство по поводу катастрофического конца социалистического строительства, краха идеи коммунизма: аллюзия на несбывшуюся веру в конечную всемирную победу коммунизма. В зачине описания путешествия контраст в пользу русских: *Их сияющий пароход резко контрастировал с нашей грязной пристанью*. Контраст «там: здесь» образует рамочную конструкцию. В порту прибытия в Россию таможенники пропустили туристов без досмотра багажа. По возвращении в тот же грязный английский порт их встретили *мрачные полицейские, багаж изрядно потрясли*, обложили пошлиной. Опять позитив в пользу России? Финальная фраза звучит загадочно-двусмысленно: *Ну вот мы и попали в вымышленный Советский Союз из нашей беллетристики...* Понимать ли эту фразу как автокорректуру: признание слишком положительной оценки России в беллетризованной автобиографии? Еще один пример внешнего позитива: *Великолепная картинная галерея в «Эрмитаже» была составленной из западных трофеев*. Это

уже ракурс **переоценки итогов Второй мировой войны**: имплицитно редуцируется мысль о **воровстве** уже в государственном масштабе. Роль России в войне деградирована до примитивного грабежа.

Событийный жанр путешествий инициирует описание и оценку страны и ее представителей, народа и его менталитета. Ленинград – это *полуразрушенные складские помещения, запах канализации и дешевого табака*; Москва – *просто большая деревня*. В стране царит беспорядок, все не функционирует. *Лифт не работал: Нуе работает* – эта надпись украшала большинство дверей ленинградских лифтов. На пароходе с интуристами душ не работал. Британский гость с трудом пробивается к автомату «*paperosa*», на котором болталась знакомая вывеска «*Нуе работает*». Писатель покупает в ларьке сувениры, в том числе флажок с портретом Ю. Гагарина. Девушки-продавщицы не сильны в знании курса английской валюты. Комментарий автора в иронической, брезгливо-снисходительной тональности: *Ну как обращаться с такими людьми? <...> Где еще найдешь такой милый народ? Их нельзя бояться: если они не сумели разобраться в британской валюте, то вряд ли их расчеты межконтинентальных баллистических ракет будут в точности соответствовать действительности. Когда время в стране так мало значит, разве можно всерьез относиться к призывам безотлагательного планирования и призывам перегнать Соединенные Штаты в области технологии?* «Они» – это уже не девушки-продавщицы, а народ страны, советские, русские люди. Ирония, неоправданные обобщения и гиперболизация – излюбленные приемы автора.

В магазинах, если они не предназначены для элиты, – хоть шаром покати. Городские улицы в плохом состоянии, дома нуждаются в покраске. Советские люди живут с мозгами, затуманенными алкоголем или идеологией, а то и тем, и другим. И не видят, что их окружают разбитые окна и грязные фасады зданий. Интуристы из финансовых соображений нашли частную квартиру. Их устроили в *ужасный* многоквартирный дом с *размытым дождем барельефом*. Такси в Ленинграде надо ждать не менее часа. Скорая помощь на вызов интуристов долго не приезжала. Наконец, пришел не врач, а *три фельдшера-коротышки*; один из них *самый плюгавый коротышка*. В гостинице «Европа» гости четыре часа ждут заказанный бефстроганов. Авторский комментарий в форме риторического вопроса в саркастической тональности: *Но что такое четыре часа, в то время как русский народ четыреста лет ждал, когда падет царское иго? Даже дольше.* Трудно подобрать подходящую лексику

для следующей абсурдной сцены: опьяневшую заокеанскую гостью, не устоявшую на ногах, подбирает скорая помощь. Даму положили в машину, *а ее ноги болтались на улице*. Оценочная категория негатива доведена до абсолюта, до супергиперболизации, до нелепости, до настоящего абсурда.

Впечатления о русских, менталитете народа многочисленны, но объединены модальностью негатива. Русским приписывается **покорность судьбе, полное смирение**, отчего требовательность иностранных гостей воспринимается неадекватно: *Я столкнулся с типично русской резиньязцей: людям трудно угодить, даже в мелочах они проявляют удивительную несговорчивость*. Транслируется мысль об отсутствии у русских культуры бытового поведения, элементарной вежливости. Персонал в гостинице, обслуга на пароходе не владеют служебным этикетом: без стука входят в гостиничный номер, в каюту. Писатель отказывает русским в **чувстве собственного достоинства**: продавщицы – девушки в сувенирном ларьке *пришли в восторг* от подаренной им плитки шоколада, *и я был расцелован*. Самая позитивная характеристика: *Кажется, я стал понимать русских. Они вроде ирландцев – фантазеры и задиры* (известно невысокое мнение англичан об ирландцах). Со снисходительной иронией автор заключает: *Видит Бог, русским так нужно, чтобы их любили! Их маниакальная депрессия – как пародия на диалектический материализм. Тезис – мания, антитезис – депрессия, но никакого синтеза. Они кажутся неустойчивыми людьми, склонными к слезам и крепким напиткам; наверное, они тоскуют по коммунизму*. Миф о **пьянстве** как одной из главных черт русской ментальности тиражируется с использованием перифрастической синонимии: *Ну как обращаться с такими людьми? <...> Их нельзя бояться <...> Они живут с мозгами, затуманенными алкоголем или идеологией, а то и тем, и другим»; Про русских было известно, что они не дураки выпить; Но зато нет недостатка в сигаретах, а также в водке и квасе; Бог мой, только посмотри, как пьют в России; Старший официант... выпивал пол-литра водки за один раз – большими глотками, словно садовник, пьющий холодный чай; Жена писателя научилась пить водку по-русски – залпом глотать содержимое рюмки. Видя, как британская туристка вышла, укрепив свой дух многочисленными рюмками водки, официантка сказала ей с восхищением: Да вы становитесь настоящей русской; Почти каждый вечер атмосфера тут оживлялась дружескими попойками; В ресторане гостиницы «Метрополь» специальные женщины*

подносили нашатырь *под ноздри храпящим во сне пьяницам*. Если это не срабатывало, женщины... тыкали тампоны прямо в глаза. Слепленные **пьяницы** истошно вопили, и тогда вышибалы... вышвыривали их на улицу. Писателю в поисках сигарет приходилось пробиваться сквозь **захмелевших** людей; Сцена в «Метрополе» была яркой иллюстрацией **русского «таланта к пьянству»**. Ни о каких других талантах, позитивных способностях, притягательных чертах национального русского характера упоминаний нет: прием значимого нуля. Зато единственный «талант» в разных вариантах языкового выражения упоминается на 64 страницах 14 раз!

Непременный атрибут описания характера русских – **воровство**. Повод – скудная и невкусная еда на советском пароходе: *Возможно, здесь **воруют**, как и на всех пассажирских судах мира. Я видел, как старший стюарт... перед выходом из порта пересчитывал толстую пачку фунтовых купюр. Служащие гостиницы **коррупционированы**. Мне казалось, что я оскорблю советского служащего, если дам чаевые, но он сам чуть ли не требовал backshish. <...> Все хотели backshish. Хотел его и лысый старик при туалете гостиницы, усердно читавший Гоголя.*

«Грязь» – следующая традиционно называемая черта русской ментальности: ***грязные фасады домов; однокомнатная грязная квартира. Лживость русских: Русские – ужасные лгуны.*** На съемной квартире *говорили о **явной лжи советской прессы**. Бедность во всех обличьях. На пароходе **еда была отвратительной**. <...> Еда была не только **невкусной**, но и **скудной***; один из пассажиров жаловался, что ***напиток за столом – не чай, а моча***. Зарубежного гостя, приторговывавшего в туалете ленинградской гостиницы дамской одеждой, предупреждают: *надо осторожно, чтобы не попасть в советскую тюрьму: **кормят там ужасно и среда чудовищна***. Британские гости «Метрополя» *сражались с двумя тучными матронами за право получить **на завтрак кровяную колбасу и холодный чай***. В «Метрополе» *«роскошный ужин» состоял из яичной глазуньи, кильки, шпротов, гренок и отварной осетрины; из газет мы знали, что русские **плохо одеваются** и у них **нехватка товаров широкого потребления***. Посетители ресторана – *молодые люди в форме и девушки в **простеньких платьях сороковых годов***. Элитный зарубежный гость не брезговал собственноручно подторговывать в гостиничном туалете *в стране **дурно одетых тружеников*** специально для этой цели привезенными предметами дамской одежды. Потом, растроганный *жалким видом и бедностью русских людей, просто*

одаривал в холле «Астории» находящихся там женщин: *Несколько пожилых женщин... принимали подарки с радостью, слезами, крепко меня обнимали. А одна взяла платье, придирчиво его осмотрела и взяла, не поблагодарив.* Читатель, случайно заглянувший в текст Бёрджесса, решил бы, что описывается встреча белого завоевателя на заре колонизации с каким-то племенем туземцев где-нибудь в Африке. Не упомянуты разве что стеклянные бусы, железные ножи и зеркальца.

ИЛ, 2017. № 5. Шарль Данциг. Эгонистическая энциклопедия всего и ничего; пер. с франц. В разделе «Размышления о народах» автор обобщающе, безадресно говорит о **скудоумии народов, свыкающихся с любым уродством, любой мерзостью, о лицемерии народов** в отношении с демократией: *Они голосуют, прекрасно понимая, что им лгут, но предаются бесплодным мечтам, а потом жалуется на режим, утверждая, что ничего не знали, даже не понимают, что сами себя обманывали, тогда как власти прекрасно умеют манипулировать этим самообманом и всегда могут надуть своих избирателей.*

Вот пример такого самообмана в странах военной диктатуры. «Это все политика!» – сказал мне один русский по поводу закона, ограничившего сферу действий НПО (в сноске: «неправительственных организаций». – А.Б.), и принятого при Путине. Высказывание, типичное для угнетенных народов, которые бессильны что-либо изменить, а часто и не хотят перемен. Русские находились в таком положении между 1917 и 1991 годами. Налицо манипулятивная технология. Она состоит в том, что зачин микротекста выдержан в нейтрально-обобщающем ключе (бывали, есть такие народы). Затем происходит редукция, ограничение неопределенного множества. На первом этапе экзистенциальное обобщение редуцируется до определенного типа режима: «военная диктатура». В концовке микротекста обнажаются **истинные мишени манипулятивного воздействия: Россия, русский народ, русская история, власть.** Примечательно, что ни переводчик, ни редакция журнала не сочли нужным сопроводить комментарием переводной текст автора явно либеральной ориентации.

Проведенное небольшое исследование показало полную идентичность мишеней информационно-психологической войны в переводной книжной и журнальной художественной литературе и в книжной отечественной. Подчеркнем еще раз: говорить о цитированных переводных текстах, как и об оригинальных отечественных,

в контексте ИПВ допустимо не потому, что много критики, а потому, что в изображении страны и ее народа имеет место **только негатив**. А. П. Чудинов замечает: «Анализ стереотипов восприятия нацией самой себя позволяет лучше понять национальное самосознание, национальные ценности, образ мышления. Позитивные национальные автостереотипы создают возвышающий имидж своей нации, а негативные гетеростереотипы зачастую формируют “образ врага”, т. е. негативные представления о нации, государстве или группе государств, которые используются для контроля над массовым сознанием и для культивирования чувств страха, недоверия и враждебности» [Чудинов 2012: 47]. Наши исследования обнаружили парадоксальную ситуацию: часть современных отечественных писателей создают не менее негативный образ России в ее настоящем и историческом ракурсе, чем зарубежные авторы: автор свой, стереотип чужой. Закономерный вопрос: надо ли переводить и печатать, следовательно, популяризировать именно те зарубежные произведения, которые формируют и транслируют тотально негативный образ нашей страны? Задаются ли этим вопросом органы, по долгу службы обязанные оберегать и защищать доброе имя страны, чувство сопричастности к стране, ее прошлому и будущему, сохранять чувство идентичности и фундамент самоидентификации каждого гражданина страны? Это актуальный сегодня, в обстановке идеологической разностийности, отсутствия четкой государственной идеологии, вопрос. Активируемые в разных государственных институтах, по разным каналам коммуникации приемы, стратегии и тактики манипулятивных воздействий на сознание людей, ориентированных на пересмотр далекого и недавнего прошлого страны и мира с целью негативной переоценки всего того, что составляло предмет гордости, фундамент национальной самоидентификации страны и ее граждан: история страны, ее знаменательные даты/события, исторические личности, национальная ментальность, литература, наука и искусство, православие как исторически закрепившийся фундамент коллективизма (соборности), духовности, создают многочисленные каналы реализации дискурса информационно-психологической войны как реальной угрозы сохранению государства, нации, их настоящего и будущего.

3.2. Идеологема «западные ценности» как инструмент ведения информационно-психологической войны

Современный человек, живущий в мире глобальных перемен и преобразований, где ведущую роль в формировании «объективной» картины мира выполняют СМИ, с особой остротой сталкивается с проблемой сохранения своей уникальной личной идентичности и национальной самобытности, с проблемой неспособности отстоять собственную жизненную позицию, которую постоянно испытывают на прочность. Человек мыслящий осознает на глубинном уровне необходимость критического освоения и осмысления действительности. В противном случае слабование и отказ от рефлексии могут привести к антропологической катастрофе, когда человек перестанет быть личностью и превратится в «элемент массы».

В ходе новейшей истории человечества, когда информационное воздействие СМИ только усиливается, мы становимся свидетелями такого масштабного явления, как развертывание информационно-психологической войны, которая сталкивает интересы разных сторон (стран, политических и военных альянсов, политических партий, правящих элит) и неизбежно приобретает глобальный характер. В основе информационного противостояния лежит феномен пост-правды, обозначающий такие обстоятельства, в которых объективные факты влияют на формирование общественного мнения меньше, чем воззвания к эмоциям и личным убеждениям. Размывается сама суть процесса информирования и предоставления объективных фактов, и, напротив, происходит искусственное конструирование реальности, в которой информация предьявляется дозированно, под «правильным» углом зрения, фактологический характер сообщения уступает место интерпретации и оценке в угоду интересам определенных социальных кругов. «Создается ситуация, когда слово становится важнее реальности. Манипуляция общественным мнением происходит через дискурс присвоения безусловных (для коллективного бессознательного) ценностей» [Лингвистика и аксиология 2011: 12].

В условиях очередной переоценки ценностей эпохи «постмодерна» особенно актуальным оказывается вопрос о соотношении слова и реальности, когда информация (под которой мы подразумеваем объективные факты) становится вторичной по отношению

к искусственно воссоздаваемой реальности. Лингвисты в своих исследованиях выдвигают на передний план вопросы моделирования дискурса и владения дискурсивными технологиями в векторе устойчивого существования и развития правящей идеологии и пропаганды. Таким образом, возрастает важность комплексного осмысления аспектов и проблем лингвистического анализа дискурса в целом и разработки адекватных методик такого рода анализа. В связи с этим актуальным, на наш взгляд, представляется анализ дискурса через реализацию в нем идеологием как ментальных концептов, создающих идеологическое пространство и влияющих на формирование социальной идентичности.

В фокусе нашего внимания в настоящем исследовании будет медийный дискурс, дискретными единицами которого являются медиатексты. «Медиадискурс – это совокупность процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и сложности их взаимодействия» [Добросклонская 2008: 152].

Следует уточнить, что медиадискурс – это не конкретный отдельный текст, включенный в коммуникативную ситуацию, а совокупность текстов, реализуемых в массмедийном пространстве и опосредованных рядом экстралингвистических факторов. Таким образом, текст и дискурс соотносятся между собой как часть и целое. Определенный тип институционального дискурса может объединять тексты на основе общности темы или общности реализуемого в тексте коммуникативного намерения. Соотношение медиадискурса и медиатекста можно продемонстрировать на основе универсальной коммуникативной модели, которая традиционно используется в теории коммуникации и представляет собой следующую логическую цепочку: *отправитель сообщения → получатель сообщения → канал → обратная связь → само сообщение → процессы кодирования и декодирования сообщения, а также ситуация общения или контекст*. В рамках данной модели текст – это сообщение, медиатекст представляет собой канал передачи информации, а медиадискурс – это сообщение в совокупности со всеми прочими компонентами коммуникации [Там же].

Вслед за И. В. Rogozinoy определим медиатекст как «вербальное речевое произведение, созданное с целью осуществления опосредованной коммуникации в сфере средств массовой информации и характеризующееся явно выраженной прагматической направленностью, основной целью которой является социальная регуляция» [Rogozina 2003: 127]. Определяя природу медиатекста, многие авторы

указывают на его многомерность, полифоничность, под которой следует понимать сочетание вербальных, визуальных, аудиовизуальных и других компонентов, объединенных единым смысловым и тематическим пространством текста. Среди отличительных признаков медиатекста можно выделить адресованность массовой аудитории, публичность, открытость, ярко выраженную прагматическую направленность, идеологизированный характер массовой коммуникации, присутствие четкой авторской позиции (которая тем не менее выражает взгляды определенных социальных групп).

Принципиально важным для нашего исследования будет анализ идеологической составляющей медийного дискурса. Обычно отмечается, что среди всех типов институционального дискурса политический дискурс по природе своей глубоко идеологизирован. Однако, по справедливому замечанию Е. И. Шейгал, вследствие прозрачности границ дискурса нередко происходит наложение характеристик разных видов дискурса в одном тексте. Поэтому правомерным считается говорить о тенденции к сращению медийного и политического дискурсов в едином информационном пространстве. В настоящее время СМИ по сути являются основной средой существования политической коммуникации, а журналисты выполняют роль посредников и ретрансляторов между профессиональными политиками и массовой аудиторией. Поэтому вопросы, связанные с обнаружением и изучением идеологически окрашенных компонентов текста, также актуальны для медиадискурса.

В работе мы предлагаем рассмотреть идеологический аспект медийного дискурса с позиций *теории идеологем*. Цель данной публикации – описать специфику репрезентации концепта «*западные ценности*» в американском медийном дискурсе и доказать, что этот ментальный феномен является идеологемой, которая активно используется западными СМИ для манипулятивного воздействия. В работе будет предпринята попытка анализа текстовой реализации идеологемы «*западные ценности*» с целью выявления когнитивной специфики этого сложного ментального конструкта.

От идеологии к идеологеме. Понятие *идеология* является сложным феноменом, предметом исследования нескольких гуманитарных дисциплин. Употребленный впервые в 1796 году Д. де Траси для обозначения новой эмпирической науки об идеях, термин *идеология* в самом общем философском смысле представляет собой систему взглядов и идей: политических, правовых, нравственных, эстетических, религиозных, философских. Подобные общефилософские

умозаключения по сути своей нейтральны, они дают трактовку универсальному явлению. Но идеология неотделима от социальных и политических процессов, поэтому часто в понимание идеологии включаются негативные смыслы. Так, «ядром идеологии выступает круг идей, связанных с вопросами захвата, удержания и использования политической власти субъектами политики. В рамках идеологии (в контексте осознания людьми собственного отношения к действительности, а также существования социальных проблем и конфликтов) содержатся цели и программы активной деятельности, направленные на закрепление или изменение данных общественных отношений» [www.philosophy.niv.ru]. В этой связи Т. ван Дейк рассматривает идеологию через призму прототипической оппозиции «свой – чужой»: «few of “us” (in the West or elsewhere) describe our own belief systems or convictions as “ideologies”. On the contrary, Ours is the Truth, Theirs is the Ideology». – Мало кто из нас (на Западе или где-то в другом месте) будет описывать систему своих взглядов и убеждений как идеологию. Напротив, *наши* взгляды есть суть правды, *их* взгляды – это и есть идеология [Dijk 1998].

К традиционному определению идеологии как некой главенствующей идеи добавляется современное понимание этого явления в когнитивном аспекте. Так, в новейшем философском словаре читаем: «идеология исходит из определенным образом познанной или “сконструированной” реальности, ориентирована на человеческие практические интересы и имеет целью манипулирование и управление людьми путем воздействия на их сознание» [www.philosophy.niv.ru]. Такое понимание тесно коррелирует с поиском и интерпретацией идеологических смыслов в дискурсологии, когда идеология рассматривается одновременно как социальный и когнитивный феномен и представляет собой сложную структуру, которая конструирует, упорядочивает ментальные репрезентации, мнения, отношения, социокультурные знания определенных социальных групп. В своих многочисленных работах, посвященных критическому дискурс-анализу и роли идеологии в жизни общества (см. Discourse Semantics and Ideology; Ideology: A Multidisciplinary Approach; The Mass Media Today: Discourse of Domination or Diversity? Political Discourse and Ideology), нидерландский лингвист, один из пионеров теории текста, теории речевых актов и анализа языка СМИ Т. ван Дейк приводит следующие характеристики, важные для понимания феномена идеологии:

– Идеологии по природе своей являются когнитивными формациями. Не подвергая сомнению политический и социальный

характер идеологии, значимым является когнитивный аспект, так как идеология по сути оперирует ментальными сущностями, мировоззренческими системами.

– Идеологии являются социальными формациями. Идеология тесно связана с социальными и экономическими процессами и определяется через интересы, конфликты между различными социальными группами и борьбу за власть и влияние. Правомерно будет говорить не только об идеологии господствующих элит (*dominant groups*), но и контролируемых социальных групп (*dominated groups*), для которых идеология будет ключом к самоидентификации и целеполаганию.

– Идеологии являются одновременно когнитивными и социальными формациями. Представляя собой системы мировоззрений, взглядов, мнений, идеологии всегда сопряжены с целыми сообществами людей. Идеологии по сути своей связаны с жизнью общества. Точно так же, как не бывает «личного» языка, не бывает и персональной идеологии.

– Идеологии абстрагированы, обособлены от понятий *правда/неправда*. У каждой идеологии будет «своя» правда, обслуживающая интересы определенной социальной группы.

– Идеологии могут различаться по степени сложности. Неверно будет рассматривать в качестве идеологии только исключительно полно сформированную и сформулированную систему взглядов, как, например, «демократию» или «социализм». Идеологиями имеют право называться и наивные, явно не выраженные социальные теории, способствующие самоидентификации и определяющие статус социальной группы в обществе. Такие теории могут быть нечеткими, до конца не оформившимися, несколько беспорядочными и непоследовательными, но пока они выполняют (более или менее эффективно) функции социального самоопределения, они будут относиться к идеологиям.

– Идеологии получают разнообразное контекстуальное воплощение в дискурсе. Под контекстом здесь понимаются различные коммуникативные ситуации. Различия в идеологических репрезентациях и выражении в дискурсе, как правило, связаны с экстралингвистическими факторами. Так, люди могут быть членами одновременно нескольких социальных групп и, следовательно, разделять разные взгляды и ценности; идеологические вариации в дискурсе можно объяснить и контекстуальными ограничителями (например, цели, чувство такта, политкорректность, необходимость произвести определенное впечатление и т. д.).

– Идеологии имеют всеобщий и абстрактный характер, они объединяют большие группы людей, часто не связанных общим географическим пространством. Тот факт, что идеологические смыслы могут получать разнообразное выражение в дискурсе в силу персональных или контекстуальных ограничений, еще не является доказательством того, что идеологии являются сугубо локальными образованиями. Напротив, только признание факта целостности и абстрактности идеологий дает возможность объяснить, почему члены социальных групп настолько одинаково и последовательно выражают свои идеологические взгляды и почему для них настолько часто действует принцип *принимается как само собой разумеющееся* по широкому ряду вопросов [Dijk 1995a: 244–247].

Представленные выше характеристики идеологии будем считать важными отправными точками нашего исследования, которое предполагает рассмотрение идеологием как элемента идеологии с позиций когнитивно-дискурсивного анализа.

Термин *идеологема* сегодня используется во многих отраслях научного знания: от философии и истории до культурологии и лингвистики. Сам термин впервые, вероятно, был использован М. М. Бахтиным, который применял его для обозначения объективно существующих форм идеологии (см., например: [Бахтин 1975, 1994 и др.]). Идеологему можно рассматривать как термин политический, как часть какой-то идеологии, как элемент идеологической системы. В философском смысле понятие идеологема тесно переплетается с трактовкой идеологии и представляет собой совокупность взглядов и представлений, из которых складывается самосознание народа. Среди функций идеологием чаще всего называют мировоззренческую, ценностно-ориентационную и регулятивную и подчеркивают, что идеологема формулируют нормы, направляющие воззрения граждан в строго определенное ценностно-смысловое русло. «Идеологема представляют собой жесткие нормативные структуры, не допускающие в свои внутренние смысловые и ценностные пределы ничего из того, что могло бы поколебать их устойчивость, а с ней и стабильность охраняемого ими социального порядка» [www.rus-yaz.niv.ru]. Многообразие подходов к определению понятия *идеологема* продиктовано различием предмета исследования в разных отраслях научного знания. Для нас безусловный интерес представляет лингвистическая трактовка, так как определение идеологема как «часть идеологии, элемент идеологической системы» кажется слишком абстрактным и не отвечает задачам лингвистического дискурсивного анализа.

Суммируя имеющиеся трактовки понятия, попытаемся ответить на вопрос о статусе идеологема в лингвистике: *феноменом какого порядка является идеологема?* Особый интерес к данному феномену связан с описанием специфических языковых и концептуальных черт тоталитарного дискурса советской эпохи [Купина 1995; Земская 1996; Мирошниченко 1996; Нахимова 2003; Гусейнов 2004; Торохова 2006 и др.] Позднее ряд исследований показал, что формирование идеологем – это прерогатива не только тоталитарного дискурса, но любого идеологически окрашенного дискурса [Кузьмина 2007; Малышева 2010; Каблуков 2016; Тимофеев 2018 и др.]. Широкий спектр тематики исследований указывает на тесную взаимосвязь идеологем с идеологией в целом как феноменом социальным, политическим, мировоззренческим, не ограниченным рамками какой-то одной доминирующей системы взглядов.

На современном этапе развития лингвистики выделяют два ведущих направления в трактовке идеологем – лингвистическое и когнитивное. В рамках первого направления идеологема рассматривается как вербальная единица, репрезентирующая базовые идеологические ценности. Такой концепции придерживаются, в частности, Н. А. Купина, А. П. Чудинов, Т. Б. Радбиль, отмечая, что идеологема – это «языковая единица, семантика которой покрывает идеологический денотат или наслаивается на семантику, покрывающую денотат неидеологический» [Купина 2000: 183]. Близкую по существу трактовку изучаемого феномена находим у Г. Ч. Гусейнова, который пишет о «формах бытования идеологем» [Гусейнов 2003], что косвенно указывает на понимание идеологем как единиц неязыкового, ментального порядка. Однако в той же работе «Советские идеологема в русском дискурсе 1990-х» (2003) автор поддерживает лингвистическое семиотическое толкование и выделяет минимальные единицы, которые «маркируют», в частности, советскую идеологию: идеологема-буквы, идеологема – падежные окончания, идеологема-предлоги, идеологема-топонимы / эргонимы, а также макроидеологема, к которым автор относит идеологема-цитаты и даже идеологему-акцент.

Второй подход к пониманию идеологема представляет ее как феномен ментального, когнитивного порядка. Так, Н. И. Клушина рассматривает идеологему с позиций коммуникативной стилистики и определяет ее как «базовую интенциональную категорию публицистического текста и публицистического дискурса, которая задает определенный идеологический модус»; как «основную авторскую

идею, имеющую политическое, экономическое или социальное значение, ради которой создается текст» [Клушина 2008: 38–39]. В качестве языковой репрезентации идеологем автор отмечает прежде всего вербальные средства, а именно «мировоззренчески насыщенное обобщающее слово, чаще всего образное слово, метафору, обладающую мощной суггестивной силой» [Там же: 38]. Однако потенциально возможные языковые экспликации идеологем не ограничиваются лексико-семантическим уровнем языка. Н. И. Клушина называет и другие способы репрезентации в дискурсе, такие как «авторская оценочность, интерпретация действительности, номинации и выбранная адресантом стилистическая манера изложения (речевая агрессия, речевое одобрение или подчеркнутая объективность)» [Там же: 5].

Принимая во внимание приведенные выше умозаключения, которые касались социальной и когнитивной природы идеологии, отметим, что нам импонирует точка зрения ряда авторов, которые трактуют идеологемы как ментальные сущности. Так, Е. Г. Малышева под *идеологемой* понимает «особого типа многоуровневый концепт, в структуре которого (в ядре и на периферии) актуализируются идеологически маркированные концептуальные признаки, заключающие в себе коллективное, часто стереотипное и даже мифологизированное представление носителей языка о власти, государстве, нации, гражданском обществе, политических и идеологических институтах» [Малышева 2009: 35]. В данном определении отчетливо прослеживается указание на объективную близость таких когнитивных единиц, как идеологема, концепт и ментальный стереотип.

Действительно, разграничить эти понятия и описать их отличительные дифференциальные признаки, не прибегая к необходимости трактовать один феномен через другой, достаточно сложно. Так, Н. И. Клушина, пытаясь разграничить эти понятия, отмечает, что «концепты складываются стихийно, а идеологемы – результат целенаправленной дискурсивной деятельности [Клушина 2008: 35]. С подобным пониманием сути анализируемых единиц можно согласиться ввиду того, что идеологема представляет собой особый концепт с мощной идеологической доминантой, который «встраивается» (намеренно и целенаправленно) и закрепляется в массовом сознании. Однако следующее замечание Н. И. Клушиной о том, что «концепт – это исторически закрепленный культурный феномен, элемент языковой картины мира, а идеологема – это пропозициональная идея, составная часть публицистической картины мира»

[Там же: 35], кажется нам спорным. Трактовка идеологем как составной части публицистической картины мира существенно сужает понятие. Не только концепт, но и идеологема, являясь многоуровневым концептом, представляет собой ментальную единицу языковой картины мира. Кроме того, определяя идеологему как пропозициональную идею, автор ограничивает возможную дискурсивную экспликацию идеологем, которая использует не только вербальные средства (языковые единицы разного уровня).

Что касается корреляции понятий *идеологема* и *ментальный стереотип*, то общим основанием для соположения этих когнитивных единиц может быть, во-первых, представление о ментальном стереотипе как о составной структурной единице идеологемы, позволяющей интерпретировать и описать ее национально-культурную специфику. Так, например, Е. Г. Малышева, описывая этнокультурную специфику универсальной идеологемы «спорт», интерпретирует ее как систему ментальных стереотипов, которая задается всей совокупностью бытовых, социально-экономических, социально-политических, исторических, природных, этнических, культурологических факторов. Вторым общим основанием для понятий *идеологема* и *ментальный стереотип* можно считать мифологизацию медийного дискурса. К. Леви-Стросс считает, что миф есть язык образов, обладающий четкой структурой и способный передавать знания о мире. Он полагает, что образ строится на основе мифа. Стереотип опосредует миф в обыденное знание как составную часть само собой разумеющегося, здравого смысла, врожденных знаний [Леви-Стросс 1993]. Таким образом, мыслительный образ-представление о предмете часто создается на базе укоренившихся в сознании реципиентов стереотипов и мифов.

На тесную взаимосвязь мифа и идеологемы указывает и Н. И. Клушина, она использует термин мифологема, под которой понимает «некую прототипическую формулу, заключающую в себе универсальную идею-образ, которая затем может получить национальное наполнение» [Клушина 2014: 55]. Мифологемы подобны общим структурным схемам, по которым строится миф, они в сжатой форме резюмируют, кодируют историю, которая становится частью человеческого опыта и закрепляется в массовом сознании. По сути своей мифологемы и идеологемы одинаковы: они редуцируют сложные явления до общепонятных идей. С помощью стереотипных номинаций мифологемы и идеологемы принимаются на веру и укореняются в сознании. И миф, и идеологема опираются на исторический

опыт человечества, однако последняя в большей степени связана с настоящим и будущим, являясь ориентиром для человека и определяя вектор развития.

Методология исследования. Охарактеризуем кратко методологическую базу исследования. В условиях нарастающей конвергенции медиаконтента особое значение приобретает интегрированный подход в исследованиях дискурса в сфере массовой коммуникации. Этот подход, отражающий междисциплинарный характер исследований, основан на сочетании широкого спектра методов. Перечислим и дадим краткую характеристику методам, актуальным для нашего анализа.

Безусловно, ключевое значение для изучения медиадискурса имеет *метод дискурсивного анализа*, который позволяет исследователю обратить внимание не только на внешние формальные признаки текста, но и на целый ряд экстралингвистических факторов, которые зачастую играют решающую роль в актуализации значимых смыслов. Одним из идейных вдохновителей метода дискурс-анализа можно по праву считать голландского ученого Т.А. ван Дейка, который, изучая новостной, политический и медийный дискурс, отмечает, что структуры медиатекстов могут быть поняты адекватно только при учете контекста коммуникативной ситуации. «The genre description of political discourse should not so much take place at the levels of text, but rather at the level of context». – Описание жанра политического дискурса должно осуществляться не столько на уровне текста, сколько на уровне контекста [Dijk 2002: 7]. Под *контекстом* автор понимает «ментальную репрезентативную структуру характеристик социальной ситуации, которые релевантны производству и пониманию дискурса» [Дейк 2014: 116]. Одной из важных целей дискурс-анализа является выявление и описание обычно скрытых для массовой аудитории связей между языком, идеологией и правящими элитами, которые определяют актуальную «медиаповестку».

Достаточно близким по своим задачам к методу дискурсивного анализа и перспективным для нашего исследования можно считать *метод критической лингвистики (critical linguistics)*. Ключевым для данного метода является замечание о том, что «знаки языка и способы их актуализации не носят нейтрального характера» [Добросклонская 2014: 185], ввиду чего подчеркивается необходимость анализа идеологически насыщенных компонентов текста, неизбежно присутствующих в каждом произведении медиаречи. Рут Водак, будучи одним из основоположников критического анализа дискурса, среди

наиболее важных вопросов в русле данной теории отмечает следующие: «Как происходит натурализация идеологии? Какие дискурсивные стратегии делают контроль легитимным, а социальный порядок “естественным”? Как в языке выражается власть? Кто имеет доступ к инструментам власти и контроля? Как осуществляется согласие, принятие и законодательное закрепление доминирования?» [Водак 2011: 287].

Большое внимание изучению массмедийного дискурса уделяется также в рамках *когнитивной лингвистики*. Основная задача исследований в этом направлении состоит в анализе когнитивных структур сознания и когнитивных инструментов кодирования и декодирования действительности как фрагмента языковой картины мира. Когнитивный подход также важен ввиду того, что в открытом дискурсивном пространстве (в частности, в медиадискурсе) происходит трансформация реальной действительности в ее медийную репрезентацию, при которой особое значение приобретает не объективное отражение действительности в СМИ (хотя до сих пор это постулируется как краеугольный камень, основа основ), а интерпретация действительности в виде комментариев, оценок, создающая нужный информационный идеологический фон.

В рамках *теории когнитивно-дискурсивного миромоделирования* С. Л. Кушнерук использует понятие «возможного мира», под которым понимается «когнитивный конструкт, способный к трансформации и адаптации в меняющихся условиях коммуникации» [Кушнерук 2019: 71]. В русле теории когнитивно-дискурсивного миромоделирования дискурс анализируется в терминах *репрезентационных структур*, отличающихся по степени концептуальной сложности. Эти когнитивные структуры рассматриваются как «проявление «власти» институциональных агентов, контролирующих дискурс и комбинирующих элементы действительного и вымышленного для выгодного определенному институту ‘портретирования’ действительности» [Там же: 7]. Мы считаем правомерным отнести идеологему к особому рода репрезентационной структуре, конструирующей некую «версию» реальности, и свою задачу видим в описании концептуальных свойств и структуры этой ментальной модели фрагмента действительности.

Мы рассмотрим идеологему «*западные ценности*» как инструмент ведения информационно-психологической войны. За основу примем определение, предложенное группой ученых Сибирского федерального университета под руководством А. П. Сквородникова

(Г. А. Копнина, А. А. Бернацкая, И. В. Евсеева, А. В. Колмогорова, Б. Я. Шарифуллин), которые трактуют *информационно-психологическую войну* как «противоборство сторон, которое возникает из-за конфликта интересов и/или идеологий и осуществляется путем намеренного, прежде всего языкового, воздействия на сознание противника (народа, коллектива или отдельной личности) для его когнитивного подавления и/или подчинения, а также посредством использования мер информационно-психологической защиты от такого воздействия» [Лингвистика... 2017: 13]. Релевантными для нашего исследования будут также ключевые понятия и термины ИПВ. Во-первых, субъекты ИПВ: *субъект-1* – инициирующий ИПВ (инициатор); *субъект-2* – противостоящий инициатору ИПВ. *Актером* называется непосредственный исполнитель, выступающий на стороне одного из субъектов ИПВ. Актером может быть как отдельное лицо (например, журналист), так и целая группа (редколлегия газеты, журнала, новостного канала и т. п.). Субъект ИПВ через актора осуществляет намеренное воздействие на *объект* ИПВ, которым является сознание народа в целом или какой-либо целевой группы. Необходимо также дифференцировать понятие объекта и мишени ИПВ. В качестве *мишени* принято рассматривать понятия и представления о связанных с объектом сторонах действительности, которые подвергаются негативной оценке. В мишени выделяют ядро (или болевую точку), на которое направлен основной удар субъекта ИПВ [Там же: 22–23].

В настоящей работе идеологема «*западные ценности*» будет реконструирована на основе текстовых ресурсов американских интернет-изданий преимущественно публицистического жанра (то, что в английском языке принято называть термином *feature*, включая *feature articles, editorials, op-ed articles, opinion columns*). Мы ограничиваем свой анализ статьями публицистического жанра в силу определенной тематической направленности исследования и отмечаем следующие, важные для нашей работы признаки публицистического жанра: «социальная оценочность» (по Г. Я. Солганику), т. е. целенаправленное социальное воздействие; уникальность авторства публицистических текстов ввиду того, что автор является выразителем идей определенной социальной группы; прагматический потенциал, когда автор рассчитывает на немедленный отклик читательской аудитории; «чередование экспрессии и стандарта» (по В. Г. Костомарову), обусловленное сочетанием эмоциональности повествования с функциональной необходимостью информировать читателя, предоставляя достоверные факты.

Вообще, в настоящее время в СМИ нарастает интерес к субъективному повествованию, к тому, что в английском языке принято называть термином *soft news*, где «художественное» донесение материала выходит на передний план, иногда даже заслоняя информационную суть. Таким образом, «журналистика факта» (*hard news*), которая предполагает сухое и отстраненное изложение деталей, цифр, сообщений, уступает место «журналистике мнения», где автор создает историю, мастерски жонглирует фактами, задает риторические вопросы, создавая иллюзию диалога с читателем, и все это ради выполнения сверхзадачи – передачи главной идеи.

Попутно сделаем еще одно замечание, объяснив, почему мы рассматриваем идеологему «*западные ценности*» на основе ресурсов американских СМИ. Конечно, в широком смысле у США нет исключительного права собственности на ценности западной цивилизации, да и понятие *Запад* географически и геополитически США не ограничивается. Однако, представляя идеологему как ментальную единицу, характеризующуюся национальной спецификой, мы считаем нужным для чистоты эксперимента разграничить западные ценности и европейские ценности. Конечно, США и страны Европы, называя себя союзниками, партнерами, единомышленниками, проповедуют схожие ценности, но в силу различных исторических, географических, социальных, политических условий развития стран их общественно-значимые ценности не будут для них являться абсолютно общей константой.

Прежде чем перейти к реконструкции фрагмента языковой картины мира, мы должны ответить на ключевой для нашего исследования вопрос: почему мы называем концепт «*западные ценности*» идеологемой? В самом общем онтологическом смысле *ценность* является универсальным общим понятием, которое используется в философии «для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных объектов и явлений» и отсылает к миру должного, целевого, смысловому основанию» [www.philosophy.niv.ru]. Уже в этом общем определении *ценности* прослеживается тесная связь с идеологемой, которая по природе своей характеризуется повышенной аксиологичностью. Кроме того, и *идеологема*, и *ценность* социально опосредованы, выполняют важную функцию в жизни общества. *Ценности* трактуются как порождаемые культурой инварианты социальной жизни во всем ее многообразии, они систематизируют пространство человеческой жизни во временном аспекте (от прошлого к настоящему и будущему) и в аспекте аксиологическом,

позволяя человеку через принятые критерии оценок, через систему норм и способов социального признания ориентироваться в социальном пространстве, обосновывать смыслы. Помимо социального и аксиологического аспекта понятия *ценности* и *идеологемы* роднит и то, что оба они могут быть отнесены к ментальной сфере. Конечно, здесь мы имеем в виду ценности не материального порядка, а ценности идеальные, ценности-идеи, которые позволяют человеку познавать и конструировать «свою собственную» реальность, выстраивать систему ценностных отношений в социуме. Так и идеологемы, являясь ментальными конструктами, способствуют моделированию образа жизни в целом, и главное, образа мыслей людей.

Все названные аспекты (социальный, аксиологический, когнитивный) позволяют выстроить символическую триаду: *ценность* – *идеологема* – *идеология*, в которой последняя может выступать родовым понятием по отношению к первым двум. Оценочность как существенный признак идеологии подчеркивает Т. ван Дейк, отмечая: «Ideologies are systems of social cognition that are essentially *evaluative*: they provide the basis for judgements about what is good or bad, right or wrong, and thus also provide basic guidelines for social perception and interaction». – Идеологии – это системы социального познания, которые характеризуются повышенной аксиологичностью: они создают основу для суждений о том, что хорошо или плохо, правильно или неправильно, а также задают общий курс, направление для социального восприятия и взаимодействия [Dijk 1995a: 248]. Автор указывает на то, что ценности, конституирующие идеологию определенной социальной группы, могут быть и универсальными, но в каждой конкретной идеологии члены социальной группы сделают свой собственный выбор в пользу тех или иных ценностей, которые будут выстраиваться в иерархическую систему, отвечая целям и запросам социальной группы. Так, в идеологеме «*западные ценности*» лексема *западные* будет отвечать за национально-специфический компонент мировосприятия больших социальных сообществ, которые используют эту систему ценностей для самоидентификации и для осуществления контактов, взаимодействия с членами других социальных групп по линиям разграничения *свой/чужой, правильный/неправильный, соответствующий/не соответствующий нормам*.

По своей сути идеологема «*западные ценности*» будет относиться к категории базовых онтологических идеологем, имеющих свое конкретное этноспецифическое наполнение. Рассматривая специфику употребления идеологем в современном политическом

дискурсе, А. П. Чудинов выделяет два типа идеологем. К первому относятся идеологемы-слова, «смысл которых неодинаково понимается сторонниками различных политических взглядов; часто различия выражаются в эмоциональной окраске слова, на которое переносится оценка соответствующего явления» [Чудинов 2007: 92]. Ко второму типу идеологем относятся слова или словосочетания, которые «используются только сторонниками определенных политических взглядов» [Там же: 93], тогда как их политические оппоненты для обозначения тех же реалий будут применять что-то иное из арсенала своего «политического словаря».

Анализируемую нами идеологему нельзя, скорее всего, отнести к вышеназванным типам, она носит универсальный характер, является вектором развития для целой нации (или даже наций). Суть и содержание универсальной идеологемы одинаково понятны и принимаются всеми носителями языка, независимо от их политических взглядов. Е. Г. Малышева, давая характеристику универсальным идеологемам, подчеркивает, что они частотны и общеупотребительны, обладают устойчивым набором концептуальных признаков и характеризуются положительным аксиологическим модусом значения [Малышева 2009: 38]. Мы еще подробно остановимся на вопросе частотности употребления идеологемы «*западные ценности*», а пока прокомментируем мысль о безусловном положительном аксиологическом модусе значения универсальной идеологемы. Это допущение считается справедливым для носителей языка и носителей ценностей (американцев, европейцев), хотя и здесь нужно сделать оговорку ввиду того, что идеологии и идеологемы как их составные элементы являются системами динамичными, которым свойственны изменения и модификации. Поэтому даже для самих американцев понятие «*западные ценности*» не носит абсолютный характер.

Если рассматривать универсальную идеологему «*западные ценности*» в широком контексте, не ограничиваясь только американской и европейской политической риторикой, то обнаруживается множественность оценки. Сопоставление, в частности, американского и российского политического и медийного дискурса демонстрирует неоднозначную, а порой диаметрально противоположную трактовку понятия «*западные ценности*». Так, в российских СМИ аксиологический модус значения может смещаться в сторону резко негативного. Приведем здесь один из многочисленных примеров: «Центральной категорией-идеологемой для западноевропейских полисемейкеров стал симулякр “ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ”. Запад обвиняет РФ

в том, что у нее “неправильные ценности”. Что как бы и дает Западу моральные и прочие основания для наступления на Россию по всем возможным направлениям. При этом западные идеологи и интеллектуалы, если предложить им расшифровать понятия “американские ценности”, “европейские ценности”, “западные ценности” и т. п., как правило, назовут с десятков расхожих штампов, давно утративших изначальный смысл» [<http://www.gia.ru>. 17.03.2016]. Изучение идеологием в сопоставительном плане может стать отдельным самостоятельным исследованием, здесь мы лишь хотим подчеркнуть относительный характер универсальности идеологием и их аксиологического статуса.

Возвращаясь к вопросу о таких характеристиках идеологием, как частотность и общеупотребительность, обратимся к корпусу как унифицированному и структурированному массиву языковых данных, специально предназначенному для решения различных лингвистических задач. Безусловным преимуществом работы практически с любым корпусом является репрезентативность языкового материала, то есть широкая представленность лингвистических данных в реальном контексте. Отбор текстов производился по ключевому словосочетанию *Western values* из корпусов NOW (News on the Web) и COCA (Corpus of Contemporary American English). По данным корпуса NOW, который составлен на основе текстов интернет-газет и журналов, количество употреблений словосочетания *Western values* за последние пять лет (с 2014 по 2018 год) достаточно высокое: в среднем, 232 употребления в год. Мы не включаем статистические данные за 2019 год, так как на текущий период нет актуальной информации за весь год. Стабильно высокие показатели, которые продемонстрировали максимум в 2017 году (331 употребление словосочетания в электронных СМИ), подтверждают предположение о частотности и значимости освещаемого явления. Конечно, анализ корпуса может дать исчерпывающую информацию не только о динамике освещения какого-либо события в СМИ, ведь каждое слово или словосочетание представлено в расширенном контексте, который позволяет рассматривать сочетаемость и устойчивые синтагматические связи, дает возможность выделить целый ряд концептуальных признаков, существенных для идеологемы как ментальной структуры.

Мы проанализировали сочетаемость и несколько синтаксических моделей со словосочетанием *Western values*, используя корпус COCA. Этот корпус по объему уступает корпусу NOW, однако нас

в данном случае будут больше интересоваться не количественные, а качественные характеристики языковых данных. Для начала анализ корпуса может помочь ответить на вопросы: Что такое западные ценности? Какие собственно ценности подразумеваются? Несколько синтаксических моделей со словосочетанием *Western values* включают ключевые ценности западной цивилизации, а именно модель 1: *Western values of ... (democracy, transparency, tolerance, independence, secularism, equality)*; модель 2: *Western values such as ... (individualism, honesty, individual rights, human rights and rule of law, respect for property)*. В этом перечислении нет ничего неожиданно, напротив: такие ценности, как демократия, независимость, толерантность, равенство, прочно ассоциируются с Америкой и Западом и представляют собой концептуальное ядро идеологемы. Следующие две синтаксические модели указывают на взаимосвязь ценностей и других ментальных структур человеческого сознания: модель 3: *Western values and ... (attitudes, cultural forms, interests)*; модель 4: *Western values, ... (behaviors, beliefs, lifestyle)*. Идеологема «западные ценности» как когнитивная структура встраивается в сознание и формирует мировоззренческий базис наравне с индивидуальными мнениями, взглядами, умозаключениями. «Западные ценности» перечисляются через запятую даже с «образом жизни», они представляют собой ценностные ориентиры, которые определяют жизнь отдельного человека в обществе и жизнь социума в целом.

Получив представление о том, какие ценности традиционно принято называть западными, обратимся к корпусу за дополнительными характеристиками. Так, модель 5 (*adjective + Western values*) позволяет составить список коллокаций, в которых первый компонент – это прилагательное, определение к словосочетанию *западные ценности*. Вот список этих прилагательных, упорядоченный по алфавитному порядку: *absolute, (deeply) anchored, conservative, essential, familiar, fundamental, liberal, modern, shared, traditional, unchanging, universal*. Неслучайно мы отнесли идеологему «западные ценности» к разряду базовых онтологических идеологем. Прилагательные из этого списка подчеркивают фундаментальный, абсолютный характер ценностей, которые глубоко укоренились в жизни общества, они настолько универсальны, что стоят выше политических противоборств, объединяя консерваторов и либералов. В приведенном списке нет прилагательных, которые бы негативно описывали западные ценности. В корпусе мы обнаружили два примера с прилагательными отрицательной коннотации (*false/imported*

Western values). В количественном соотношении они, конечно, уступают прилагательным положительной и нейтральной коннотации, типа *традиционные, основные, неизменные*, однако демонстрируют некоторую двойственность оценки. Если кто-то определяет западные ценности как ложные (*false*) или как привнесенные извне и, возможно, навязанные кем-то (*imported*), то происходит смещение аксиологического модуса значения.

Это смысловое противоречие становится еще более очевидным, если рассмотреть следующую модель 6 в корпусе: *verb (verbals) + Western values: adapt, adopt, advance, betray, cherish, condemn, committed to, contaminated by, critique, defend, embrace, encourage, emulate, ignore, impose, inculcate, internalize, promote, reinforce, reject, replicate, share, threaten, undermine*. Итак, с одной стороны, носители западных ценностей разделяют общие мировоззренческие установки (*share, embrace, cherish, committed to*), они готовы делиться и продвигать свои идеи (*advance, encourage, reinforce, promote*), и есть носители других культур, которые готовы перенять и усвоить новый перспективный ценностный опыт (*adapt, adopt, emulate, inculcate, internalize, replicate*). С другой стороны, есть и другие, которые воспринимают западные ценности как чуждые их культуре, искусственно навязываемые им извне, и выбирают позицию непринятия и противодействия повсеместному насаждению инокультурных ценностей (*condemn, contaminated by, critique, ignore, impose, reject*). Сторонники западных ценностей не могут не слышать критику в свой адрес, они осознают угрозу (*threaten, undermine, betray*) и готовы предпринять все усилия по защите своих интересов (*defend, protect*).

Еще две модели коллокаций из корпуса СОСА позволяют реконструировать структуру, схожую с той, что мы описали выше. Так, модель 7 (*noun + of + Western values*) представляет собой коллокацию существительного (как правило, абстрактного) и словосочетания *Western values* с предлогом *of*, который указывает на родительный падеж, например *defense of Western values* (*защита западных ценностей*). Коллокации можно условно разделить на две группы: *за и против*, сторонники западных ценностей отстаивают и продвигают свои убеждения (*defense of, realization of, introduction of, beacon of, influence of, (universal) adoption of, communication of, superiority of, embodiment of, greatness of, triumph of Western values*), противники западной идеологии открыто сопротивляются чуждым культурным ценностям (*abandonment of, denunciation of, deterioration of, (aggressive) marketing of, (corruptive) role of, imposition of, rejection of,*

blind hatred of, fatal case of Western values). Прилагательные *aggressive, corruptive, fatal, blind* (в словосочетании *слепая ненависть*) выполняют роль интенсификаторов, усиливая негативную коннотацию абстрактных существительных.

Модель 8 имеет схожий компонентный состав с предыдущими коллокациями модели 7 и выглядит следующим образом: *noun/adjective/participle + prep. + Western values*. Представления о западных ценностях выглядят диаметрально противоположными, приверженность идеям западной идеологии выражается, в частности, следующими коллокациями: *dominated by, (profound) belief in, (in) line with, a (long) way toward, inclination toward, adherence to, dedication to Western values*. Негативное отношение представлено следующими словосочетаниями: *enmity to, attack on, rebellion against, rhetoric against, antagonistic to, war on, disillusioned with, contempt for Western values*. Здесь отмечаем не только антагонистическую риторику, но и открытую враждебность, воинственность, сопротивление западным ценностям, насаждаемым извне.

Итак, анализ корпуса позволяет сделать следующий вывод: идеологема «западные ценности» является биполярной, восприятие ценностных установок западной цивилизации разными социальными и этническими группами размещается у противоположных полюсов на шкале оценки: с одной стороны, полная убежденность в величии и триумфе западных ценностей, которую могут или должны разделять представители других культур, с другой стороны, негативное отношение к инокультурному вмешательству, которое выражается по-разному, начиная со здорового скептицизма и заканчивая враждебно-воинственными настроениями. На основе корпусного анализа мы получаем схематичное представление об исследуемом объекте, можем наметить себе основные ориентиры и направления дальнейшего изучения проблемы. Анализ дискурсивного пространства позволит нам получить «объемную картинку» с учетом экстралингвистических факторов, особенностей коммуникативной ситуации, интерпретации и оценочности коммуникативного события участниками, представляющими разные социальные группы. Для этого обратимся к текстам американских интернет-газет и журналов и рассмотрим идеологему «западные ценности» в социально-когнитивном аспекте.

По авторитетному мнению Т. ван Дейка, идеологии не являются беспорядочным набором оценочных пропозиций, они имеют определенную упорядоченную структуру. Так, рассматривая идеологему

«западные ценности» как ключевой структурный элемент западной идеологии, нам необходимо ответить на следующие вопросы: *Кто является носителем западных ценностей? Кого допускают в эту группу, а кого нет? Какие ценности они пропагандируют? Каковы их цели? Какие действия они предпринимают, чтобы защищать/продвигать свои ценности? Какими ресурсами для этого они обладают?* Важно отметить, что все эти категории (ценности, цели, ресурсы, представления о себе в рамках архетипической оппозиции «свой – чужой») отражают социальную реальность опосредованно, их главная функция – выполнять роль идеологического ментально-го основания для самоидентификации, для позиционирования себя по отношению к носителям других ценностей.

Итак, рассмотрим, как медийный дискурс определяет носителей западных ценностей. Конечно, это прежде всего сами американцы: **Americans do not share a common ancestry and a common blood. What they have in common is a system of laws and beliefs that shaped the establishment of the country, a system developed within the context of Western civilization** (The New York Times. 04.05.1991). – *Американцев не объединяют общие предки и происхождение. То, что их действительно объединяет, так это система законов и убеждений, которая привела к созданию государства, система, которая развивалась в контексте западной цивилизации.* Кроме американцев, к носителям западной идеологии также относятся и европейцы, прежде всего, населяющие страны Западной Европы и представляющие коллективный Запад. **The efforts of the West to promote its values of democracy and liberalism as universal values, to maintain its military predominance and to advance its economic interests engender countering responses from other civilizations** (The New York Times. 06.06.1993). – *Усилия Запада по продвижению ценностей демократии и либерализма как универсальных ценностей, по сохранению военного превосходства и продвижению своих экономических интересов порождают контрвыпады со стороны других цивилизаций.* В широком, глобальном смысле носителей западных ценностей объединяет понятие *западной цивилизации*. **Western civilization has two major variants, European and North American, and Islam has its Arab, Turkic and Malay subdivisions. But while the lines between them are seldom sharp, civilizations are real. They rise and fall; they divide and merge. And as any student of history knows, civilizations disappear** (The New York Times. 06.06.1993). – *Западная цивилизация существует в двух своих разновидностях: Европейская и Североамериканская, а Исламская цивилизация делится*

на Арабскую, Тюркскую и Малайскую. Несмотря на то, что границы между ними размыты, цивилизации действительно существуют. Они достигают высот развития и приходят в упадок; они дробятся и объединяются с другими цивилизациями. И, это известно любому студенту-историку, цивилизации исчезают, перестают существовать.

Вообще, понятие *цивилизация* не менее эклектичное и сложное, чем понятие *ценность*. Оно может обозначать этап в эволюции человеческого общества, который пришел на смену первобытному строю. С другой стороны, и для нас именно такая трактовка будет представлять особый интерес, цивилизация определяется как «совокупность организационных средств, посредством которых люди стремятся достичь тех общественных целей, которые заданы существующими универсалиями культуры и фундаментальными символами последней» [Грицанов 1998]. Здесь как раз речь идет об особом общественном устройстве, при котором общество для реализации своих целей будет руководствоваться ценностями, культурными установками как личными, так и универсальными для всего социума в целом.

Обратимся теперь к тем самым ценностям, которые Америка и Запад постулируют как основу основ западной цивилизации. *This Western civilization narrative came with certain values – about the importance of reasoned discourse, the importance of property rights. It set a standard for what great statesmanship looked like. It gave diverse people a sense of shared mission and a common vocabulary, set a framework within which political argument could happen and most important provided a set of common goals* (The New York Times. 21.04.2017). – *Этот нарратив западной цивилизации определяет основные ценности – важность аргументированной полемики, важность права собственности. Она [западная цивилизация] показала, что такое – великое искусство управлять государством. Она дала многонациональной нации осознание общей миссии и общего языка, дала возможность людям вести политический диалог и, что самое важное, объединила их общими целями.*

Западные ценности, являясь сутью западной идеологии, носят прежде всего политический характер. Здесь отмечаются ценности демократии, либерализма, политического суверенитета, республиканские ценности (...*the West to promote its values of democracy and liberalism as universal values; The essence of democracy is popular sovereignty, implying political and social equality; the efforts of The United States has historically been the world's anchor of republican*

ideals). Кроме того, ценности эти являются ценностями социального и экзистенциального толка: здесь равенство, высшее право закона, уважение прав человека, равенство полов, право выбора и личных свобод (*America's and the European Union's founding principles, which include democracy, equality, the rule of law and respect for human rights; Western liberal values of sexual equality and choice*). Ресурсы медийного дискурса коррелируют с языковым материалом корпуса и демонстрируют практически идентичный перечень ценностных установок, которые сами по себе звучат позитивно и очень убедительно, представляя ядро западной идеологии. Однако, как и анализ корпуса, дискурсивный анализ показывает смещение аксиологического модуса, когда ценности начинают носить амбивалентный характер, когда носители ценностей начинают противоречить сами себе, когда ценности, которые должны нести созидание и объединять нацию (нации), начинают носить деструктивный характер. Медиатексты будут прямым доказательством высказанного предположения.

В современной риторике публицистического и пропагандистского толка слово «цивилизация» может выполнять роль позитивного компонента конфликтной диады «Свои» – «Чужие» («Мы» – «Они»). То есть происходит упрощение понятия цивилизации до следующей формальной пресуппозиции: *наш* путь развития *цивилизированный*, так как он соответствует ценностям и нормам; *их* путь развития *нецивилизированный*, так как он не соответствует *нашим* ценностям и нормам. Возникает резонный вопрос: Почему «наш» путь развития должен соответствовать чьим-то ценностям? И кто может взять на себя право и ответственность устанавливать общие для всех нормы и ценности? Так, рассуждая о позиционировании «своих» ценностей в противовес «чужим», Т. дан Дейк отмечает: «This parallelism is not merely a mode of speaking, but based on deep-seated Western, European ideologies of ethnocentric and sometimes blatantly racist superiority and feelings of priority» [Dijk 1995b: 40]. – Этот параллелизм («свой – чужой») – это не просто привычная манера выражать свои мысли, он основан на глубоко укоренившемся в западной, европейской идеологии этноцентричном и порой откровенно расистском чувстве собственного превосходства. Таким образом, дискурсивное пространство идеологически окрашенных медиатекстов часто оформляется по принципу поляризации, фокусируя внимание адресата на преимуществах «своей» идеологии в контрасте с недостатками «чужой» идеологии.

Мы уже продемонстрировали на конкретных примерах, кто является носителем западных ценностей, то есть кто будет «своей» для

американцев (*in-group*). Теперь рассмотрим, кто находится в «лагере оппонентов» (*out-group*), чьи ценности чужды западной идеологии. Естественно противостоят западным ценностям страны, где политические режимы не отвечают демократическим нормам. *The first consequence has been the rise of the illiberals, authoritarians who not only don't believe in the democratic values of the Western civilization narrative, but don't even pretend to believe in them, as former dictators did* (The New York Times. 21.04.2017). – **Результатом этого стал рост числа противников либерализма, сторонников авторитарной власти, которые не только не верят в демократические ценности западной цивилизации, но даже и не притворяются, что верят в них, как это делали прошлые диктаторы.** Автор публикации подспудно сравнивает современных политических лидеров с диктаторами прошлых лет и ставит их в один ряд, отмечая, что нынешние «диктаторы» несут еще большую угрозу западным ценностям, так как они даже не притворяются, а открыто выражают свои оппозиционные взгляды. Приведенная цитата носит достаточно абстрактный характер, указывая на рост числа авторитарных политических лидеров, автор не называет имен. Но этот фрагмент из статьи скорее исключение из общего правила, так как современный американский медийный дискурс охотно апеллирует к действующим политикам, особенно когда этого требуют стратегии убеждения и аргументации. *Over the past few years especially, we have entered the age of strong men. We are leaving the age of Obama, Cameron and Merkel and entering the age of Putin, Erdogan, el-Sisi, Xi Jinping, Kim Jong-un and Donald Trump* (The New York Times. 21.04.2017). – **За последние несколько лет мы вступили в эру сильных людей (политиков). Мы оставляем эру Обамы, Кэмерона и Меркель и вступаем в эру Путина, Эрдогана, Ас-Сиси, Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Дональда Трампа.** Политиков прошлого и нынешних политических лидеров автор называет сильными людьми, но сильный далеко не всегда является союзником, он может быть и конкурентом или даже противником. Последних американцы находят по всему миру, даже в европейских странах, которые по определению должны проповедовать ценности западной идеологии. *The primary battle right now is over Poland, which is deepening its descent into illiberalism. Poland's trajectory is not unique within the bloc. Hungary has already gone down a similar path, and other member states in Central Europe are tilting in the same direction* (The New York Times. 10.01.2018). – **Главная битва сейчас за Польшу, которую все сильнее затягивают антилиберальные настроения. Польша**

не единственная страна в Европейском Союзе, которая выбрала подобный курс. Венгрия и другие страны центральной Европы пошли по той же наклонной плоскости.

Оставим пока за скобками предложение «Главная битва сейчас за Польшу...», в котором звучит неприкрытая интенция продолжить активные наступательные действия в поле информационно-психологической войны. Польша, конечно, сейчас не единственный оппонент США. *In France, the hard-right Marine Le Pen and the hard-left Jean-Luc Mélenchon could be the final two candidates in the presidential runoff. Le Pen has antiliberal views about national purity. Mélenchon is a supposedly democratic politician who models himself on Hugo Chávez* (The New York Times. 21.04.2017). – Во Франции представитель ультраправых сил Марин Ле Пен и ультралевых сил Жан-Люк Меланшон могли бы стать двумя кандидатами второго тура президентских выборов. Ле Пен открыто заявляет о своих антилиберальных взглядах в борьбе за «чистоту» нации. Меланшон, якобы демократ, равняется на Уго Чавеса. Сама вероятность такого выбора во Франции кажется неприемлемой для Америки. Ультраправые взгляды Марин Ле Пен говорят сами за себя; сомнительность демократических принципов Меланшона подчеркивается использованием модального слова *supposedly* (вроде бы, как будто) и упоминанием Уго Чавеса, который придерживался антиимпериалистической идеологии и был видным критиком внешней политики США. Помимо европейских стран, угрозу западным ценностям американцы видят и со стороны Турции, союзника США по блоку НАТО. *Recep Tayyip Erdogan dismantles democratic institutions and replaces them with majoritarian dictatorship. Turkey seems to have lost its desire to join the European idea* (The New York Times. 21.04.2017). – Реджеп Тайип Эрдоган разрушает демократические институты и заменяет их мажоритарным диктаторским государством. Турция, кажется, потеряла желание принять европейскую идею. Америка, провозгласив себя оплотом западной цивилизации, готова отстаивать ее интересы в извечном противостоянии Запада и Востока. *The West must also limit the expansion of the military strength of potentially hostile civilizations, principally Confucian and Islamic civilizations, and exploit differences and conflicts among Confucian and Islamic states* (The New York Times. 06.06.1993). – Запад должен ограничить экспансию военной мощи потенциально враждебных цивилизаций, главным образом конфуцианской и исламской цивилизаций, и использовать в своих интересах различия и конфликты конфуцианских и исламских государств.

Одним из главных идейных и экономических конкурентов США, готовым бросить вызов глобальной гегемонии Америки, считается Китай. *China, like Russia now, pushes back against Western aspirations and efforts to reshape the world in its own image* (The New York Times. 12.09.2015). – *Китай, как и Россия сейчас, противостоят стремлениям и усилиям Запада переделать весь мир по своему образу*. Через СМИ США открыто транслируют идею своего превосходства и стремление «перекрыть» весь мир «по своим лекалам». В приведенной выше цитате назван не только Китай как носитель инокультурных ценностей, но и Россия. *Even Russia argues both for exceptionalism («the third Rome») and for its own more perfect representation of Western civilization, claiming that the West is self-interested, decadent and hypocritical, defending universal values but freely ignoring them when it pleases* (The New York Times. 12.09.2015). – *Даже Россия претендует на исключительность (Третий Рим) и на то, что именно ей должно принадлежать право представлять идеи западной цивилизации, заявляя, что Запад в упадке, им движет корысть и лицемерие, он отстаивает универсальные ценности, но сам легко игнорирует их, когда в этом есть какая-то выгода*.

Количество публикаций, посвященных политическому и идеологическому курсу России, и их общая тональность демонстрируют негативную реакцию США. Достаточно вспомнить недавнее интервью Владимира Путина журналистам флагамена мировой финансовой прессы Financial Times (от 29 июня 2019 г.). Несмотря на экономический уклон издания, круг обсуждаемых вопросов вышел далеко за рамки темы экономики и финансов и получил широкий общественный резонанс. Многие западные газеты вступили в открытую полемику с Путиным, не остались в стороне и американские СМИ. В частности, The Washington Post опубликовала статью *Putin's attack on Western values was familiar. The American reaction was not* (29.06.2019). – *Атака Путина на западные ценности была привычной. Реакция Америки – нет*. Для нашей работы эта статья представляет интерес, так как наглядно демонстрирует, как автор оформляет дискурсивное пространство по типу поляризации ценностей, какие стратегии и инструменты воздействия на адресата он использует, побуждая читателя присоединиться к его мнению. Обращает на себя внимание, прежде всего, заголовок статьи, который условно делит публикацию на две части: позиция Путина и собственно реакция Америки. В заголовке автор выводит смысло- и структурообразующую пропозицию *Атака Путина на западные ценности привычна*.

Эта пропозиция должна, по замыслу автора публикации, активировать в сознании читателей следующие presupпозиции:

- У Путина есть свой взгляд на западные ценности;
- Путин враждебно настроен по отношению к западным ценностям;
- Западу хорошо знакома позиция Путина.

Именно в такой тональности написана статья, чтобы показать, что в риторике Путина нет ничего нового. *Russian scorn for liberal democracy has a long history, and a certain kind of Russian disdain for the West is nothing new* (The Washington Post. 29.06.2019). – *Презрение России к западным ценностям имеет долгую историю, в нем нет ничего нового для Запада.* Чтобы аргументировать эту связь нынешней России с ее прошлым, автор апеллирует к прецедентным цитатам и именам, вспоминая, как в 1920 году В.И. Ленин говорил, что парламент как орган государственной власти является пережитком прошлого и скоро перестанет существовать; в 1956 году Н. Хрущев заявлял о безоговорочной победе Советского Союза в борьбе с Западом. Начиная с заголовка публикации (*Атака Путина на западные ценности...*), автор стратегически реализует перлокутивную цель – убедить адресата в том, что Россия ведет агрессивную информационную войну, а главной мишенью являются западные ценности. Несмотря на то, что в трактовке Путиным основных идей западной идеологии нет, по заверению американцев, ничего нового, автор статьи все-таки цитирует идеи президента России о либерализме: *To Putin, the «liberal idea» means that «migrants can kill, plunder and rape with impunity»; it also means that «children can play five or six gender roles»* (The Washington Post. 29.06.2019). – *По мнению Путина, идеи либерализма означают, что «мигранты могут убивать, грабить, насилловать абсолютно безнаказанно»; они также означают, что «дети могут выбирать для себя любую из пяти-шести гендерных ролей».* Цитаты намеренно вырваны из контекста, лишены логики изложения, глаголы отрицательной семантики (*убивать, грабить, насилловать*) усиливают негативную тональность высказывания. Чтобы подчеркнуть ложность такого представления, автор активировал в сознании западного читателя идеологические мировоззренческие установки, создавая привлекательный образ западного либерализма. *The liberal idea, to Putin, has nothing to do with rights, or freedoms, or separation of powers; nothing to do with judicial independence, the rule of law, private property, or any of the other things that make liberal societies prosperous and free* (The Washington Post. 29.06.2019). – *Либеральная*

идея, по мнению Путина, не имеет ничего общего с правами, свободами, разделением власти, судебной независимостью, правом закона, частной собственностью и со всем остальным, что делает либеральные общества процветающими и свободными.

Выступая как будто от лица Путина, автор имплицитно активирует идеологическую пресуппозицию: *Либеральные ценности ведут общество к процветанию.* Подобные имплицитные смыслы, как правило, не вступают в конфликт с персональными убеждениями в сознании адресата, принимаются им как само собой разумеющееся. Продолжая разворачивать стратегию дискредитации политики Путина, автор статьи в качестве доказательства своей позиции ссылается на критические комментарии высказываний российского президента: *The comments were telling: Putin's understanding of the Western liberal world and of Western liberal values is not, it seems, any more sophisticated than that of the Internet trolls whose wages he pays* (The Washington Post. 29.06.2019). – *Комментарии были многозначительными: представления Путина о западном либеральном мире и западных либеральных ценностях, кажется, не на много умнее представлений интернет-троллей, которым он исправно платит зарплату.* Журналист не цитирует комментарии, не ссылается на источник, он открыто обвиняет Путина в распространении ложной, провокационной информации. Далее негативная риторика смещается в сторону Дональда Трампа, который, в отличие от влиятельных американских лидеров прошлых лет, не воспринимает слова Путина как угрозу и вызов западным ценностям. Правящий американский истеблишмент разочарован действующим президентом (*But Americans no longer have that kind of leader*). Д. Трамп, общаясь с В. Путиным на полях саммита G 20, отмахивается от журналистов, обвиняет их в распространении фейковых новостей, отмечает, что у России нет подобных проблем со своими СМИ.

Вместо того чтобы прокомментировать проблему взаимодействия власти и СМИ в США, автор статьи намеренно переключает внимание читателей на проблему со свободой слова и журналистикой в России: *Indeed, Russia has a different attitude to journalists: Periodically, they are arrested, harassed and even murdered by agents of the state* (The Washington Post. 29.06.2019). – *Конечно, в России совершенно иное отношение к журналистам: периодически их арестовывают, притесняют и даже убивают агенты госбезопасности.* В качестве инструмента убеждения используются глаголы негативной семантики (*арестовать, притеснять, убивать*), которые вместе

с приемом градации усиливают воздействие на эмоциональную сферу адресата. Наречие *периодически* имплицитно подводит читателя к принятию факта того, что в России подобное варварское отношение к своим журналистам является обыденной практикой. Далее автор приходит к логичному для себя выводу: *That's what happens when you don't have the rules and practices of a liberal society to protect them. It's a world that is more comfortable for despots and dictators, and it's unsurprising that Putin prefers it* (The Washington Post. 29.06.2019). – *Вот что происходит, когда нет норм и правил либерального общества, чтобы защитить их (журналистов). Это мир, который более подходит деспотам и диктаторам, и неудивительно, что Путин предпочитает его.*

Автор, выстраивая свою позицию, разграничивает два социальных пространства – пространство «мы» с цивилизованными либеральными ценностями и пространство «они», где правят диктаторы. В американском политическом и медиадискурсе продолжается курс на «демонизацию» российских правящих элит, которые представляют угрозу ценностям западной идеологии. Статья заканчивается риторическим вопросом: *How long will Americans be willing to be led by someone who agrees?* (The Washington Post. 29.06.2019). – *Как долго Америка будет терпеливо соглашаться, чтобы ей управлял кто-то, кто согласен?* Риторический вопрос в конце публикации – это скорее скрытое утверждение, цель которого изменить мнение читателя в нужном для адресанта направлении. В частности, этот риторический вопрос можно «прочитать» двояко. Во-первых, он настраивает американцев против действующего президента, который не готов к активным наступательным действиям в защиту западных либеральных ценностей. Во-вторых, в нем звучит призыв для рядовых американцев к резистентности, к своевременной и адекватной реакции на внешние вызовы и угрозы.

Итак, американский медийный дискурс активно муссирует информацию о нарастающей угрозе западным ценностям. Но в СМИ не просто констатируется факт заката идеологического превосходства Запада («the end of Western ideological supremacy») и потери веры в демократические идеалы («the loss of faith in democratic ideals»). Характерной чертой западных и, в частности, американских СМИ в настоящее время является определенная склонность к саморефлексии. Это, конечно, не явная констатация факта упадка западной цивилизации и кризиса идеологии либерализма, это скорее попытки объяснить свою зарождающуюся неуверенность в универсальности

и незыблемости западных ценностей. Достаточно посмотреть на заголовки некоторых статей: «The crisis of Western civilization», «Are western values losing their sway?», «The Coming Clash of Civilizations Or, the West Against the Rest», «Defending Liberal Democracy Is Not the Same as Defending ‘the West’», «The debate over universal values». Часть американского общества в лице некоторых журналистов начинает задаваться вопросом: *почему западные ценности начинают терять свою привлекательность? Centuries of superiority and global influence appeared to reach a new summit with the collapse of the Soviet Union, as the countries, values and civilization of the West appeared to have won the dark, difficult battle with Communism. But is the embrace of Western values inevitable? Are Western values, essentially Judeo-Christian ones, truly universal?* (The New York Times. 12.09.2015). – *Столетия превосходства и глобального влияния, кажется, достигли новой вершины с падением Советского Союза, когда страны, ценности и в целом западная цивилизация выиграли в этой тяжелой битве с коммунизмом. Но так ли уж неизбежно это всеобщее принятие западных ценностей? Являются ли западные ценности, в частности иудейско-христианские, действительно универсальными?* В СМИ отмечается, что угроза американским ценностям приходит не только извне. И внутри общества набирают обороты противоречивые настроения: *Finally, there has been the collapse of liberal values at home. According to data published in The Washington Post, the share of young Americans who say it is important or absolutely important to live in a democratic country has dropped from 91 percent among those born in the 1930s to 57 percent among those born in the 1980s* (The New York Times. 21.04.2017). – *И наконец, крах ценностей либерализма произошел внутри страны. Согласно данным, опубликованным в Washington Post, процент молодых американцев, которые считают, что жить в демократическом обществе важно или абсолютно важно, упал с 91 % для респондентов, родившихся в 1930-х, до 57 % среди респондентов, родившихся в 1980-х.*

Продолжая критически осмысливать роль США в продвижении западных ценностей, некоторые справедливо задаются вопросом: *насколько реалистично Америка оценивает свои амбиции, проводя идеологическую экспансию? Countries that Americans today consider Western and countries that they consider non-Western have interacted for a long time, and shaped each other in profound ways... If being influenced by (and influencing) the West makes you part of the West, then the West is everything. If «Western» is synonymous with «democratic» or «free»,*

then you don't need the term at all (The Atlantic. 11.07.2017). – Страны, которые Америка сегодня считает западными, и страны, которые считаются не западными, взаимодействуют друг с другом уже долгое время и оказывают друг на друга существенное влияние... Если сам факт того, что на тебя оказывает влияние Запад (и ты влияешь на него), делает тебя частью Запада, тогда все становятся Западом. Если «западный» становится синонимом к словам «демократический» или «свободный», тогда в таком понятии вообще нет необходимости. Таким образом, мы возвращаемся к идее о том, что, несмотря на универсальный характер идеологии «западные ценности», она характеризуется смешанным аксиологическим модулем значения. Какую-то часть американского медийного дискурса можно охарактеризовать термином *soul-searching discourse* (дискурс переоценки ценностей), для которого актуальными остаются вопросы поиска национальной идеи, критического переосмысления идеологических установок, определяющих национальное самосознание.

Однако для большинства американских СМИ, которые так или иначе связаны с политическими силами и правящими элитами, западные ценности остаются позитивно маркированной идеологией, а также мощным инструментом манипуляции массовым сознанием. И, следовательно, осознавая внешнюю и внутреннюю угрозу идеологическим ценностям, американцы, в частности, через медиаканалы проводят стратегическую политику по защите своих интересов. Прежде всего смысл и последствия угрозы необходимо донести до сознания обывателя. Мы уже отмечали, что во многих статьях называются конкретные страны и лидеры государств, которые проводят неуютную Вашингтону политику, чтобы у американского читателя сложился «правильный» образ врага. *It's amazing what far-reaching effects this has had. It is as if a prevailing wind, which powered all the ships at sea, had suddenly ceased to blow. Now various scattered enemies of those Western values have emerged, and there is apparently nobody to defend them* (The New York Times. 21.04.2017). – Удивительно, к каким серьезным последствиям это (потеря веры в ценности западной идеологии. – Е.И.) привело. Как будто попутный ветер, раздувающий паруса кораблей, вдруг перестал дуть. И теперь вдруг появились различные враги западных ценностей, и нет, очевидно, того, кто бы мог их защитить. Для адресата создается образ объективной угрозы, который усиливается метафорой дрейфующих в море кораблей. В заключительной части предложения, где звучит мысль о том, что некому защищать западные ценности, адресат имплицитно получает

сигнал к действию, ведь это уже вопрос национальной безопасности, и никто не может оставаться в стороне.

И американцы настроены действовать решительно, у них, безусловно, есть выработанная стратегия, которой они следуют и которая находит отражение в поле политического и медиадискурса. О мерах, которые необходимо предпринять США по защите ценностей западной цивилизации, писал еще в 1993 году Самюэль Хантингтон, американский социолог и политолог, автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций, которую он описал в статье «Столкновение цивилизаций?», опубликованной в журнале *Foreign Affairs*. О том, что идеи Хантингтона не потеряли своей актуальности и продолжают вызывать жаркие споры, говорит, в частности, недавно опубликованная в *The Washington Post* статья *John Bolton is warning of a «Clash of Civilizations» with China. Here are the five things you need to know* (*The Washington Post*. 18.07.2019), в которой автор возвращается к публикации 1993 года, разбирает все *за* и *против* идеи конфликта цивилизаций. По мнению С. Хантингтона, краткосрочная стратегия США должна заключаться в консолидации общества в пределах своей цивилизации (прежде всего, среди американцев и европейцев); в принятии в границы западной цивилизации стран Восточной Европы и Латинской Америки, чья культура близка Западу; в установлении тесных отношений с Россией и Японией; в поддержке любых сообществ из других цивилизаций, которые симпатизируют западным ценностям и интересам; в укреплении международных институтов, которые отражают и легитимируют западные ценности; в ограничении военной экспансии потенциально враждебных цивилизаций. Рассмотрим на примерах медиатекстов, как современная Америка стратегически защищает свои идеологические интересы, какие ресурсы воздействия на сознание адресата используются для адекватного отражения своих целей.

Сейчас для США важнее распространения западной идеологии удержание авторитета Запада в тех странах, которые уже попали под его влияние, но по какой-то причине в настоящий момент решили пересмотреть свои политические и идеологические взгляды. Показательной в этом плане может быть статья *The Battle Line for Western Values Runs Through Poland* (*The New York Times*. 10.01.2018), в которой речь идет о том, что необходимо предпринять все усилия, чтобы сдерживать антилиберальные настроения в Польше и сохранить страну в стане своих идейных сторонников. Но США рискуют потерять контроль и винят в этом своего президента. *The United States has*

historically been the world's anchor of republican ideals, but President Trump has abandoned the role (The New York Times. 10.01.2018). – США исторически были якорем республиканских идей, но Дональд Трамп не смог сыграть эту роль. Чтобы выполнить миссию, Америке требуется союзник, и она находит его в лице Евросоюза. Так в статье реализуется прием *модификации релевантной аудитории* (термин Д. Зарефски [Zarefsky 2014], ведущего американского специалиста по речевому воздействию в области политической коммуникации), когда происходит смещение акцента на моральную ответственность европейцев ввиду того, что усилий одних американцев будет недостаточно. *As the temptations of nationalist populism spread, Europe has responsibility for holding down the Western fort... The European Union needs to take a firm stand in defense of Western values* (The New York Times. 10.01.2018). – С распространением националистического популизма Европа должна принять ответственность по удержанию своих западных границ... Евросоюз должен принять решительные меры по защите западных ценностей.

Такой лингвистический инструментарий, как использование военной лексики (*the battle line / линия фронта; to hold down its Western fort / удерживать свои западные границы; to be under siege from the same forces / быть под осадой; to have other arrows in its quiver / в колчане есть и другие стрелы*), формирует у адресата уже привычное языковое сознание (*war-mentality*), распределяет действующих лиц конфликта в оппозиции «свой – чужой», закрепляет определенные роли в этом «театре боевых действий». О бездействии администрации Белого дома автор публикации также говорит, пользуясь военной терминологией: *With the United States missing in action, it is up to the European Union to defend the principles and practices of democratic society* (The New York Times. 10.01.2018). – США **пропали без вести**, теперь именно Евросоюз должен защитить принципы и подходы демократического общества. Однако США оставляют за собой право контролировать деятельность европейцев, диктовать им свои требования. Манипулятивный эффект достигается имплицитно за счет использования субъективной модальной лексики. *The European Union must keep the pressure on to reverse Poland's illiberal turn* (The New York Times. 10.01.2018). – Европейский союз **должен** оказывать давление, чтобы изменить антилиберальную политику Польши; *But the European Union can no longer afford to treat wayward members with kid gloves* (The New York Times. 10.01.2018). – Но Евросоюз **больше не может** себе позволить церемониться с несговорчивыми членами

ЕС; Brussels **should** make clear its intention (The New York Times. 10.01.2018). – Брюсселю **следует** четко дать понять свои намерения; European Union officials and their member-state counterparts **should** deliberately isolate Warsaw (The New York Times. 10.01.2018). – Чиновники Евросоюза и их коллеги в странах-членах ЕС **должны** намеренно изолировать Варшаву.

Стратегия убеждения в дискурсивном пространстве неразрывно связана с оценкой. Автор использует оценочные ассертивы, высказывания, представляющие собой мнение говорящего как важный компонент моделируемой реальности. Основная иллокутивная цель использования ассертивов – побудить адресата присоединиться к оценке. Приведем пример оценочного ассертива из данной статьи. *A failure to do so will only undermine the union's effort to demonstrate that it is a civic community held together by democratic values, not just a distant, unaccountable bureaucracy – exactly what the populists claim* (The New York Times. 10.01.2018). – Если Евросоюз потерпит неудачу, то это подорвет усилия ЕС по поддержанию имиджа гражданско-го общества, сплоченного демократическими ценностями, и превратит его в удаленный непонятный бюрократический орган – именно таким его изображают популисты. В данном случае оценка носит опережающий прогностический характер, так как моделируется возможная ситуация неудачи ЕС по сдерживанию Польши. Исход такой ситуации может быть неутешительным для Евросоюза. Добиваясь своих целей, США играют на эмоциях европейцев, убеждают их в том, что раскол ЕС – это крах для всей Европы. Заканчивается статья словами: *The fate of Poland, Europe and the West is on the line* (The New York Times. 10.01.2018). – Судьба Польши, Европы и Запада поставлена на карту.

Основной стратегией США по защите западных ценностей всегда было укрепление связей с ЕС и внутри ЕС. *America did not fight the Cold War for itself alone, but for the democratic world, the free world – and those who wished to join it* (The Atlantic. 12.07.2018). – Америка сражалась в холодной войне не только за себя, но за весь демократический мир, за свободный мир – и за тех, кто хотел к нему присоединиться. Но западные ценности – это не просто преданность идеалам свободы и справедливости, это мощный инструмент идеологии в руках политиков, желающих удержать власть и мировое господство. Так, в реальных военных операциях и на полях информационной войны Америка рассчитывает на своих союзников. *Trump is right to push American allies to increase their defense spending. He is*

right to remind the NATO alliance that everyone must do their share. He is right to urge Germany to reconsider its plans to help Russia gain even more leverage over Europe through construction of a new natural gas pipeline (The Atlantic. 12.07.2018). – Трамп прав в том, что заставляет американских союзников увеличивать свои расходы на оборону. Он прав, что напоминает членам НАТО, что каждый должен вносить свой вклад. Он прав, что призывает Германию пересмотреть свои планы по оказанию помощи России в установлении еще большего влияния на Европу с помощью строительства нового газопровода. Образ сильной Америки, контролирующей своих союзников, создается композиционным построением дискурса. Использование параллельных синтаксических конструкций с анафорическим повтором (*он прав*) выполняет роль эксплицитно выраженной положительной оценки деятельности Трампа, и одновременно с этим имплицитно дискурс оформляется в директивной тональности по отношению к европейцам, которые должны выполнять волю США.

Итак, в отстаивании западных ценностей США используют широкий арсенал средств: экономические санкции, наращивание военной мощи, укрепление военного альянса с союзниками. Однако эти средства не всегда приводят к желаемому результату. *Americans have focused up until now on economic and military contests – at the expense of one of the most important tools in our arsenal* (The Washington Post. 10.07.2019). – До недавнего времени американцы были сосредоточены главным образом на экономическом и военном противостоянии – в ущерб одному из главных инструментов в своем арсенале. Под главным инструментом имеется в виду идеологическая война. Америка, которая со времен холодной войны обвиняла Советский Союз и впоследствии Россию в пропаганде, сама готова объявить идеологическую войну Китаю. *It (the USA) will have to relearn the lost art of ideological warfare. Only by challenging the basic legitimacy of the Chinese Communist Party can the United States win this competition, and thereby ensure the survival of the free, open and prosperous world* (The Washington Post. 10.07.2019). – США придется заново изучить утерянное искусство ведения идеологической войны. Только поставив под сомнение саму легитимность китайской коммунистической партии, США могут выиграть в этой конкурентной борьбе и, таким образом, обеспечить существование свободного, открытого и процветающего мира.

В статье *The lost art of ideological warfare*, опубликованной в The Washington Post (10.07.2019), автор раскрывает суть стратегии США по свержению коммунистического режима в Китае. Стратегия

аргументации реализуется посредством апелляции к аксиологически сильным прецедентам: к распаду Советского Союза как к прецедентному феномену и к Рональду Рейгану как к прецедентному имени. Автор публикации вспоминает историческое выступление Рейгана в мае 1988 года перед аудиторией МГУ, когда он не позволил себе пуститься в антикоммунистическую риторику. Слово «коммунизм» не прозвучало в ходе выступления ни разу, слово «свобода» использовалось 23 раза. Но цель была достигнута – вот что в статье называют искусством идеологической войны. Подобное умение манипулировать общественным сознанием США снова готовы принять на вооружение. Смыслообразующими являются пропозиции с интенциональными предикатами: *to wage a Reagan-style ideological offensive / проводить идеологическое нападение в стиле Рейгана*; *to promote its values / продвигать свои ценности*; *to block U.S. exports from supporting party-directed firms / блокировать экспорт в США продукции компаний, поддерживающих действие партии*; *to emphasize CCP oppression / заострить внимание на действиях китайской коммунистической партии по угнетению народа*. *The key is to demonstrate, in ways that resonate with the Chinese people, that the party is their oppressor and not their champion* (The Washington Post. 10.07.2019). – Главное – продемонстрировать, что коммунистическая партия – это угнетатель, а не защитник народа, и придать этому как можно больший общественный резонанс. И если мишенью информационной войны становится коммунистическая правящая партия Китая, то объектом манипулятивного воздействия, безусловно, будет сознание людей, которое необходимо переформатировать и развернуть в противоположную сторону. *U.S. policymakers must differentiate between the Chinese people and the Chinese Communist Party* (The Washington Post. 10.07.2019). – Американские высокопоставленные политики должны провести четкую границу между населением Китая и китайской коммунистической партией.

В США прекрасно понимают, что главным является человеческий ресурс, что тот, кто выиграет в войне идеологий, тот будет контролировать и использовать этот ресурс во благо собственного процветания. *By rediscovering the lost art of ideological warfare, the United States can live up to Reagan's legacy and ensure that the Chinese Communist Party joins the Soviet Union on the ash heap of history* (The Washington Post. 10.07.2019). – Открыв для себя заново искусство идеологической войны и унаследовав идеи Рейгана, Соединенные Штаты смогут сделать так, что китайская коммунистическая партия, как

и Советский Союз, превратится в кучу пепла истории. Таким образом, США делают ставку на политику «мягкой силы» (*soft power*), что подразумевает определенное коммуникативное воздействие со стороны власти, которое реципиент воспринимает как проявление самостоятельного волеизъявления, а не как что-то, навязываемое извне. Реализация политики «мягкой силы» тесно связана с идеологизацией общества, когда искусственно созданная субъективная реальность дублируется и распространяется через многочисленные каналы коммуникации, а потом добровольно принимается как часть персонального опыта. Так как стратегия «мягкой силы» направлена на формирование больших социальных групп, объединенных общими ценностями, поведенческими и ролевыми моделями, полученный персональный опыт перерастает в опыт социальной идентичности. В этом опыте закрепляются ценности и мировоззренческие установки, намеренно пропагандируемые и навязываемые правящими элитами.

К числу укоренившихся в сознании и менталитете американцев относится и идеологема «западные ценности», представляющая собой многоуровневый концепт, содержащий прочные, в чем-то стереотипные представления о базовых принципах американской культуры, о специфике восприятия американцами «своих» и «чужих». Идеологема «западные ценности» относится к числу универсальных ценностных идеологем и, несмотря на имеющиеся противоречия, для нации в целом несет положительный аксиологический смысл. Анализ медийного дискурса позволяет реконструировать идеологически значимый фрагмент национальной картины мира. Идеологеме «западные ценности» можно сравнить с «конденсирующими символами» (термин Д. Зарефски); в политической лингвистике это вербальные и невербальные знаки-символы, на которые положительно реагируют представители разных политических взглядов. Осознавая аксиологический потенциал идеологемы «западные ценности», политики и журналисты часто используют ее как инструмент убеждения. Создавая для адресата положительный фон, в медийном дискурсивном пространстве конструируется новая реальность, в которой стратегии военной и экономической экспансии и притязания на мировое господство прикрываются идеями либерального гуманизма. Таким образом, СМИ создают нужную повестку, формируют общественное мнение, а общество, в массе своей не способное критически осмыслить сообщение, воспринимает как достоверную информацию то, что в реальности имеет право именоваться лишь мнением.

3.3. Прагматика метафоры и метонимии в медиатексте

Введение. В эпоху информационно-психологической войны существует опасность манипуляции сознанием читателей посредством дезинформирующего медиатекста. В последние десять лет медиадискурс все больше начинает соответствовать предубеждениям и эмоциям целевой аудитории. На трансформацию медиадискурса повлияли изменения в общественных системах разных стран и технологический прогресс. Из-за троллей, ботов и алгоритмов, которые основаны на предпочтениях потребителей, СМИ стали придерживаться политики постправды при создании новостей: общественное мнение формируется через обращение к эмоциям, а «сухие» факты и аргументы игнорируются. В результате СМИ оказались источником и распространителем фейковых новостей и дезинформации. Большие потоки информации, которые могут изменяться в режиме реального времени, снижают критичность восприятия, усиливая воздействие дезинформации. Питер Хернон в своей работе, посвященной дезинформации через сеть Интернет, добавляет, что люди склонны верить тому источнику, на который много ссылаются [Hernon 1995].

Основная стратегия, изучаемая в рамках данной статьи, – стратегия дезинформации (англ. disinformation). Интерес к данной стратегии возрос в 2016 году в связи с обвинением России в хакерских атаках на выборы президента США. Ведущий авторитетный зарубежный специалист по дезинформации Натали Грант (англ. Natalie (Wraga) Grant) ввела в англоязычный научный обиход понятие disinformation в 1920-х годах. С тех пор стали разграничивать понятия disinformation и misinformation. Под понятием disinformation понимается распространение заведомо ложных сведений с целью ввести в заблуждение, а под misinformation – непреднамеренная ошибка [Grant 1960]. Основываясь на исследованиях 1945–2011 годов, Н. А. Карлова и К. Е. Фишер (англ. Natascha A. Karlova and Karen E. Fisher) создали сводную таблицу, в которой отражены свойства обоих понятий: правдивость, полнота, актуальность, которые входят в более широкое понятие – информативность [Karlova, Fisher 2012]. Дезинформация и непреднамеренная ошибка могут содержать часть, соответствующую действительности, то есть правдивую. Отличие данных понятий в том, что дезинформация вводит в заблуждение. Она, скорее всего, будет избыточной (более полной, чем необходимо)

и более актуальной. Согласно данному исследованию, информативность обусловлена ситуацией: она зависит от знаний получателя и отношений между говорящим и получателем. Дезинформация может быть более информативной, чем непреднамеренная ошибка, возможно, потому, что любое раскрытие информации или подтекст стремятся к манипуляции, то есть содержание дезинформирующего текста будет не только увеличивать знание реципиента, но и формировать его мнение о событии, которое описано в тексте. Именно дезинформация является основной стратегией информационно-психологического воздействия.

Холли Фуртау (англ. Holly Elizabeth Furtaw) посвятила свою диссертацию изучению дезинформации как относительно нового термина в массовых коммуникациях. В своем исследовании она изучала, как мнение группы может повлиять на восприятие информации отдельного члена, и доказала, что авторитетный источник значительно влияет на восприятие коллектива [Furtaw 1980].

Денис Кукс (англ. Denis Kux) опубликовал обзор и отчет, в котором был рассмотрен спектр дезинформации по источнику распространения от белого до черного. К серому относятся СМИ, дезинформация в которых делится на фальсифицированные истории, слухи и ложную информацию, опирающуюся на сфабрикованные документы [Kux 1985].

С дезинформацией тесно связывают термины «фейковые новости» (англ. fake news) и «политика постправды» (англ. post-truth politics). Происхождение термина post-truth politics приписывается блогеру Дэвиду Роберту (англ. David Roberts), который использовал его в 2010 году в своей колонке для интернет-издания Grist. Согласно определению из Оксфордского словаря английского языка, к постправде относятся «условия, при которых объективные факты в меньшей степени влияют на формирование общественного мнения, чем апелляция к эмоциям и убеждениям» [Post-truth. Lexico. URL: <https://www.lexico.com/en/definition/post-truth>]. Эмоциональный язык лежит также и в основе механизма фейковых новостей.

Термин «фейковые новости» (англ. fake news) используется для обозначения сознательно сфабрикованных материалов, распространяемых с целью внушить общественности определенную точку зрения. Интерес к данному явлению возрос в связи с выборами президентов в лидирующих странах мира, в частности в США. Х. Алкотт и М. Гентцков (англ. Hunt Allcott, Matthew Gentzkow) определяют фейковые новости как новостные статьи, которые созданы намеренно,

доказуемо лживые и могут ввести читателей в заблуждение [Allcott, Gentzkow 2017]. Группа исследователей из Канады В.Л. Рубин, Я. Чен, Н. Дж. Конрой (англ. Victoria L. Rubin, Yimin Chen, Niall J. Conroy) разделили все фейковые новости на три основных типа: серьезно сфабрикованные новости (те, которые невозможно проверить), «утка» (ложная информация, поданная в виде новости), сатирическая новость [Rubin, Chen, Conroy 2015]. В основе данных типов фейковых новостей лежит мистификация. В отечественной науке О.С. Иссерс изучает медиафейки как мистификации: от серьезного к шуточному. Однако исследователь отмечает, что в русском языке в слове «фейк» усиливается сема преднамеренного обмана, манипуляции и практически не актуализируется сема шутки [Иссерс 2014]. Таким образом, фейковые новости объединяют черты преднамеренного (disinformation) и непреднамеренного (misinformation) обмана, тогда как в дезинформации всегда есть элемент умысла ввести в заблуждение.

Отобранные определения не учитывают один важный аспект, который отличает дезинформацию от иного ложного высказывания. Как утверждает ряд ученых: Н. Грант; А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов; Р.Р. Гарифуллин; Д. Феллис (англ. Fallis), – дезинформация соответствует желаниям и ожиданиям общества, тогда как непреднамеренная дезинформация (англ. misinformation) не соответствует взглядам адресата, а ложь не считается соответствующей мнению, как минимум, адресанта.

Дезинформация ориентирована на реципиента, готового к восприятию. В сочетании с правдивой информацией, известной реципиенту, дезинформация как искаженная, ненужная или неполная информация имеет высокий кредит доверия, лучше и легче воспринимается. Под кредитом доверия мы понимаем предрасположенность реципиента к некритическому восприятию дезинформирующих сведений, которые соответствуют его установкам. Стратегия дезинформации поддерживается подготовленностью реципиентов к восприятию негативного образа. В данной статье мы проанализируем метафоры и метонимии, которые несут эмоциональную нагрузку и, заменяя прямое выражение мысли, нарушают принцип кооперации, описанный Г.П. Грайсом как принцип готовности партнера к сотрудничеству в общении [Grice 1975].

В отличие от фактчекинговых ресурсов (Snopes.com, PolitiFact, FactCheck.org), проекта РНЕМЕ, прибегающих к анализу новостей с помощью экспертов, от алгоритма проверки коротких сообщений

в «Твиттере» с помощью sentiment-анализа и других NLP-техник [PHEME2014] и в отличие от платформы Ноаху, объединяющей данные ресурсы [Shao, Ciampaglia, Flammini, Menczer 2016], мы сконцентрируемся на прагматическом аспекте анализа использования языковых средств в медиатекстах, в том числе дезинформирующих. Основная схожая публикация по данной тематике – исследование ученого Søe (англ. Sille Obelitz Søe) в Университете Копенгагена в Дании. Он применил грайсовский подход для построения алгоритма определения дезинформации и разграничил понятия information, disinformation, misinformation [Søe 2018]. Наша статья отличается тем, что мы ставим основной целью не выявить импликацию, а определить средства выражения прагматического потенциала, стимулирующего создание в сознании реципиента негативного образа события, описываемого в медиатексте.

Средства разных языковых уровней обладают манипулятивным потенциалом. В речевом манипулировании эффективными выступают лексические средства выразительности, а именно такие тропы, как метафора и метонимия. Согласно принципу кооперации, предложенному Г.П. Грайсом, использование данных тропов нарушает максимы количества, качества, отношения (релевантности), способа (манеры). Метафора и метонимия образно выражают мысли автора, а также формируют выгодное автору отношение к событию, описанному в медиатексте. Метафорическая и метонимическая аргументация используется с целью влияния на мнение аудитории.

С максимами качества, способа и отношения Г.П. Грайса соотносятся коммуникативные принципы, управляющие метонимией, как утверждают Г. Радден и З. Ковечеш (англ. G. Radden, Z. Kovecses), а именно принцип ясности и принцип релевантности. Они предписывают избегать неясности в высказывании (максима отношения), говорить только то, что имеет отношение к ситуации (максима отношения), давать правдивую информацию (максима качества) [Radden, Kovecses 1999].

Объектом исследования в данной статье выступают метафоры и метонимии в англоязычных медиатекстах. Материалом исследования являются медиатексты, опубликованные на сайте газеты The Washington Post (в 2014–2018 годах).

Метонимия в медиатексте. К наиболее частотным способам искажения информации относится замещение субъекта действия абстрактными понятиями. Понятия «страна» или «время» замещают в высказывании конкретных людей, ответственных за определенные действия.

(1) *Russian hackers have used hacking and other techniques to influence public opinion in **Europe** and **Eurasia*** (Nakashima E. U.S. government officially accuses Russia of hacking campaign to interfere with elections. 07.10.2016 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gTc>). – *Российские хакеры использовали взлом и другие методы, чтобы повлиять на общественное мнение в Европе и Евразии.*

Метонимия, при которой используется название части света (Europe) и континента (Eurasia) вместо стран, расположенных на этом континенте, обусловлена релевантностью (краткостью изложения). За счет использования образа чего-то глобального читатель воспринимает описываемое вмешательство в выборы отдельных стран как проблему более масштабного характера. Метонимическая модель, в которой используется целое вместо части, акцентирует внимание читателя на повсеместности событий и придает им большую значимость. Пример (1) демонстрирует реализацию инструментальной функции метонимии: она позволяет домысливать информацию и придавать событию большую значимость.

(2) ***Russia** carried out a comprehensive cyber campaign to sabotage the U.S. presidential election* (Miller G., Entous A. Declassified report says Putin ‘ordered’ effort to undermine faith in U.S. election and help Trump. 06.01.2017 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gZ2>). – *Россия провела обширную кибер-кампанию с целью саботировать президентские выборы в США.*

(3) ***Russia** «developed a clear preference for President-elect Trump»* (Там же). – *Россия «четко обозначила свое предпочтение избранному президенту Трампу».*

(4) ***Russia** was behind election-related hacks* (Там же). – *Россия стояла за хакерскими атаками, связанными с выборами.*

(5) ***Russia, China** and other countries and groups may have sought to breach Democratic and Republican computer systems* (Там же). – *Россия, Китай и другие страны и группы, возможно, пытались нарушить работу компьютерных систем демократов и республиканцев.*

(6) ***Russia** is targeting the 2018 midterm elections* (Nakashima E., Harris S. The nation’s top spies said Russia is continuing to target the U.S. political system. 13.02.2018 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gey>). – *Россия нацеливается на промежуточные выборы 2018 года.*

В данных примерах географическое название (Russia, China) употребляется вместо политических лидеров или правительств стран. Использование в примере (2) фразового глагола *carry out* подразумевает, что подлежащее выражено одушевленным именем

существительным. Предполагается, что к кибер-кампании причастно не все население страны, а вовлеченная в политическую деятельность часть. В примере (3) также говорится не о всех людях, населяющих Россию, а значимых для мировой политики лицах. В примерах (4, 5, 6) используется метонимический перенос действий, производимых правительством страны или другими группами, на название страны. Таким образом, закрепляется отрицательный ассоциативный ряд, связанный с названием страны, а не с действиями отдельных политиков.

(7) *Moscow's role represented «a significant escalation in directness, level of activity, and scope of effort»* (Miller G., Entous A. Declassified report says Putin 'ordered' effort to undermine faith in U.S. election and help Trump. 06.01.2017 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gZ2>). – *Роль Москвы заключалась в «значительном увеличении прямолинейности, уровня активности и объема усилий».*

(8) *Moscow sought to help him win* (Там же). – *Москва стремилась помочь ему (Д. Трампу. – М.С.) победить.*

(9) *...A more dangerous confrontation between Washington and Moscow* (Entous A., Nakashima E., Miller G. Secret CIA assessment says Russia was trying to help Trump win White House. 09.12.2016 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gpG>). – *...Более опасное противостояние между Вашингтоном и Москвой.*

Астониом как вид топонима (Moscow, Washington) заменяет одушевленное лицо, которому могут быть приписаны такие качества, как прямолинейность, активность и стремление помочь.

Пространственная метонимия, при использовании которой действия приписываются месту, в котором находятся акторы, часто употребляется в медиатекстах.

(10) *...Policies in Syria and Europe strongly favored by the Kremlin* (Miller G., Entous A. Declassified report says Putin 'ordered' effort to undermine faith in U.S. election and help Trump. 06.01.2017 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gZ2>). – *...Политика в Сирии и Европе, поддерживаемая Кремлем.*

(11) *...Any effort by the White House to challenge the Russians publicly* (Entous A., Nakashima E., Miller G. Secret CIA assessment says Russia was trying to help Trump win White House. 09.12.2016 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gpG>). – *...Любая попытка Белого дома публично бросить вызов россиянам.*

(12) *Russia was trying to help Trump win White House* (Там же). – *Россия пыталась помочь Трампу выиграть Белый дом.*

В примере (10) топониму (Kremlin) предшествует глагол *favor* и предлог *by*, которые маркируют страдательный залог. Действие «поддерживать» приписывается не отдельным лицам, а месту, в котором расположены эти лица, в частности правительство России. Кремль, Белый дом (пример 11) можно отнести к группе прецедентных топонимов, которые выступают как символы государственной власти России и США соответственно. Пространственную метонимию используют в медиатекстах, чтобы «указать на референта не прямо, а опосредованно с намерением не индивидуализировать его» [Бадеева 2004].

Пример (12) содержит прецедентный топоним (White House), который используется вместо происходящего события – гонка за место в Белом доме обозначает предвыборную борьбу за пост президента США. В этом типе метонимии конкретное возобладавало над абстрактным. Здание резиденции президента США более узнаваемо, следовательно, прецедентный топоним будет иметь больший прагматический потенциал, чем абстрактное действие: выиграть президентскую борьбу. Использование образа Белого дома как символа власти подразумевает что-то более масштабное, автор показывает, что событие значимо не только для США, но и для России, ее внешней политики.

(13) ...*The Russians are going to try and hide evidence of their intrusion and presence in the network* (Nakashima E., Eilperin J. Russian government hackers do not appear to have targeted Vermont utility, say people close to investigation. 02.01.2017 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gzA>). – ...*Россияне постараются скрыть доказательства своего вторжения и присутствия в Сети.*

(14) *The administration has decided not to utilize them in a way that would deter the Russians* (Entous A., Nakashima E., Miller G. Secret CIA assessment says Russia was trying to help Trump win White House. 09.12.2016 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gpG>). – *Администрация решила не использовать их (санкции. – М.С.) таким образом, чтобы сдерживать россиян.*

Политоним (the Russians) предполагает метонимическое именование всех граждан страны вместо влиятельной группы по обобщенной модели «целое – часть». Происходит имперсонализация актора. Данный прием снимает с автора ответственность за сообщение неточной информации.

(15) *Russian President Vladimir Putin has denied his government played any role in the hacking* (Nakashima E. U.S. investigators have

identified Russian government hackers who breached the DNC. 02.11.2017 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2h7w>). – Президент России Владимир Путин отрицает, что его правительство сыграло какую-либо роль во взломе.

В примере (15) внимание концентрируется на доминирующем субъекте. Происходит конкретизация: используется имя собственное (Vladimir Putin), а также притяжательное местоимение (his) вместо названия страны, к которой относится правительство. В основе метонимического переноса лежит имя влиятельного лица, замещающего страну, то есть модель «часть – целое». В таком случае метонимия выполняет прагматическую функцию, формируя у читателя необходимое автору мировосприятие: правительство принадлежит главе государства, а не стране.

Проанализировав медиатексты на наличие метонимии, мы выявили частое использование следующих моделей: страна вместо правительства; столица вместо правительства; часть города вместо правительства; совокупное название граждан вместо правительства или лиц, связанных с правительственными и разведывательными организациями; влиятельное лицо вместо страны; здание вместо события.

Лексемы осуществляют метонимический механизм, структурирующий мышление посредством негативных коннотаций, вызывающих ложные ассоциации о связи хакерских атак и России: *the Kremlin was behind the operation* (Кремль стоял за этой операцией); *what Moscow did to influence* (что Москва делала, чтобы оказать влияние). «Смещение фокуса внимания при метонимической номинации обезличивает референта и искажает информацию с целью воздействия на реципиента» [Бадеева 2004].

В дезинформирующем медиатексте метонимия выполняет инструментальную функцию – помогает домысливать информацию и создавать собственную картину происходящего – и прагматическую функцию, являясь «средством формирования у адресата необходимого автору эмоционального состояния и мировосприятия» [Чудинов 2001: 48]. Прагматическая функция метонимии реализуется в медиадискурсе за счет оценочности, которой можно достичь, сместив фокус внимания. Чтобы избежать однозначности и категоричности высказывания, референт скрывается, обезличивается и может быть оценен отрицательно.

Прагматика метонимических моделей в медиатексте направлена на оказание воздействия на читателя «при помощи исторических, культурных, идеологических и политических коннотаций, разного

рода оценок и трансформаций, сохраняющих вид объективности» [Бадеева 2004] в случае, когда референт неизвестен. Косвенное указание на референта посредством метонимических моделей является нарушением максим Г.П. Грайса, которое прослеживается в общении конфликтного характера. С помощью метонимии автор намеренно избегает прямого указания на референта, вносит неясность и неоднозначность, что позволяет охарактеризовать медиатекст, в котором отрицательный образ формируется с помощью метонимических моделей, как дезинформацию (англ. disinformation).

Метафора в медиатексте. Образы «российский хакер» и «хакерская атака России на США», фигурирующие в англоязычных СМИ, создают центры метафорического притяжения. В дезинформирующих медиатекстах цель метафоры – доносить не объективные сведения, а отрицательную информацию, зашифрованную под видом образных средств, формирующих мнение.

В ряде случаев метафора, появившаяся в политическом контексте, тиражируется СМИ для того, чтобы создать стереотипы или напомнить о них общественности.

(16) *Putin has repeatedly denied that Russia was responsible for the hacked emails. In an interview with the New York Times on Friday, Trump called the sustained focus on the issue a «political witch hunt»* (Miller G., Entous A. Declassified report says Putin ‘ordered’ effort to undermine faith in U.S. election and help Trump. 06.01.2017 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gZ2>). – *Путин неоднократно отрицал, что Россия ответственна за взлом электронной почты. В интервью газете New York Times Трамп назвал постоянное внимание к проблеме «политической охотой на ведьм».*

Термин *witch hunt* используется как метафора, обозначающая признание расследования незаконным из-за выявления пристрастных предубеждений и идеологических мотивов, лежащих в основе обвинений в хакерских атаках. Россия предстает как потерпевшая от необъективных расследований сторона. Следовательно, любая критика действий России может быть воспринята как очередное гонение. Слово *witch* несет отрицательное значение, которое имплицитно переносится на образ России и может питать общественные страхи, в частности о возможной агрессии России в отношении США.

Природоморфная метафора обладает большим эмоциональным потенциалом и несет пейоративную эмотивную нагрузку, усиливая желательную автору реакцию аудитории на информацию и дезинформацию.

(17) *It is all now starting to come out – DRAIN THE SWAMP!* (Harris S., Nakashima E. Trump seizes on report that Russia sold ‘phony secrets’ about him to the U.S. 10.02.2018 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2hUy>). – *Сейчас все это начинает вылезать – ОСУШИТЕ БОЛОТО!*

Природоморфная метафора в выражении *drain the swamp* соотносит предложение российского хакера продать американским разведчикам информацию о Трампе с образом болота, номинирующим застой, в котором рождается что-то вредное. Прямое значение данного выражения – осушить болото и тем самым избавиться от малярийных комаров. В переносном смысле «осушить болото» означает избавиться от того, что приносит вред, – от неблагоприятной ситуации, в которой фигурирует Россия.

(18) *...Any dirt dug up in opposition research is likely to be made public* (Nakashima E. Russian government hackers penetrated DNC, stole opposition research on Trump. 14.06.2016 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2hb6>). – *...Любая грязь, нарытая оппозицией, вероятно, будет обнаружена.*

Посредством идиоматического выражения *dig up dirt* дается негативная оценка деятельности оппозиции, которая раскрывает отрицательную информацию в ходе выборов президента в США. Акцент сделан на том, что информация будет обнаружена. Имплицированный смысл заключается в дискредитации и разрушении оппозицией репутации кандидата. В контексте медиатекста о российских хакерах, взломавших электронную почту комитета демократической партии, под оппозицией понимается российское правительство.

(19) *...Social media companies, whose platforms have been fertile turf for Russian bots* (Nakashima E., Harris S. The nation’s top spies said Russia is continuing to target the U.S. political system. 13.02.2018 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gey>). – *...Социальные сети, чьи платформы стали благодатной почвой для российских ботов.*

В данном контексте под благодатной почвой подразумеваются хорошие условия для российских ботов, проявляющих высокую активность в социальных сетях с целью навредить политической системе США, поддерживая протесты и распространяя негативную информацию, подрывающую веру в демократические выборы. В исследуемых примерах реализуется эмотивно-оценочная и манипулятивная функции метафоры, которую СМИ используют для формирования нужной оценки описываемого события. Метафора порождает эмоции и устанавливает прочные ассоциативные связи с желаемым образом.

Зооморфные метафоры востребованы и оказывают манипулятивное воздействие.

(20) *One group, which CrowdStrike had dubbed **Cozy Bear**... The other, which the firm had named **Fancy Bear*** (Nakashima E. Russian government hackers penetrated DNC, stole opposition research on Trump. 14.06.2016 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2hb6>). – *Одна группа, которую компания CrowdStrike назвала Уютный мишка... Другая группа, которую фирма назвала Модный мишка.*

За основу метафорического переноса взят зооморфный образ медведя, с которым ассоциируется Россия на международной арене. Зооморфная метафора мобилизует негативные значения (опасность, непредсказуемость), закрепленные за образом медведя [Рябов 2016], и дополняет их новым значением – хакеры, связанные с правительством России. Другие примеры, созданные по аналогичной модели: Voodoo Bear (медведь вуду) и Venomous Bear (ядовитый медведь). К производным зооморфной метафоры относится название Grizzly STEPPE (степной гризли), обозначающее кибернетическую опасность, которая угрожает США и, как утверждается в медиатекстах, исходит от России.

Природоморфная и зооморфная метафоры могут быть легко поняты всеми членами языкового сообщества. Они формируют эмоциональные смыслы, связывая образ России с чем-то неприятным, агрессивным и опасным. Концептами «опасно – безопасно» СМИ оперируют для активизации образа чужого/врага.

(21) *You've got **ordinary citizens who are doing hand-to-hand combat with trained military officers*** (Nakashima E. Russian government hackers penetrated DNC, stole opposition research on Trump. 14.06.2016 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2hb6>). – *Получается, что простые граждане ведут рукопашный бой с обученными офицерами.*

В данном примере подразумевается, что хакерские группы, связанные с российскими разведывательными структурами, ведут неравный бой со слабым соперником – комитетом демократической партии. Посредством данной метафоры активизируется образ разведывательных управлений России как сильного противника и формируется негативное отношение к данному образу.

(22) *...Foreign agencies are **playing catch-up*** (Там же). – *...Иностранные агентства наверстывают упущенное.*

Данная метафора относится к личности президента Дональда Трампа, который долго не вел политическую деятельность, и российским разведывательным агентствам приходится наверстывать

упущенное по сбору информации о нем. Прямое значение выражения *play catch-up* – играть в догонялки. В приведенном контексте выражение указывает на то, что российские государственные структуры находятся в невыигрышном положении из-за того, что им приходится гоняться за президентом и собирать о нем информацию.

(23) *It's a game changer* (Nakashima E. Russia has developed a cyberweapon that can disrupt power grids, according to new research. 12.06.2017 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2hvX>). – *Это поворотный момент.*

Метафора описывает атаку российских хакеров на электроэнергетическую систему США как поворотный момент в долгосрочном плане. Игровая метафора демонстрирует соперничество, борьбу. Автор медиатекста использует метафору игры как способ дать скрытую оценку событию.

(24) *Some of the Republicans in the briefing also seemed opposed to the idea of going public with such explosive allegations in the final stages of an election, a move that they argued would only rattle public confidence and play into Moscow's hands* (Entous A., Nakashima E., Miller G. Secret CIA assessment says Russia was trying to help Trump win White House. 09.12.2016 // The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gpG>). – *Некоторые из республиканцев, казалось, выступали на брифинге против идеи публичности с такими взрывными обвинениями на заключительных этапах выборов, что, как они утверждали, только подорвет доверие общественности и сыграет на руку Москве.*

В примере (24) можно наблюдать сочетание метонимии и метафоры. Присутствует метонимическая модель «место вместо людей, находящихся в нем», столица вместо правительства страны. Метафора «сыграть на руку» отображает стереотипное представление о благоприятном для человека событии или удачно сложившейся ситуации. Метафора игры подразумевает наличие соперника. Это один из метафорических образов, обладающих высоким прагматическим потенциалом.

Метафорические образы активизируют стереотипы, что значительно убыстряет темп подачи и восприятия информационного сообщения. В дезинформирующем медиатексте метафора используется для усиления реакции читателей на информацию. Она определяет отзывчивость читателей, которая непосредственно связана с эффективностью средств информационно-психологической войны. По утверждению А. А. Любимовой, метафора, употребленная с целью манипуляции, «подменяет рациональное обоснование суждения

иррациональным, а также заменяет аргументацию апелляцией к авторитету, имеющей формальные признаки выражения общеизвестного факта» [Любимова 2006: 220]. Анализ материала в рамках нашего исследования доказывает, что медиатексты, в которых используются природоморфные, зооморфные и игровые метафоры, заставляют метафорически переосмыслить образ или событие с позиции, выгодной автору. Следовательно, для таких медиатекстов характерно наличие дезинформации (disinformation). В остальных проанализированных примерах метафора используется в составе цитат с целью усилить эмоциональность. Использование метафоры в таком контексте – это непреднамеренное нарушение максим Г.П. Грайса, следовательно, медиатекст содержит искаженные без умысла факты, то есть ненамеренные ошибки, нарушения (англ. misinformation).

Заключение. С помощью метафоры и метонимии авторы медиатекстов обращаются к эмоциям и убеждениям общественности, создавая или укореняя стереотипы, выгодные СМИ. В медиадискурсе, в дезинформирующем медиатексте в частности, метонимия выполняет две функции – инструментальную и прагматическую: формирует оценку и позволяет приносить свои смыслы. Метонимия скрывает референта, а метафора выстраивает выгодные СМИ ассоциации и формирует общественное мнение и оценку событий, описанных в медиатекстах. Основные функции метафоры в медиатексте, содержащем дезинформацию, – манипулятивная и эмотивно-оценочная.

Использование метафоры и метонимии приносит неясность в высказывание, что является признаком пренебрежения принципом кооперации. Нарушение максим Г.П. Грайса посредством языковых средств в контексте дезинформирующих медиатекстов обостряет конфликтность общения автора и реципиента и способствует увеличению речевой агрессии в комментариях читателей к медиатекстам.

Следование общественным предпочтениям и убеждениям, потакание спросу, нацеленность на сенсационность и драматизацию событий, описываемых в рамках нужного идеологического фона, приводят американские СМИ к использованию стратегии дезинформации как манипулятивного средства информационно-психологической войны.

3.4. Коммуникативная ситуация «обсуждение закона о неуважении к госсимволам» в аспекте информационно-психологического противоборства

Введение. В 1866 году Ф. И. Тютчев написал знаменитое стихотворение, философские строки которого – «Умом Россию не понять, / Аршином общим не измерить» – стали одними из самых цитируемых применительно к характеристике нашей страны. Спустя полтора века эти строки не теряют своей актуальности. В частности, они звучат современно, когда речь заходит о взаимоотношениях двух субъектов политического дискурса – власти и народа, точнее – отношении народа к власти. С одной стороны, народ критикует, ругает власть, в том числе «последними словами», не стесняясь публичности своих высказываний через написание нецензурных текстов в Интернете. С другой – встает на защиту власти, если на нее посягает «чужой». Приведем один пример.

Кандидат в президенты Украины В. Зеленский в ходе брифинга в день 1-го тура выборов заявил, что встретится с Президентом России только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. А к уже «состоявшемуся» возврату земель В. Зеленский намерен потребовать от В.В. Путина денежную компенсацию за захват территорий (И. Алупеев. Вернут Крым, а там и поговорим: Зеленский о встрече с Путиным. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2019/04/01_a_12277429.shtml). Данная новость была размещена на разных новостных каналах РФ и информационных сайтах, на нее россияне отреагировали практически единодушной поддержкой действующего президента (из 140 комментариев на момент их анализа всего 9 были с оппозиционным подтекстом). В комментариях (здесь и далее в текстах-комментариях авторская орфография и пунктуация сохранены) к новости, размещенной в «Инстаграме» красноярским телеканалом «ТВК-6» (<https://www.instagram.com/p/BvslmC9AIGJ/>), читаем высказывания, направленные в защиту В.В. Путина. В них президент предстает как сильная политическая личность (zulfiyal69: *Путин великий. И умный политик;* Ulyana_tro7: *... Как к Путину подойдет, так колени затрясутся!;* tatakrsk: *После всего сказанного он (Зеленский. – И.Е.) обязан был начать жевать свой галстук;* chernyaevegor: *Самое главное заснять со звуком, этот момент когда он путину будет в глаза это говорить;* Vlagimir: *Фигню несешь путин пошлет тебя куда подальше*).

Примеров много, когда граждане РФ встают на защиту России, народа, президента, слыша нелестные высказывания извне, от людей, не причисляющих себя к Русскому миру. Однако во внутрисосудском дискурсе эти же объекты часто подвергаются критике, переходящей в оскорбление, что переводит их в статус мишеней информационных атак [Лингвистика... 2017] внутри страны. Особой мишенью являются представители властных структур и их действия.

Тенденция ругать власть не нова, но она обострилась с развитием интернет-пространства, когда появилась возможность высказать свое отношение не на кухне, в узком кругу друзей и знакомых, а публично – в Сети. Карельский чиновник С. Авишев, рассуждая на этот счет, отмечает, что ругать действующую власть стало «национальной народной забавой в России»: «Нынче тренд пошел такой модный. Кто ругает действующую власть – тот великий демократ. <...> Убежден, что нужно не безрассудно ругать, а необходимо обоснованно критиковать власть. <...> Однако эта критика должна быть конструктивной и объективной» (С. Авишев. Мода ругать власть. URL: https://vestikarelii.ru/blogs/moda_rugat_vlast/?orderby=date_asc).

Видимо, участвовавшие случаи публичного оскорбления представителей власти привели к доработке Федерального закона № 28-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”» (www.pravo.gov.ru). Эти изменения регламентируют «порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации» (Там же).

Внесению указанных изменений в закон предшествовала трехмесячная работа по их обсуждению в органах государственной власти. Проект закона, который был представлен в первом чтении в Государственную думу в декабре 2018 года, сразу после его публикации вызвал бурный общественный резонанс. Сомнение в необходимости такого закона тогда же высказали и представители Генпрокуратуры. Сошлемся здесь на слова заместителя начальника правового управления Генпрокуратуры РФ Е. Артамоновой, выступившей на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи: «С нашей точки зрения, формулировки этих законопроектов, они, безусловно, носят

технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат» (Интерфакс. URL: <https://www.interfax.ru>).

Однако 18 марта 2019 года Президентом РФ был подписан указанный закон, который вступил в силу 29 марта. Данный закон при его нарушении, кроме штрафов, предусматривает блокировку и удаление из Сети Роскомнадзором информации, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы.

Этот и подобные ему законы, которые влекут за собой хоть какие-то ограничения, всегда вызывают негодование общества, что, как правило, демонстрирует оппозицию «власть – народ», являющуюся концептуальной оппозицией политического дискурса. Цель данной работы – охарактеризовать один из видов внутрисоссийского политического дискурса, связанного с обсуждением закона в СМИ. Этот дискурс демонстрирует информационно-психологическое противоборство внутри страны.

Политический дискурс складывается из ряда коммуникативных ситуаций (далее – КС), одна из которых – КС «обсуждение закона». Изучение этой КС и построение ее модели проведено путем установления компонентов указанной КС, характеристики ролевых позиций участников КС, выявления особенностей языковых средств выражения КС.

Попробуем также разобраться, среди прочего, со спектром вопросов как лингвоэкологического, так и социокультурного характера: что нового содержит текст закона о неуважении к госсимволам и была ли необходимость в его принятии? какова реакция общества на принятый закон? что стоит за понятием «неприличная форма», которое лежит в основе порядка по ограничению доступа к информации?

Методология и материал исследования. Исследование выполнено в русле современного направления «политическая лингвистика», включающего, среди прочих, теорию лингвистики информационно-психологической войны. Методологической базой послужили положения политического дискурса, касающиеся концептуальной оппозиции «народ – власть» в современной российской политической коммуникации [Невинская 2006; Шейгал, Черватюк 2007 и др.]. При характеристике КС «обсуждение закона» использованы термины и понятия, предложенные в исследованиях по лингвистике информационно-психологической войны [Лингвистика ... 2017, 2019].

Для освещения вопросов конфликтной коммуникации использованы положения юрислингвистики [Голев 2008; Третьякова 2000 и др.]. С целью характеристики и описания концепта «закон» была применена ментальная структура – фрейм, обоснованная в когнитивных лингвистических работах [Дейк 2000; Минский 1979]. Достигновения прагмалингвистики применялись с целью исследования прагматического содержания заголовков статей СМИ.

В работе используются следующие методы лингвистического исследования: анализ словарных дефиниций, контекстуальный анализ, моделирование коммуникативной ситуации, фреймовое моделирование, количественный подсчет.

В качестве материала для исследования привлечены тексты федеральных законов, публикации в СМИ, касающиеся обсуждаемого Федерального закона; комментарии этого закона гражданами РФ в сети Интернет до и после его принятия.

Обсуждение результатов.

1. Была ли необходимость внесения изменений в закон?

На внесение изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» бурно отреагировали представители СМИ, а вслед за ними и граждане РФ.

А была ли необходимость в принятии рассматриваемого закона, если в Кодексе РФ об административных правонарушениях (Кодекс об Административных Правонарушениях РФ 2019. Актуальная редакция с Комментариями по состоянию на 09.02.2019. URL: <http://коарпкодексыrf.ru/rzd-2/gl-5/st-5-61-коар-rf>) уже есть статья 5.61, предусматривающая административную ответственность за оскорбление? Текст этой статьи, в частности, говорит о том, что «оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, влечет наложение административного штрафа» (Кодекс РФ). Здесь же предусмотрено наказание за «оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации» (Там же), а также за «непринятие мер (должностными лицами. – *И.Е.*) к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации» (Там же). Разница между данным законом (назовем его первым) и принятым недавно (назовем его вторым) усматривается в двух принципиальных позициях.

1. Чтобы наложить на ответчика административное взыскание в случае нарушения первого закона, необходимо судебное решение,

нередко с привлечением лингвистической экспертизы, что часто затягивается надолго. Второй закон «работает» без судебных разбирательств, и, как следствие, информация, содержащая оскорбление представителей власти, государственной символики и проч., блокируется в кратчайший срок.

2. Первый закон направлен на защиту чести и достоинства любого лица, второй ограничивает круг «оскорбленных», среди которых общество в целом, государство, его официальная символика, Конституция РФ и органы государственной власти. Причем конкретизация в законе таких объектов оскорбления, как общество, государство, символика, Конституция, видится оправданной, так как эти объекты не являются лицами, следовательно, с позиции первого закона нельзя было отстаивать их права даже в судебном порядке.

Таким образом, нововведения в закон, с одной стороны, предусматривают спектр объектов оскорбления, ранее не учтенных законодательством, с другой – наделяют правом соответствующие органы действовать быстро в вопросе наказания за оскорбление этих объектов и их информационной защиты посредством блокирования информации.

Попутно заметим: включенные в закон объекты – общество, государство, государственные символы, Конституция РФ и власть – являются составляющими государственности, формируют, среди прочих, нациеобразующие концепты, которые играют «ведущую роль в самоидентификации народа, в формировании его национального сознания» [Экология русского языка 2017: 150].

2. Реакция общества на принятый закон

Ведущим транслятором всего того, что происходит в органах государственной власти, выступают СМИ. Именно из них мы узнаем самые свежие новости. И от того, каким образом подается эта новость, часто зависит реакция общества.

Сразу после публикации проекта обсуждаемого нами закона практически все электронные издания отреагировали на него. Обратимся к анализу статей и заметок на эту тему, уделив особое внимание анализу заголовков, так как именно они выполняют текстообразующую роль, конденсируя основные интенции текста.

В основу анализа заголовков была положена классификация Е. Н. Комарова, который выделил три типа заголовков СМИ в зависимости от интенциональной установки адресанта: фактуальные (передают информацию, эксплицитную по своей природе), персуазивные (содержат умозаключение, выражающее результат осмысления

адресантом явлений реальной действительности) и директивные (директивные заголовки, подобно персуазивным, отражают результат восприятия и осмысления реальной действительности адресантом и отличаются лишь интенцией – стремлением побудить реципиента к совершению конкретных речевых и неречевых действий) [Комаров 2003]. Все эти прагматические типы заголовков нашли отражение в СМИ как реакция на представленные к обсуждению изменения в закон. Из 60 проанализированных заголовков статей, посвященных рассматриваемому закону, отобранных методом сплошной выборки, 11 примеров соответствуют фактуальному, 46 – персуазивному и 3 – директивному типу. Рассмотрим их.

К *фактуальным*, передающим суть новости, относятся заголовки эксплицитного плана, транслирующие предметно-логическую информацию, например: *Правительство одобрило законопроект о неуважении к госсимволам; Президент подписал законы о фейковых новостях и неуважении к госсимволам; Госдума приняла пакет законов о наказании за неуважение к госсимволам; Совфед одобрил закон о неуважении к госсимволам* и др. В заголовках этого типа отсутствуют авторские комментарии, оценка, разъяснения – все то, что может выдать личностную позицию автора.

В *персуазивных* заголовках представлен результат осмысления автором описываемой ситуации. В таких заголовках прагматическая информация «доводится до адресата с помощью оценочной лексики, грамматических форм выражения языковой модальности, а также посредством контекстуально получаемых оценочных значений» [Там же: 17]. Ср.: *Шутки за 300 (тысяч рублей): как вас накажут за обидные мемы про политиков и фейки; В Кремле назвали «маршом» предложение наказывать за «неуважение к государству»; Новые законы о неуважении к госвласти: кого, за что и как накажут; Теперь за «неуважение к власти» можно получить штраф в 300 000 рублей и сесть на 15 суток* и др.

Директивные заголовки (их было выявлено всего 3) содержат стремление автора побудить читателя к совершению действия, «стимулировать интеллектуальную деятельность реципиента в направлении анализа возможного развития событий» [Там же]; ср.: *Ма-а-а-лчать!!! Закон «о неуважении к господствующему классу»; Приняли закон о неуважении властей? Требуем закон о неуважении народа; Удалите это немедленно. Первые жертвы закона «о неуважении к власти».*

Если фактуальные заголовки передают эксплицитную информацию, то персуазивные и директивные содержат оценочные слова,

часто – негативного характера, провокационные и интригующие высказывания. Причем в заголовках упор делается на таких объектах (из всех, попавших под защиту закона), как госсимволы, власть и государство. В фактуальных заголовках упоминаются преимущественно госсимволы, в персуазивных и директивных же преобладают объекты, относящиеся к власти (*власть, госвласть, институты власти, политики, чиновники, господствующий класс*) и государству. Не затронуты такие обозначенные в законе объекты, как общество и Конституция РФ. Отметим также следующее: фактуальные заголовки в большинстве своем были обнаружены в центральных новостных СМИ (информационные порталы «Государственная дума Федерального Собрания Российской Федерации» и «Федеральное агентство новостей», общественно-политическая газета «Московский комсомолец», портал прямых трансляций «Москва 24» и нек. др.), в которых освещаются инициативы государственной власти.

Персуазивные и директивные заголовки характерны для СМИ, в том числе региональных, с оппозиционным уклоном. Ср., например, некоторые заголовки из электронного издания «Радио “Свобода”» (<https://www.svoboda.org/>), заголовки приводим в порядке размещения материалов на сайте: *В СПЧ сочли немыслимым законопроект об «оскорблении власти в интернете»; «Посадили одного – замолчат тысячи». Лев Шлосберг о главной скрепе – ФСБ; Уважать себя не заставят. Соцсети о новых наказаниях за «неуважение к власти»; Российские писатели назвали законы об оскорблении власти и фейковых новостях «прямой цензурой»; Нарушаете, уважаемый! Первый день с «законом о неуважении к власти»; Жители Магадана с конца марта проводят «тихий» протест; Удалите это немедленно. Первые жертвы закона «о неуважении к власти».*

В издании «Общая газета» (<https://og.ru/>) читаем по анализируемой теме: *Госдума приняла в первом чтении «опасные для общества» законопроекты; Правозащитники попросили президента Путина не подписывать законы о «фейк-ньюс» и «неуважении к государству»; Правительство одобрило введение наказания за «неуважение к государству»; Генпрокуратура изменила свою позицию по законопроекту о «неуважении к государству»; Совет Федерации принял законопроекты о наказании за неуважение к власти и «фейк-ньюс».*

Подобного плана заголовки представлены в новостном сетевом издании «Интерфакс» и в ряде других СМИ.

Примечательно, что в изданиях, освещающих инициативы власти, обсуждаемый закон кратко назван как «закон о неуважении

к госсимволам», а в изданиях же оппозиционного толка – «закон о неуважении к власти».

Персуазивные и директивные заголовки позволяют авторам информационных изданий выразить личную позицию, давать оценку сообщаемому, обобщать и делать выводы. Подобного рода заголовки оказывают значительное воздействие на читателя, порой нагнетая ситуацию. В ряде электронных изданий с имеющейся опцией «комментарии», когда читатели могут высказать свою позицию по поводу сообщаемого, большинство реакций, написанных как отклик на публикацию в СМИ, соответствуют интенции автора этого текста. Например, заголовок *Ма-а-а-лчать!!! Закон «о неуважении к господствующему классу»* спровоцировал следующие реакции (комментарии, содержащие нецензурные единицы и слова, порочащие конкретную личность, здесь не приводим), среди которых нет ни одной в защиту закона: *Депутаты воруют миллиарды долларов и заставляют нас молчать; Ну, что? Скоро будем собираться на конспиративных квартирах, шепотом рассказывать запрещенные новости и ругать власть?)) ЗЫ: Название в разговорном стиле «Ма-а-а-лчать». Не пишите про ошибку в этом слове; Как меня бомбит от них... А нас они НЕ оскорбили своим бестолковым, непрофессиональным присутствием во власти, отвратительным, неэффективным управлением, безобразной внешней и внутренней политикой... можно долго продолжать... и мн. др., в том числе высказывания с использованием слов с семантикой агрессии, содержащие призыв к активным действиям (*начать отстреливать, глаза всем выколоть и языки отрезать и пусть слушают и головой кивают*). Тональность реакций-комментариев задается в заголовке к публикации и в ее тексте. Негативные высказывания накручиваются, как сахарная вата на стержень-палочку. Психологи [Кондрашихина 2009] такое поведение называют полезависимым, соотнося его с теорией поля, которую социальный психолог К. Левин связал с психологической характеристикой личности (см. об этом в [Петрунникова и др. 2009]). И если в Сети кто-то вдруг позволяет себе высказать комментарий в защиту нововведений в закон (ср.: *Интернет нужно совсем отключить, баловство это и отвлекает народ от работы, всякие дурные мысли в голову вбивает. Раньше не было интернета, поэтому и была великая держава*), то тут же получает враждебный отпор (ср.: *Да ты глуповатый, привык в резиновых сапогах вилами навоз кидать, вот и кидай. Эта тема не для тебя, отойди от компа, помой руки от гуамна*).*

Преобладающее большинство заголовков СМИ, касающихся обсуждаемого закона, а также комментарии читателей на соответствующие публикации демонстрируют конфликтный дискурс, когда происходит столкновение двух сторон, в нашем случае – народа и власти, выраженное в разногласии взглядов. Основная интенция этих взглядов сводится к следующему. Власть на законодательном уровне запрещает в неприличной форме высказываться в адрес общества, государства, официальных государственных символов РФ, Конституции РФ и органов государственной власти. Народ, возмущенный действиями властных структур, не готов, судя по публикациям в СМИ, «уважать» власть и, следовательно, соблюдать закон. Появились и анекдоты, в которых рассматриваются способы избежания наказания за несоблюдение закона (*Депутата били молча. Чтобы не попасть под закон об оскорблении власти*).

3. Что стоит за понятием «неприличная форма», которое лежит в основе порядка по ограничению доступа к информации?

В основе этого вопроса, не раз поднимавшегося в СМИ в процессе обсуждения закона, лежит понятие «неприличная форма». В обсуждаемом законе не поясняется, что значит «неприличная форма», однако есть связь этого понятия с глаголом *оскорбить* («Распространение... информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство...») (ФЗ № 28). Здесь сошлемся на письмо сенатора А. Клишаса, написавшего ответ В. Познеру, критично отзывавшемуся о законопроекте. В письме сенатор подчеркнул, что закон предусматривает привлечение к ответственности в случае, если проявление неуважения «сопряжено с его выражением в неприличной форме... Неуважение и его выражение в неприличной форме – это два элемента одного и того же противоправного действия. Неуважение может проявляться и в рамках норм приличия, при таких обстоятельствах оснований для привлечения кого-либо к ответственности нет». Письмо опубликовано в сетевом издании «РИА Новости» (Ситдииков Р. Клишас ответил Познеру на критику закона об оскорблении государства // Сетевое издание «РИА Новости», 26.02.2019).

«Неприличность» осмысливается в работах по юрислингвистике как текстовая категория конфликтного дискурса. Эта категория «включает, прежде всего, нецензурную лексику, а также лексику, являющуюся потенциально конфликтогенной. К ней можно отнести слова, имеющие в словарях литературного языка стилистические

и социальные пометы (презрительное, вульгарное, бранное и т. п.). Категоризация такой лексики как неприличной детерминирована присущим ей оскорбительным потенциалом» [Егорова 2010: 18].

Сегодня нецензурная лексика получила широкое распространение, проникнув в СМИ и художественную литературу. А сигнал, который на телевидении включают вместо ненормативной лексики, может быть воспринят как своего рода реклама мата. Пользователи сети Интернет, комментируя действия власти, позволяют высказываться нецензурно в адрес конкретных представителей административных структур, что, безусловно, воспринимается как оскорбление. Согласно обсуждаемому закону, информация, содержащая лексику оскорбительного характера, направленную в адрес представителей власти, будет удаляться волевым решением Роскомнадзора. Данное обстоятельство, в свете принятого закона, связывает руки оппозиционно настроенным гражданам, которым придется теперь обдумывать каждое слово в процессе выражения своего несогласия с чем-либо или критики.

4. Модель коммуникативной ситуации «обсуждение закона»

Анализ текстов СМИ, касающихся закона о неуважении к гос-символам и его публичного обсуждения, позволил построить модель соответствующей КС. Эта КС – обсуждение закона – является одной из КС, формирующих концепт «закон».

Концепт, по мнению Т.А. ван Дейка, активно разрабатывающего теорию фреймов в рамках когнитивного направления лингвистики, может быть представлен в виде структуры фреймового типа. В противоположность простому набору ассоциаций единицы фрейма содержат «основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциирована с тем или иным концептом» [Дейк 2000: 16–17]. Иными словами, концепт, репрезентированный в виде фрейма, представляет собой иерархически организованную структуру знания.

Под фреймами, вслед за М. Минским, мы понимаем сетевые модели, или структуры знания, организованные вокруг некоторого понятия, в котором «ассоциирована информация разных видов» [Минский 1979: 7]. Слот, или, в терминологии М. Минского, терминал, – это элемент фрейма, ориентированный на какой-то один аспект, какое-то конкретное знание посредством заполнения «характерными примерами или данными» [Там же]. Слот устанавливает адекватные условия, способствующие раскрытию фрейма, а эти условия, в свою очередь, порождают определенные суждения.

Так, фрейм-структура концепта «закон» формируется следующими слотами (слоты, выделенные курсивом, могут быть факультативными), которые соответствуют конкретным КС:

1. Предпосылки создания закона.
2. Формирование проекта закона, его регистрация и направление председателю Государственной думы (ГД).
3. Работа над проектом закона в ГД, в том числе дополнение состава инициаторов законопроекта, снятие инициатором своей фамилии с законопроекта.
4. Предварительное рассмотрение законопроекта, внесенного в ГД.
5. Представление проекта закона в ГД в первом чтении.
 - 5.1. *Первичная реакция депутатов ГД на проект закона – рекомендации по доработке.*
 - 5.2. Принятие законопроекта в первом чтении.
 - 5.3. *Представление поправок к законопроекту.*
6. Публикация проекта закона – представление общественности.
 - 6.1. *Обсуждение проекта закона в СМИ – реакция общества.*
 - 6.2. *Публичная реакция власти на реакцию общества.*
7. Представление проекта закона ГД во втором чтении.
 - 7.1. Принятие законопроекта во втором чтении.
 - 7.2. *Представление поправок к законопроекту.*
8. Публикация проекта закона после второго чтения – представление общественности.
 - 8.1. *Обсуждение проекта закона в СМИ – реакция общества.*
 - 8.2. *Публичная реакция власти на реакцию общества.*
9. Представление проекта закона в ГД в третьем чтении.
 - 9.1. Принятие законопроекта в третьем чтении.
 - 9.2. *Обсуждение проекта закона в СМИ – реакция общества.*
10. Прохождение закона в Совете Федерации.
11. *Обсуждение проекта закона и действий законодателей в СМИ – реакция общества.*
12. Прохождение закона у Президента Российской Федерации, в том числе подписание закона.
13. Опубликование закона и даты его вступления в силу.
14. *Обсуждение проекта закона и действий законодателей в СМИ – реакция общества.*
15. Исполнение закона.

Факультативные позиции возникают, как правило, в случае, если законопроект вызывает общественный резонанс, главным образом

несогласие народа с инициативой власти. Подобная ситуация произошла в связи с обсуждением закона о неуважении к госсимволам.

Остановимся на КС «обсуждение закона в СМИ», которая во фреймовой модели концепта «закон» повторяется неоднократно. Модель этой КС представляем следующими позициями: участники КС, коммуникативная цель, коммуникативные стратегии и языковые особенности. Рассмотрим каждую из указанных позиций.

Участники КС. Участниками КС «обсуждение закона в СМИ» выступают: СМИ, власть и народ. Ведущая роль в этом триединстве отводится СМИ, большинство из которых заинтересовано в отклонении обсуждаемого закона, так как именно на страницах СМИ, как печатных, так и электронных, часто транслируются критические высказывания по отношению к власти, нередко неуважительного плана. Тем самым идет формирование соответствующего общественно-го мнения, мнения народа.

Применим к названным участникам обсуждаемой КС термины семантических ролей [Плунгян 2003; Тестелец 2001; Филмор 1981]. СМИ, будучи активным участником ситуации, является агенсом – инициатором и контролером процесса обсуждения закона. Роль агенса у СМИ на протяжении всей КС остается неизменной. Народ вначале выступает адресатом – получателем сообщения, но эта роль может измениться на роль экспериенцера (носителя чувств и восприятий), если адресат высказывает свое мнение публично, становясь активным участником КС. Власть в КС «обсуждение закона в СМИ» отводится роль бенефактива – участника, чьи интересы затронуты в процессе КС, от чего он может получить пользу или вред. Роль бенефактива может быть изменена на экспериенцера, если власть вступает в публичный процесс обсуждения закона.

Коммуникативная цель. Каждый участник КС «обсуждение закона в СМИ» преследует свою цель. Для выявления коммуникативной цели участников обсуждаемой КС значима активность ее участников.

Цель агенса – повлиять на законопроект до его принятия депутатами и подписания президентом. Задачи агенса: склонить на свою позицию адресата и разными приемами, в том числе манипулятивными, заставить его стать активным участником КС (народ для агенса в этом случае является инструментом осуществления задуманного действия).

Цель адресата-экспериенцера – высказать свою позицию, поддержав либо интенцию СМИ, либо позицию законотворцев.

Цель бенедиктива-экспериментера – добиться принятия закона, повлияв на сложившуюся ситуацию – участвовавшие случаи оскорбительного отношения к власти.

Коммуникативные стратегии и языковые особенности. Речевая стратегия (иначе – коммуникативная стратегия) определяется как «план предстоящих (прогнозируемых) речевых действий, в совокупности подчиненных достижению определенной коммуникативной цели и учитывающих ряд обстоятельств, определяемых понятием коммуникативной ситуации» [Русский язык и культура речи 2015: 278]. В рамках лингвопрагматики лингвистами представлены разные классификации и типологии речевых стратегий [Иссерс 2009; Копнина 2010; Матвеева 2003; Паршина 2005 и др.]. Для установления стратегий учитываются как коммуникативная цель, так и набор тактик [Русский язык и культура речи 2015: 281], используемых для реализации конкретной стратегии. Рассмотрим основные речевые стратегии, используемые в КС «обсуждение закона в СМИ» с позиции разных участников коммуникации. За основу выделения стратегий и тактик взята классификация, предложенная в работе «Стратегии и тактики речевого поведения современной политической элиты России» [Паршина 2005].

Агены активно используют следующие стратегии:

(1) стратегию дискредитации власти с целью подрыва авторитета. Речь в данном случае идет о публикациях текстов с персуазивными и директивными заголовками. Для дискредитации применяются **тактики обвинения** (*Власть боится критики; ...признали указанные законопроекты введением в России «режима прямой цензуры», а также обвинили власти в репрессиях в отношении всего журналистского и писательского сообщества*), **тактики оскорбления** – с использованием отрицательно окрашенных номинаций (*В Кремле назвали «маразмом» предложение наказывать за «неуважение к государству»*), оценочных эпитетов (*Оппозиционные депутаты назвали законопроекты Андрея Клишаса «репрессивными» и «опасными для общества»*), закон в статьях называют *скандальным, резонансным, немыслимым*); ярлыков и дисфемизмов (*«думский хайп»*); слово *хайп* пришло в русский язык из английского от NYIP, являющегося аббревиатурой от High Yield Investment Program, что значит «инвестиционная программа с высоким доходом». Наиболее близкими синонимами к этому слову в русском языке, пожалуй, выступают *шум, крик, вопль*. Выражение «поднять хайп» используется в значении «создать информационный шум»);

(2) стратегию нападения, цель которой – опорочить и, возможно, вывести из равновесия; реализуется тактикой уличения (*Предложивший сажать за неуважение к власти сенатор Клишас не раскрыл цену своих часов*). Сенатор А. Клишас является одним из авторов обсуждаемого законопроекта. Ранее А. Навальный опубликовал разоблачающие Клишаса материалы (ими пестрит интернет, поэтому ссылку здесь на них мы не делаем), в частности о наличии у сенатора *семи наручных часов на общую сумму 163 миллиона рублей* и о недостоверных данных в декларации собственности – швейцарского земельного участка значительно меньшей площадью, чем есть на самом деле);

(3) стратегию формирования эмоционального настроения адресата, которая реализуется путем использования выделенных нами тактики видения перспективы действия закона (*одобрила / ввела наказание, хотя бы приравнять к мелкому хулиганству, допускают уголовную ответственность, закон... вводит штрафы и предусматривает блокировку сайтов и аккаунтов в соцсетях*), тактики предупреждения (*Госдума приняла в первом чтении «опасные для общества» законопроекты*), тактики ограничения и наказания народа (*резко бьют по свободе слова и карману*).

Эмоциональный настрой общества выражается в оценочной лексике (*Мы попросили юристов поччитать эти документы, которые дружно приняли депутаты Госдумы, практически единогласно одобрил Совет Федерации и махом подписал президент; [Закон] окрестили «законом о неуважении к государству»*), метафорах (*«Топором и кувалдой»: какие недочеты нашли в законе о неуважении к власти*), прецедентных фразах (*Шутки за 300 (тысяч рублей): как вас накажут...*) Здесь фраза «шутки за 300» соотносится с известным современным выражением, обозначающим некачественный юмор. Почему триста? Слово *триста* рифмуется с формой родительного падежа слов, называющих различные профессии на *-ист*: *тракториста, программиста* и др. Была известная подколка, которая представляла собой диалог, инициатор которого любым способом вынуждал собеседника сказать «триста», на полученный ответ звучала пошлая фраза, призывающая «сделать оральный секс», например, у тракториста, программиста и др. Сама же формулировка «шутка за 300» заимствована из телепередачи «Своя игра» (телеканал НТВ), где вопросы объединены по присваиваемым им баллам: «Спорт за 500» и под. В ходе обсуждаемого закона фраза «шутки за 300» указывает на стоимость штрафа (триста тысяч рублей), регламентируемого законом в случае его несоблюдения.

(4) Информационно-интерпретационная стратегия присуща агенту, публикующему тексты с фактуальными заголовками. Цель этой стратегии – информировать граждан о значимых событиях. Реализуется она посредством тактик признания существования проблемы, концентрации, как правило, нейтральной информации и комментирования со ссылкой на слова законотворцев.

Адресат-экспертиенцер, высказывая свою позицию, поддерживает либо позицию законотворцев, либо интенцию СМИ. Реплики адресата-экспертиенцера являются реакцией на посыл агенса. В зависимости от принимаемой позиции различаются коммуникативные стратегии и тактики. В первом случае, когда адресат поддерживает законотворцев, проявляется стратегия содействия, выражающаяся в тактике одобрения (*Все правильно сделали! А то развелось мэров и президентов все знают как лучше сделать. Обливают власти дерьмом, а молодежь читает*), сравнения с прошлым (*А то что мы живем в практически лучшее время за последнее лет 500 все забыли?*), тактика исторических параллелей (*Закон о защите чести и достоинства президента СССР был принят Верховным Советом 14 мая 1990 года за год до развала совка*).

Если же адресат принимает оппозиционную интенцию СМИ, то реализуются следующие стратегии:

- стратегия дискредитации, которая поддерживается тактиками обвинения (*Какие же они слуги народа это враги народа грабят страну и будущее наших детей; «слуги народа» говорите? Ну ну, обыкновенные паразиты; Депутаты воруют миллиарды долларов и заставляют нас молчать*), оскорбления – с использованием отрицательно окрашенных номинаций (*олигофрены из ЕДРисни; нельзя ругать воров и антироссиян; Да уж, эти пидорасы из кожи лезут. Особенно эта мразь которая клиптищ Клишас*), оценочных эпитетов (*перепуганные /о представителях власти/; Абсурдные законы подобного рода показывают деградацию их творцов*), речевой агрессии (*...первый /о сенаторе Клишасе/ пойдет на корм своим собачкам!*), ярлыков (*Клишас настоящий сеньор лимон*), метафор (*Как меня бомбит от них... /о представителях власти/*), поговорок (*чует кошка, чье мясо съела*). В ряде из приведенных примеров совмещаются разные средства, передающие оскорбление;

- стратегия констатации действий представителей власти посредством использования выделенных нами тактик оценки (*Боятся народного гнева, отсюда их агония; Бессилие и страх так называемой «власти»; беспредел продолжается!; Знают настроения,*

готовятся), видения перспективы действия закона (*далее порка крепостных на конюшнях*), обхождения закона (*Ну придется свой язык общения вводить...*);

- агитационная стратегия реализуется тактиками предложения (*Надо всех думовцев гнать и набирать честных профессионалов!; Необходимо незамедлительно принять закон о неуважении к народу!; Лучшие организовывать партизанские отряды, и начинать отстреливать халуев хабада, и прочих врагов народа!*), тактикой призыва к активным действиям (*Глаза всем выколоть и языки отрезать и пусть слушают и головой кивают; Вставай, страна огромная*).

Ведущей стратегией бенефактива-экспериментера является информационно-интерпретационная, реализующаяся посредством тактик признания существования проблемы (*Тема информационной безопасности сейчас очень актуальна*), разъяснения и комментирования (*И речь в данном случае идет исключительно о недопустимости оскорбления в неприличной форме власти и общества, проявления явного неуважения к государственным символам нашей страны и госорганам. Это не касается критики и конструктивного анализа проблем*).

Кроме того, используется аргументативная стратегия, направленная на убеждение адресата посредством реализации тактики обоснования принятия закона, например, созданными условиями (*На мой взгляд, этот закон на этическом уровне уже давно нашел свое отражение в обществе*).

Заключение. Во внутрироссийском политическом дискурсе оппозиция «власть – народ» демонстрирует информационно-психологическое противоборство. Народ недоволен действиями властей, направленными на разные ограничения, в том числе на свободу выражения мысли. Полученная в 1990-е годы свобода слова, когда печатный текст практически был лишен цензуры, стала активно проявляться в период всеобщей компьютеризации в начале XXI века. Каждый человек получил возможность через интернет открыто высказать свою позицию – от открытого письма президенту до комментария к какой-либо публикации. Это привело, среди прочего, к изменениям речевого этикета эпистолярных жанров. Ненормативная лексика заняла ведущие позиции в интернет-комментариях, касающихся действий представителей власти, несмотря на то, что в России сквернословие по юридическим законам рассматривается как нарушение общественного порядка, оскорбление личности, что предусматривает наказание. Власть вынуждена защищаться на законодательном уровне,

усиливая наказание, в первую очередь, тех, кто стоит за электронными СМИ, где допускаются оскорбительные высказывания. В качестве объектов защиты на законодательной основе были вынесены: общество, государство, официальные государственные символы, Конституция и органы государственной власти (регулярным нападениям со стороны общества подвергаются, пожалуй, лишь конкретные представители власти). Это подтверждает анализ КС «обсуждение закона в СМИ». Данная КС, являющаяся одной из составляющих политического дискурса, демонстрирует противостояние власти и народа, что не раз попадало в фокус исследований развивающегося направления «политическая лингвистика».

Проанализировав КС «обсуждение закона в СМИ», в нашем случае закона о неуважении к госсимволам, с позиции коммуникативных ролей участников общения, их коммуникативной цели, стратегий и языковых особенностей, приходим к выводу, что рассмотренная КС представляет собой конфликтный дискурс. Каждый участник этой КС (власть, СМИ, народ) преследует свою цель.

Задача власти – информировать общество о наличии проблемы, которую необходимо решить на уровне законодательства. Отсюда ведущими стратегиями со стороны власти являются информационно-интерпретационная и аргументативная.

Цели СМИ разнятся в зависимости от позиции издания по отношению к власти. Провластные издания придерживаются информационно-интерпретационной стратегии, оппозиционные же СМИ берут на себя функцию выражения народного мнения, стараются склонить народ на свою сторону, наделяя рассматриваемый закон специфическими характеристиками, содержащими негативную семантику, используя стратегии и тактики, цель которых – дискредитация власти.

Народ, включаясь в КС, либо поддерживает интенцию власти, либо отвергает ее. Рассмотренная КС выявила в основном оппозиционный настрой общества по отношению к законодателям и их интенциям, что выразилось в стратегиях дискредитации, констатации и агитации через призыв к активным действиям.

В зависимости от целеустановки каждый участник проанализированной КС «обсуждение закона в СМИ» использует тактики, сопоставимые с ситуацией военных действий. Это тактики провокации, нападения и защиты. Первые две в большей степени характеризуют речевое поведение представителей СМИ и народа, третья – речевое поведение власти.

3.5. Между ориентацией на традицию, европеизацией и глобализацией: университет как объект и субъект информационно-психологической войны

Введение. Университет имеет богатую историю, уходящую своими корнями в глубь веков – в эпоху Средневековья, которое во многом парадоксально в своем бытии. С одной стороны, христианская религиозная доктрина и ее догматические постулаты не приветствовали развития науки (особенно естествознания), с другой – потребность дальнейшего развития общества диктует обращение к знаниям, что не могло не сказаться на поиске новых форм их хранения, трансляции и передачи. Ответом на требования времени стало появление университетов. Однако по мере своего развития они изменялись под влиянием как внешних (социокультурный контекст времени), так и внутренних факторов. Университет проходит путь от независимости к полной зависимости от государства и до взаимовыгодного сотрудничества с ним, от отсутствия ярко выраженных национально-государственных традиций и направленности к их проявлению и закреплению в своей деятельности до глобальной унификации и стандартизации, от объекта до субъекта информационно-психологической войны. Несмотря на это университет остается местом пребывания знания как науки и знания как культуры и театром военных действий в информационно-психологической войне.

Для того чтобы показать статус современного университета в информационно-психологической войне, проанализируем тексты, содержащие или стимулирующие философскую рефлексию по поводу трансформации университетов как социального института и университетского образования в исторической ретроспективе.

Результаты исследования. Современный мир – мир тотального господства информации и коммуникации, ведущих к становлению не только знаниевого общества, но и к безудержному развертыванию информационно-психологических войн, или войн за «умы людей». Обусловлено это тем, что происходит онтологизация информации – она вводится в качестве основания модели мира. Новая информация накладывается на имеющуюся ранее, и они могут совпадать, и/или дополнять друг друга, и/или быть диаметрально противоположными, что приводит к изменению существующей модели мира. В результате человек постоянно оказывается в состоянии когнитивного диссонанса, что благоприятствует развертыванию

информационно-психологической войны. Стратегия и тактика ведения информационно-психологической войны предполагает использование техники, технологий и методов, непрерывно совершенствующихся. Одной из эффективных стратегий в условиях современности является трансформация национальной системы университетского образования в так называемую интернациональную.

Принимая во внимание, что в научном дискурсе довольно часто используются одинаковые по звучанию термины, имеющие специфическое содержание в конкретной отрасли знания, следует уточнить их применительно к предмету данного исследования – университету как объекту и субъекту информационно-психологической войны. Термин может приобретать значение, если для этого есть необходимые и достаточные условия и в его применении соблюдаются законы логики. Социально-философский замысел уточнения содержания терминов основывается на обращении к поискам предельных оснований бытия мира и человека.

Несмотря на различные подходы исследователей к определению понятия «информационно-психологическая война», можно выявить основную характеристику явления, скрывающегося за ним: она есть не что иное, как *воз-действие* на общественное и индивидуальное сознание в целях управления им [Беляев 2014; Кара-Мурза 2015; Коровин 2014, Панарин 2012; Почепцов 2015 и др.]. Цель информационно-психологической войны – формирование новой системы общественных отношений на основе изменения социокультурной идентичности государства и национально-государственных ценностей.

Субъектом информационно-психологической войны выступает активный элемент в связке субъект – объект, существующий и действующий как социальный агент (человек или социальная группа), активность которого направлена на объект преобразования. Субъект прочно вплетен в общественную систему как ее элемент и при этом сам конструирует эту систему. Начиная со второй половины XX века отмечается нарастание тенденции дефицита ответственности субъекта, позволяющей обеспечивать безопасность как общества в целом, так и каждого его члена [McKeon 1957; Боброва 2009; Валадес 2010 и др.]. Субъектами информационно-психологической войны чаще всего выступают государство и его институты, общественные объединения и организации, политические партии и элиты, рядовые граждане и массмедиа. Однако не всегда между ними выстраивается диалог и достигается согласие в действиях. Предъявление субъекта осуществляется различными средствами, к числу

которых относятся язык, значение, смысл, знак, символ, образцы, ценности и нормы, зафиксированные и презентуемые объекту. Более того, субъект всегда демонстрирует свое отношение к объекту и себе [Бергер, Лукман 1995].

Объектом информационно-психологической войны выступает «сознание народа в целом или какой-либо целевой группы (социальной, конфессиональной, профессиональной и т. д.)» и индивидуальное сознание, которые в социальной реальности могут как совпадать, так и быть различными [Сковородников, Королькова 2015: 161].

Следует отметить, что хотя субъект и оказывает влияние на объект, руководствуясь своими интересами, тем не менее он сам в ряде случаев может превратиться в объект другого – более сильного – субъекта [Общая прикладная политология 1997: 534]. Кроме того, субъект, воздействуя на объект, подвергается влиянию с его стороны – он «настраивается» на него.

Замечу, что в последней трети прошлого столетия преимущественно в политической науке для характеристики субъекта [Англо-русский словарь 1995: 35] активно стал применяться термин «актор» (от лат. *actor* – деятель, актер). Применительно к анализу информационно-психологической войны под актором понимается наиболее влиятельный субъект, обладающий автономностью при разработке ее стратегии, тактики и средств.

Современный университет (от лат. *universitas* – совокупность) начинает свою историю с XI века (хотя первые высшие школы появились значительно раньше), он представляет собой высшую школу, учебное заведение первой степени по всем отраслям науки [Университет 1999]. Так, в Древней Греции и Древнем Риме (VI–I века до н. э.) на базе школ риторов, как и в индийской Наланде (V–VI века н. э.), возникали учебные заведения, не именовавшиеся университетами, но обладавшие их чертами [Родина, Николаева, Пономарев 2015: 406]. На Востоке известность приобрел Кордовский университет (территория завоеванной арабами Испании), куда приезжали получить образование жаждущие знаний европейцы и отсюда в Западную Европу отправлялись переводы античных авторов [История Востока 2002].

Европейский университет начинал свою деятельность на территории монастырей, он вырастал из епископских школ, имевших крупных профессоров в области богословия и философии, и из объединений частных преподавателей – специалистов по философии, праву (римское право) и медицине. В те времена существовало

три вида школ – низшие, средние и высшие. Первые образовывались при церквях или монастырях, и их целью была подготовка грамотных духовных лиц – клириков. Для этого изучались латинский язык (на нем велось богослужение), молитвы и сам порядок богослужения. Вторые возникали, как правило, при епископских кафедрах, и в них практиковалось изучение семи «свободных искусств» (грамматика, риторика, диалектика, или логика, арифметика, геометрия, куда входила география, астрономия и музыка), которые затем перешли в высшую школу и составили содержание преподавания на младшем («артистическом») факультете. Третьи – высшие школы, называемые прежде *Studia Generalia* (общие науки), – и были университетом [Гофф 1997; Ряполов 2018]. Роль образовательных центров в XI веке играли две итальянские высшие школы – Болонская юридическая, специализировавшаяся на римском праве, и Салернская медицинская школа, впервые упомянутая в источниках еще в 197 году до н. э.

Первым европейским университетом принято считать Болонский, возникший на основе юридической школы, созданной в 1088 году юристом Ирнерием, авторитет которого был известен далеко за пределами его города [Покровский 1999: 254]. Лекции преподавателей школы права привлекали слушателей со всех уголков Европы, поскольку римское право оказалось универсальной прикладной дисциплиной для Европы в условиях формирующегося нового типа хозяйствования. Парижский университет, получивший официальное признание французского короля Филиппа-Августа в 1200 году и папы Иннокентия III в 1215 году, является одним из первых учебных заведений, наделенных статутами (уставами) [Документы по истории университетов Европы XII–XV вв. 1973; Суворов 2012]. Для получения статуса образовательного учреждения должна была выдаваться папская булла, одобряющая его создание. Понтифик своим указом выводил учебное заведение из-под контроля светской или местной церковной власти, узаконивая существование того или иного университета. Права учебного учреждения подтверждались получаемыми привилегиями или особыми документами, подписанными либо папами, либо царствующими особами. Привилегии закрепляли автономию конкретного образовательного заведения (форма управления, разрешение иметь собственный суд, право даровать ученые степени и освобождать студентов от воинской повинности). Фактически университеты становились полностью независимой организацией – профессора,

студенты и служащие подчинялись не городской власти, а только выбранному ректору и деканам. Университеты давали возможность получать хорошее образование, что позволяло их выпускникам сделать блестящую карьеру. С одной стороны, средневековые университеты активно контактировали с церковью, которая нуждалась в кадрах, с другой – они готовили светские кадры для расширяющихся управленческих аппаратов различных городов, наращивающих по мере своего развития потребность в образованных и грамотных людях. Опыт организации Парижского университета был положен в основу университетской модели, которая стала доминировать в большинстве стран средневековой Европы.

Следует обратить внимание на то, что российская история университетов складывалась несколько иначе, так как они возникали в Новое время. Кроме того, в стране формировалась самостоятельная университетская система, роль и место которой в жизни российского общества еще не получили должного осмысления [Аврус 2001]. В России доминировали академии, и начало становления университетов в дополнение к ним (академиям) стало возможным лишь с основанием Московского императорского университета (1755). В этом же году был принят первый Университетский Устав [Лунин, Зоркий, Лубнина 1999: 345].

Первые университеты *по-являлись и про-являлись* как корпорации, объединяющие учителей и учеников (*Universitas magistrorum et scholarium*). В самом генезисе университета демонстрируется два его основополагающих смысла: символ всеобщего – сообщество людей и то всеобщее, универсум, ради которого они объединяются. Иными словами, университет возникал по инициативе и во имя Человека. В университетах были аудитории, где читались лекции и проходили диспуты, библиотека – как хранилище текстов, фиксирующих знания и дискурсы.

Появление университетов сделало образование относительно доступным и массовым по меркам Средневековья [Документы по истории университетов Европы XII–XV вв. 1973]. Однако это образование было во многом «элементарным» – предполагалось овладение грамотой, основами математики, культурой рассуждения и диспута (философия, риторика), знакомство с корпусом базовых текстов (Священное Писание, сочинения Аристотеля, образцы римского права и др.), а также с их толкованиями и комментариями [Щедровицкий 2011]. Университет служил обществу и государству. Он начал формировать особую социальную среду – интеллигенцию,

которая пополнялась из различных «слоев общества, имела “транзитный” характер (университеты часто перемещались в другие города или вообще могли покинуть университет), она была интернациональной и отличалась монолитностью и однородностью в смысле единства мышления» [Родина, Николаева, Пономарев 2015: 413].

Постепенно интернациональный характер университетов сходил на нет, поскольку они отказывались от преподавателей и студентов из тех городов, которые враждовали с городскими или государственными силами, поддерживавшими университеты. Университеты постепенно становились национальными и выполняли все больше утилитарных функций, связанных с подготовкой востребованных специалистов для церкви, города и государства [Там же]. При этом они не формировали ярко выраженных национальных традиций и направленности образования, которое основывалось на двух противоположных тенденциях: первая – нацеленность на получение и тиражирование знаний; вторая – стремление получить практическую профессиональную подготовку.

В дальнейшем университеты обрели светский характер, утратили права самостоятельных корпораций и превратились в полноправный элемент структуры своего общества и государства. Начала формироваться новая модель университета, получившая название «классической», что связано с открытием в 1810 году Берлинского университета и деятельностью Вильгельма фон Гумбольдта. Университет Гумбольдта «находит всемирное признание и служит примером для подражания» до 1933 года, когда «автономия высшей школы была ограничена в нацистском государстве, стремившемся преобразовать Гумбольдт-университет в университет нацистского мировоззрения», и немецкое образование капитулировало перед политикой [Шнедельбах 2002: 1]. Теперь модель университета основывалась на трех принципах: первый отрицал примитивный утилитарный взгляд на образование, когда знание ценится лишь с практической точки зрения, второй предостерегал от засилья опытной (эмпирической) науки, противодействующей фундаментальному теоретическому познанию, третий утверждал господство гуманитарного образования, без которого не может появиться образованная личность [Захаров, Ляхович 1994: 52]. Особенностью классического университета были предоставление академической свободы и единство исследования и преподавания, что позволяло воплотить «образ ищущего человеческого духа» [Шнедельбах 2002: 10].

Становление новой модели университета происходило на фоне подъема национальных устремлений и повышения значения государства. Между властью и знанием начинали выстраиваться договорные отношения – ученые желали иметь разрешенные государством беспрецедентные институциональные возможности, государство требовало поддерживать национальную культуру, помогать в формировании национальных символов и личности гражданина своего государства. «Гумбольдтовская модель университета стремилась к всестороннему компромиссу: академическая свобода при одновременной ответственности перед потребностями государства и общества; объединение задач образования с заботами науки, не связанной какими-либо определенными целями» – ученые принимались на службу государством [Там же: 4]. Союз знания с властью – основа существования университета. И в начале XX века университеты становятся похожими на «государственно-капиталистические» предприятия, вовлекая в свои стены идеологию [Вебер 1990]. Поэтому любое нападение на государство было равносильно нападению на его университет, поскольку он, прежде всего, репрезентировал культурно-историческую модель общества. Социокультурный контекст университета определял его форму, задачи, функции и предъявлял к нему конкретные требования.

Вторая половина XX века ознаменовалась тем, что университет начинает рассматриваться как основополагающий фактор могущества, политического успеха или неуспеха, механизма решения внутренних и геополитических проблем государства в условиях начинающей глобализации мира. Более того, в 70–80-х годах прошлого столетия университет все больше становится коммерческой структурой по производству знания [Белл 2004: 335]. Университеты разрастаются до интеллектуальных городов, занимаясь производством и предоставлением различных (не всегда собственно образовательных и знаниевых) услуг [Керт 1987].

На рубеже XX–XXI веков университет представляет собой уже не абстрактную конструкцию, а реальную силу, необходимую для развития экономики, армии, политической власти и культуры. В условиях коммерциализации образования начинает размываться его элитарность, ибо сегодня образование массовизируется – оно доступно всем, кто в состоянии заплатить за него. Экономические реалии требуют прибыли «здесь и сейчас»: «проектный подход, используемый при субсидировании науки, например в США и Великобритании, мотивирует в основном те исследования, которые могут принести экономическую выгоду компаниям либо выполнить

идеологический заказ власти. При таком подходе фундаментальная наука даже в развитых странах оказывается в общем-то бесполезной, хотя все еще остается «статусной» для ведущих университетов и крупных исследовательских центров» [Лосев 2018]. Поскольку денежные ресурсы ограничены, научная деятельность все больше зависит от грантов, выделяемых государственными агентствами или частными корпорациями. Исследования коммерциализируются, а значит, грантодателям необходимы критерии оценки самих ученых и эффективности их работы. Появляются всевозможные рейтинги и индексы, которыми можно манипулировать [Там же].

Ориентация университета на воспроизводство национального духа утрачивается – он заключает в себе многочисленные культуры мира, становясь одновременно объектом и субъектом информационно-психологической войны. Университет никогда не был нейтральным к сфере духа. Однако развитие информационного общества и внедрение современных технологий поставили под сомнение необходимость поиска истины в его стенах – она дана в средствах коммуникации, они ее производят и тиражируют. Следовательно, истинного знания нет, оно *за-дано* структурой восприятия мира, которая может меняться. Яркий пример тому, когда одно и то же событие в течение короткого отрезка времени в реальности массмедиа меняет свои полюсы. Когда война становится принуждением к миру и т. п. Кроме того, информация «обладает способностью одновременно определять и социокультурное бытие человека, и его материальное бытие» [Аникина, Иванкина, Силифонова 2016].

Университет наряду с передачей, хранением, поиском и трансляцией знания осуществляет формирование человека через сохранение и передачу социокультурных ценностей или духа народа. Государство, даже если не финансирует университет, выдает ему лицензию и тем самым задает рамки его деятельности. Следовательно, университет отражает социальный заказ на человека, и система образования является стержнем жизнедеятельности страны [Иванов 2016: 62]. Университет как субъект конструирует объект путем приписывания ему определенных свойств с их последующим закреплением всевозможными технологическими способами как технического, так и социального порядка. Государство, гарантируя университету защиту, определяет его функционирование и развитие. Университет теряет свою автономность и не в состоянии выполнять самостоятельно свою миссию – он превращается в институт, формируемый не национальным государством, а бизнес-корпорациями и вместо

национальной культуры университеты всего мира обслуживают их идеологию [Ридингс 2010: 67].

Современный университет, находясь в глобальном образовательном пространстве, вынужден подчиняться его законам. Подписание Болонской декларации (или «Зоны европейского высшего образования») 19 июня 1999 года министрами образования 29 европейских государств определило стратегию развития университета – создание общеевропейского пространства высшего образования с целью повышения мобильности граждан на рынке труда и усиления конкурентоспособности европейского высшего образования [Joint declaration 1999]. Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году и активно включилась в реализацию его стратегии. Все бы хорошо, но есть одно очень существенное «но». Термин «европейский» означает включенность в Европейский союз, а Россия не является членом ЕС. Поэтому Россия пытается решать те же проблемы, что и Европа, но с учетом особенностей российских университетов и своего положения на карте мира. Приведу лишь несколько примеров.

Так, Россия не включена в специальные программы европейской академической мобильности и отсутствует в списке Европейского портала трудовой мобильности (European Job Mobility Portal) на сайте <https://ec.europa.eu/eures/public/homepage> [Action Plan for Mobility, European Job Mobility Portal, European Commission: Education and Training]. Уровни образования – бакалавриат и магистратура – ориентированы на структуру европейского, а не российского рынка труда. Не секрет, что наш рынок труда значительно отличается от европейского. Более того, в документах Евросоюза оговорена система трудоустройства выпускников на европейском рынке труда. Российский вариант подготовки по линии бакалавр-магистр очень хорошо вписывается в нее и, следовательно, российский университет готовит специалиста не для своей страны, а для Европы. Разве это в интересах развития страны и укрепления ее национальной безопасности?! Привлекательный образ Европы, созданный «фабрикой грез» масс-медиа, подкрепляется наличием возможностей для работы и учебы выпускников российских университетов – они согласны работать за меньшую оплату по сравнению с европейцами, и при этом хорошо подготовлены как в плане профессиональных компетенций, так и образовательных.

Еще в конце 80-х годов связь учебных заведений с реальным производством начинает утрачиваться, что особенно проявляется в 90-е годы XX века. Происходит крен в сторону экономических

и юридических направлений, который продолжается в настоящее время: число абитуриентов на эти специальности значительно выше, чем на естественно-научные и инженерно-технические. Следствием этого становится перенасыщение рынка труда выпускниками-юристами и выпускниками-экономистами. Диплом получен, а допуска к деятельности по профессии нет. Сегодня, как никогда, вновь актуально звучат слова первого наркома просвещения А. В. Луначарского, произнесенные столетие назад (в 1919 г.): «Количество инженеров у нас ничтожно, и не на всех можно притом полагаться» [Ортиков 2013: 461].

Российский университет становится поставщиком интеллектуального капитала в страны Европы. Пока формальное введение образцов организации европейского университета не в пользу государственной идентичности и безопасности страны. Университетская культура связана образованием с миром культурных ценностей и смыслов. Важно помнить: в университет приходит будущее общества и государства в буквальном смысле – молодежь; от того, какой она станет, зависит дальнейшая судьба самих общества и государства.

Усиливающаяся коммерциализация образования и регионализация развития страны, когда отчетливо видны регионы-доноры и регионы-реципиенты, ведут к оттоку молодых «умов» в центр страны, а оттуда за ее пределы. Российские национальные традиции отсутствуют в современных университетах. Вполне достаточно только посмотреть на информацию с официальных сайтов – все стилизовано и унифицировано на западный манер. Деятельность университета направлена не столько на формирование ценностей, сколько на прагматизм и коммерцию, «работающие» на успех. Однако будет ли он ориентировать на ценность знания как такового и его поиски? Полученное знание не всегда способно тотчас же принести прибыль. История дает нам немало примеров, когда результаты научных открытий начинали внедряться не сразу, что характеризует фундаментальную науку, прежде всего. Лишь несколько ведущих американских университетов (Стэнфорд и Массачусетский технологический институт) смогли создать модель университета, приносящего прибыль, это оказалось не под силу университетам Великобритании. В безвыходные ситуации в образовательных бизнес-корпорациях попадают гуманитарные факультеты [Иглтон 2017]. Хорошо известно, что инвестиции в гуманитарные науки – это вложение в будущее, и время проявления их результатов существенно отделено от времени инвестирования. Модель университета как образовательной транснациональной корпорации требует быстрой отдачи

вложенных средств. Образование превращается в товар, востребованный на рынке образовательных услуг. Начинается продажа образовательных услуг, зачастую далеко не наивысшего качества.

Введение количественных показателей в организацию работы университетов, с одной стороны, позволяет приблизиться к получению объективных критериев оценки их деятельности, с другой – тотальная наукометрия угрожает порождением и доминированием бюрократического университета, которому не нужен дух.

Образование предполагает усвоение ценностей и норм, регулирующих различные сферы жизни общества. Иначе оно «не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, техническое умение, которыми он, бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный, и начинает злоупотреблять» [Ильин 2003: 67].

Несмотря на то что к концу прошлого века высшее университетское образование прочно заняло место среди государственных приоритетов, государственное финансирование высшего образования во всех развитых странах постепенно сокращается. Как следствие этого, в последнее десятилетие постепенно меняются роль и форма организации университетского образования. Университет в условиях глобализации приобретает все новые и новые черты. Если в конце XX века подчеркивалась роль университета в обществе как его основного социального института, то сегодня положение и организация университетов вызывает много споров. Производство, развитие и распространение культуры – задачи университета в XIX–XX веках – отходят на второй план, и главными становятся вопросы адаптации к современным социально-экономическим и политическим изменениям, вопросы сотрудничества университета с государством, с одной стороны, и глобальным миром – с другой.

Языком мировой науки становится английский. Можно сказать, что глобализация делает акцент на единообразии в правилах функционирования университета. Однако всегда следует помнить, что «открытия по заказу не делаются... Нужно гениальное озарение. Сейчас принято считать, что науку делают большие коллективы, но озарение по-прежнему приходит в одну голову» [Эрлих 2012: 392].

Заключение. Сама история университета демонстрирует его уязвимость как объекта информационно-психологической войны – он элемент системы общества и государства. Одновременно этот же статус университета в обществе и государстве создает благоприятные условия для обретения им роли субъекта информационно-психологической

войны. Глобализация приводит к тому, что государство перестает обладать монополией на организацию университетской деятельности. Более того, благодаря глобализации в университете сосуществуют различные культуры, а духовные ценности и традиции, господствовавшие ранее, становятся зыбкими. Возникает вопрос: какие ценности и как воспроизводить сегодня? Вопросов значительно больше, чем ответов. Университет включается в информационно-психологическую войну, потому что «продвижение идеи много дешевле продвижения армии» [Моррис 2993: 20], а идеологического вакуума не бывает. Интеграция в единое образовательное пространство не отменяет сохранения традиций, позволяя при этом формировать новые на основе взаимодействия национально-государственных культур. Это сближение культур, а не их подавление и подчинение какой-либо одной, доминирующей.

3.6. Русский язык как фактор национальной безопасности: лингвоэкологический и лингвоаксиологический анализ городской эпиграфики (на материале Дальневосточного региона)

Язык как один из базисных аспектов идентичности в условиях постоянного информационного противоборства так же, как и образование, является мишенью информационно-психологической агрессии. Активная защита языковой среды является важнейшим аспектом национальной безопасности Российской Федерации.

А. М. Кушниц

Введение. Проблемам функционирования русского языка в эпоху глобализации посвящено множество современных лингвистических исследований. Информационно-психологические войны, происходящие как на международном, так и на внутригосударственном

уровне, стали неизбежной реальностью. В результате вербального воздействия, применяемого в информационно-психологической войне, народ-мишень лишается возможности принимать логически обоснованные решения, теряет свободу воли и оказывается под контролем атакующей стороны. В современном коммуникативном пространстве происходит борьба за души людей.

Общеизвестно, что формирование и развитие индивидуального сознания и образа мира – это сложный и длительный процесс «врастания» в свою культуру, в социум, в основе мировидения которого лежат культурные доминанты того или иного этноса. Этот процесс опосредован родным языком, хранящим и передающим все те основные идеи, которые составляют ценностный фундамент нации. Деформации языка неизбежно ведут к изменениям культурно обусловленного ценностного ядра, а следовательно, и к потере чувства национальной идентичности основной массой населения. Деструктивные процессы в национальном языке являются причиной денационализации этноса [Бубнова 2017: 166]. Нарушение лингвистического благополучия в общественном дискурсе негативно влияет на мировоззренческую национальную матрицу. В результате сегодня на повестке дня остро стоит вопрос о русском языке как факторе национальной безопасности.

В современном языкознании складывается особое направление – лингвистика информационно-психологической войны, где объектом изучения является специфика использования языка как средства разрушения культурной матрицы народа. Данная теория разрабатывается, в частности, коллективом исследователей Сибирского федерального университета под руководством профессора А. П. Сквородникова [Лингвистика... 2017]. Цель подобных исследований – на основе анализа соответствующих текстов выяснить, какое место в проблемном поле защиты государственных интересов отведено русскому языку и насколько это место адекватно с точки зрения функций языка как государственного, международного и мирового с учетом его современного состояния и полифункциональной речевой реализации.

Важнейшими компонентами национальной безопасности, релевантными для лингвистического исследования, являются безопасность личности, ее права и свободы, духовные ценности общества. Данные элементы национальной безопасности непосредственно связаны с состоянием и особенностями функционирования языка в определенную эпоху. Одним из важнейших факторов обеспечения

национальной безопасности России и окружающих ее государств является русский язык. Отношение к языку – ключевая составляющая языковой безопасности страны и народа, так как информационно-психологическое воздействие на сознание человека и нации в целом осуществляется преимущественно через языковую среду и посредством языка. Язык – самый убедительный критерий целостности государства.

Цель нашего микроисследования – выявить языковые средства информационно-психологической атаки, используемые в текстах городской эпиграфики. Материалом послужили вывески, рекламные плакаты, афиши и объявления Владивостока (около 4000 текстов). Выбор объекта для исследования обусловлен тем, что тексты городской среды формируют и отражают национально-культурное сознание горожан, оказывают мощное воздействие на адресата, таким образом, данный языковой материал репрезентирует ценностную картину мира современных россиян.

Результаты исследования. Мишень информационно-психологического воздействия – базовые общечеловеческие и русские национальные ценности. Русский язык при этом является как мишенью, так и средством атаки, следовательно, должен признаваться одним из основных объектов защиты в системе национальной безопасности. Антропоцентрический пафос современного языкознания сопряжен с активным изучением лингвистами аксиосферы общества нового времени. Такой вектор исследований ценностной картины мира обусловлен острой социальной необходимостью. Социокультурная ситуация рубежа эпох характеризуется обостренным мироощущением «человека на переломе» и актуализацией экзистенциальной проблематики.

Языковая ситуация в городе характеризуется (по [Кирилина 2011a]) следующим образом:

- 1) изменение социальной базы носителей русского языка и связанное с ним изменение самого русского языка;
- 2) экспансия английского языка и инокультурных моделей поведения и образа жизни;
- 3) высокий престиж английского языка и, как следствие, снижение престижа и сужение сферы функционирования русского языка;
- 4) вакханализация языка в сфере публичного общения (жаргонизация, языковая игра с использованием обценной лексики и инвектив и т. п.);
- 5) рост речевой агрессии в публичной коммуникации;

б) проявление в системе русского языка признаков, указывающих на перестраивание ценностной картины мира и, возможно, упрощение мышления;

7) деинтеллектуализация речи.

В результате проведенного лингвоэкологического и лингвоаксиологического анализа обнаруживаются грубейшие нарушения орфографической нормы и экспансия английского языка. Все это, в случае преднамеренного использования, можно квалифицировать как **средство дискурсивного оружия**.

1. Массовое нарушение орфографической нормы (орфографический нигилизм): *шыны, грушы, требуются афицанты, облицовочный материал, оденьте очки (в кинотеатре), шиколад, дигустация продукции, пышка в сахарной глазури, хочеш дешевле, замена масла бисплатно, живое пиво, осторожно сосульки, шинмантаж, загарай дешево, дамафонные ключи, солярий находится за углом, требуется посудамойщица, грузанперевозки, мужская обувь и красовки, вход с мороженым и напитками запрещен, постелые принадлежности*.

2. Экспансия английского языка. Около 70 % владивостокских вывесок содержат англоязычный эргоним или написаны латиницей. Более 80 % текстов городской эпиграфики содержат англоязычную лексику или написаны латиницей. Более 50 % текстов меню содержат англоязычные названия блюд (при наличии аналогов в русском языке): *entrecote, steak, balyk, broth, meatballs, stuffed cabbage roll, pancakes* и др; *релиши, киш, браунис, крамбл, рулада* и т. д. Около 70 % текстов «о моде и красоте» содержат англоязычную лексику: *аумфум, look, showroom, corner, mua, hair, fashionista, trendsetter, dresser, street-styler* и др.

В сфере городских афиш экспансия иноязычной лексики проявляется наиболее ярко: около 90 % всех афиш содержат англоязычный компонент. Настораживает, что даже в университетском дискурсе обнаруживается указанная тенденция, например: *научный stand up, кафе Let's science* и другие.

Обесценивание русского языка наблюдается и в текстах, где русские слова написаны латиницей, особенно если это лексемы, обозначающие национально значимые ценности или артефакты (*кафе Matreshka, Uhvat, Pushkin, Hohloma, Ogonek*). Языковая игра с использованием латиницы зачастую затрудняет восприятие текста и определение его языковой принадлежности: *хуммус-dip или хуммус-gun?*; *малиновая панна котта (котта или комма?)*; *B2B, gr8*,

2day, 5ница. В этой связи возникает вопрос: что сегодня есть признак «русскоязычности» текста? Где границы русского языка?

Экспансия английского языка культивирует во многом чуждую нам культуру, при этом происходит дискредитация русского образа жизни и мировидения, утрата национальной картины мира. Наблюдается калькирование (семантическое и синтаксическое): *Мы сделали это! Вам повезло стать нашим клиентом! Салон «Счастливая свадьба»* (в лексическом значении слова «свадьба» уже заложена сема «счастье»); *агрессивный* лук (от англ. look – образ), *агрессивный дизайн* (= вызывающий, дерзкий); более частотное, чем в русском языке, использование местоимения «свой»; конструкции с приложением (*кофе-брейк, шопинг-комплимент*) и т. п. Глобальный английский не только изменяет лексический состав и коммуникативные нормы русского языка, но, задавая идеологический вектор концептуализации процессов и явлений, становится катализатором культурных и ценностных трансформаций, происходит переидентификация населения. Вместе с чужими словами навязывается чужой взгляд на мир. Например, происходит вытеснение продуктивных ранее безличных или неопределенно-личных конструкций императивными моделями: *Выиграй машину! Получи приз! Звони! Узнай больше! Возьми два! Получи бесплатно! Управляй мечтой!*

Лингвоаксиологический анализ городской эпиграфики показал, что происходят глобальные сдвиги в системе ценностей. Утрата культурной памяти, кризис национального самосознания, агрессивность информационного поля повседневной коммуникации и другие многообразные деструктивные процессы в обществе обуславливают актуальность аксиологических исследований. Лингвоаксиологический подход не только позволяет выявить духовно-нравственное состояние социума, но и является важнейшей формой общественного самопознания. Лингвоаксиологический анализ городской эпиграфики, в частности вывесок, репрезентирует динамику ценностных ориентиров, моделей поведения и ментальных стереотипов. Любому объекту придаются характеристики товарности, торговля и ее атрибуты становятся объектами душевной привязанности, свойственной ранее только человеческим отношениям. Например: *Наш новый фреш – любовь в каждой капле! Ваш родной и любимый ресторан; Самый нежный и ласковый* (об устройстве для депиляции). Следует констатировать и «доминирование технократического и прагматично-потребительского мироотношения», проявление «синдрома отставания духовного развития человечества от научно-технического

прогресса» [Серебренникова 2011: 13]. Отмечается общее изменение категоризации, определения реальности в связи с распространением логики рынка и идеологии потребления.

Разработка вопросов лингвоаксиологии имеет значение для выявления и объяснения специфики языковой картины мира и особенностей национального менталитета, предоставляет возможности для построения модели языковой личности, соотносится с организацией речевого и неречевого воздействия, связывается с достижением необходимого уровня коммуникативной компетенции. Особенности национального видения мира, менталитет народа наиболее ярко и четко эксплицируются в тексте – коммуникативной единице естественного языка. Изучение текстов вывесок как результата речемыслительной деятельности человека, относящегося к определенному социуму и, следовательно, выступающего в роли «культураносителя», дает возможность выявления доминант в той или иной культуре на конкретном этапе ее развития.

Система ценностей представляет собой духовную квинтэссенцию потребностей и интересов индивида и социума, формируя тем самым базис культуры. Количественное соотношение ценностей, демонстрируемых в малых письменных жанрах Владивостока: утилитарные – 30 %, антиценности – 27 %, индивидуалистические – 26 %, эстетические – 12 %, этические – 5 %.

Тексты, репрезентирующие **утилитарные ценности**, выявляют практическую (материальную) пользу товаров и услуг. Во-первых, такие названия наиболее эффективно выполняют рекламную функцию, непосредственно сообщая потребителю выгоду от приобретения товара или услуги. Во-вторых, подобные тексты вывесок демонстрируют специфику современного общества потребления, где первостепенное значение имеют практические характеристики предметов. В подобных наименованиях городских объектов актуализируются следующие качества товаров и услуг:

а) низкая стоимость (продовольственные магазины «Рублик», «Копеечка», «Дешевый», «Народный» и др.);

б) широкий ассортимент полезных товаров (магазины промышленных товаров «Нужно все!», «Все... до лампочки!», «От А до Я» и др.);

в) вкусовые качества товаров (сети киосков быстрого питания «Объешка», «Вкусняшка», «Вкуснятич» и т. п.);

г) внешние качества товаров и положительное влияние на внешность потребителя этих товаров и услуг (магазины одежды «Красотка», «Модная штучка», «Стиляга»; фитнес-салон «Стройняшка»; салон красоты «Глянец»);

д) высокая материальная ценность товаров, предназначенных для «избранных» (ювелирные магазины *«Золотая россыпь»*, *«Бриллиантовая диадема»*; магазины одежды *«Люкс Класс»*, *«Селебрити»*, *Status*; салон красоты *«Богема»*, строительная компания *«Царский дом»* и т. п.);

е) высокое качество товаров, профессионализм предоставления услуг (монтажное агентство *«Компания Профессионалов»*, автомастерская *«Авто Профи»*, мастерские *«Золотые руки»*, *«Мастер на все руки»* и др.).

Эпиграфика Владивостока демонстрирует ориентацию современного общества на **индивидуалистический тип культуры**, что подтверждается значительным количеством в городских текстах слов с семантикой уникальности, исключительности, неповторимости и т. п. Тексты вывесок удовлетворяют такую потребность современных людей, как желание проявить свою неповторимость и индивидуальность, обозначить границы «своего мира», что выражается в употреблении местоимений *я*, *мой*. Подобное явление наблюдаем в следующих текстах: *«Унимарт. Мой мир покупок»*, магазин молодежной одежды *«Моя территория»*, аптека *«Моя аптека»*, магазин бытовых товаров *«Мой дом»*, салон-парикмахерская *«Я»*, салон красоты *«Я самая»*, магазин одежды для будущих мам *«Я мама»*, магазин товаров для детей *«Мой ребенок»* и другие. Частотны прилагательные со значением индивидуальности и исключительности: салоны красоты *«Несравненная»*, *«Редкая птица»*; магазины женской одежды *«Неповторимая»*, *«Одна на миллион»*, мебельный магазин *«На зависть соседу»* и другие. Русская культура традиционно считается коллективистской. Однако городская эпиграфика показывает, что происходит переоценка ценностей в связи с ориентацией на индивидуалистическую культуру Запада.

Реклама, отражающая **эстетические ценности**, апеллирует к понятию прекрасного во всех проявлениях. Значительное количество текстов этой группы тематически связано с искусством. Например: салон итальянских кухонь *«Антонио Страдивари»*; клуб красоты *«Моне»*, салоны красоты *«Ренессанс»*, *«Офелия»*; парикмахерские *«Кармен»*, *«Сонет»*; салон штор *«Лунная соната»*; ночной клуб *«Сальвадоре»*. Эстетические ценности реализованы в названиях салонов красоты, магазинов одежды, мебели и других товаров. Репрезентируются такие качества, как статусность и престижность предлагаемых товаров и услуг, что обусловлено стремлением номинаторов повысить социальный статус потребителей.

Немногочисленную группу составляют малые письменные жанры, отражающие **этические ценности**: продовольственные магазины «Добрый», «Моя семья»; «Семейная аптека»; гостиница «Доверие»; торговый центр «Родина»; парикмахерская *Dobro*. Малое количество подобных текстов свидетельствует о том, что презентация этических ценностей в текстах вывесок неэффективна с точки зрения выполнения волонтеративной функции. Массовое сознание потребителей ориентировано не на внутренние, духовные запросы личности, а на внешние факторы.

В коммуникативном пространстве современного города наблюдается значительное количество рекламных текстов, репрезентирующих **антиценности** (циничный прагматизм, культ материальных благ, социальная вседозволенность, сексуальная распущенность, крах традиционных семейных устоев, безразличие, индивидуализм и т. д.) и **псевдоценности** (искусственные шаблоны успешности, стремление к чувственным удовольствиям и новым впечатлениям), ведущие к дисгармонии человеческого бытия и регрессу духовности участников коммуникации. Например, магазины детской одежды «Нахаленок», «Маленькие бандиты»; магазин женской одежды «Искусительница», «Светская львица»; салон женского нижнего белья «Распутница»; салоны красоты «Искушение», «Эгоистка»; салон свадебной моды «Любовь-Морковь»; магазины мужской одежды «Эгоист», «Альфонс», «Ловелас»; бар «Пятница» (языковая игра на основе контаминации лексем «пятница» + «пьяница»), кафе-бар «Флирт (ниже надпись) «Легкие отношения начинаются здесь»; игровой клуб «Сам за себя», автоклуб «Короли дороги» и другие. Подобные тексты нарушают этические нормы, так как обесценивают такие феномены первостепенной важности, как любовь, семья, женская непорочность, мужское благородство и т. д. Такие тексты культивируют циничное отношение к жизни и фундаментальным человеческим ценностям, то есть являются определенной угрозой национальной безопасности.

С позиций **лингвоидеологического анализа** основной речевой стратегией создания текстов современной городской эпиграфики является **стратегия дискредитации традиционных национальных и духовных ценностей**, а также **стратегия подмены понятий и оценок**, например распространение конструкций, отражающих удовольствие от процессов физического восприятия чего-либо, в частности использование лексики из тематической группы «Еда» в сферах, которые традиционно соотносятся с духовной жизнью:

реклама гостиницы *«Попробуй любовь на вкус»*; реклама туристического агентства *«Попробуй Корею на вкус»*; *«вкусный цвет»* (частотно в рекламных текстах об одежде, предметах интерьера и т. п.).

Возрождение карнавальной стихии, вакханализация языка обуславливает необходимость лингвоэкологического анализа текстов городской среды. Нарушением лингвоэкологического благополучия считаем следующие примеры малых письменных жанров, основанных на неудачной языковой игре:

1) тексты, созвучные инвективе (реклама кафе быстрого питания *«Окурительный бургер»*; объявление на автобусной остановке *«Устал вJOBывать за копейки? Достойная оплата труда»* (англ. *job* – работа); реклама магазина одежды *«и вдруг, ГЛЯДЬ, такая куртка!»*; магазин женской одежды *«Девушки ХЛюшки»*; реклама риелторского агентства *«Ох, уютные квартиры!»*);

2) шрифтовыведение, создающее инвективы (*«НЕХочешь ИСКАТЬ ДЕШЕВЛЕ...»*; реклама ресторана *«Я ХУдЕЮ!»*; реклама агентства финансовых микрозаймов *«ХУдЕЕТЕ БЕЗ ДЕНЕГ? ИДИТЕ К НАМ!»*);

3) омонимия грубой жаргонной или инвективной лексики (реклама на станции технического обслуживания автомобилей *«ОТСОСУ у вашего автомобиля масло БЕСПЛАТНО»*; реклама пылесоса сети магазинов *«Эльдорадо» «Сосу за копейки»*; реклама строительной фирмы (дома из бруса) *«Всем сосну!»*; реклама интернет-провайдера *«Я дала своему соседу бесплатно»*; реклама ресторана *«Все ПО... ПОесть, ПОпить, ПОговорить»*; реклама тепловой техники *«Мы вас нагреем»*);

4) многозначность слов, создающая аллюзию к явлениям, которые не принято обсуждать публично (реклама сети фитнес-клубов World Class *«Подтягиваем мужские достоинства»*; агентство финансовых микрозаймов *«У нас самые приятные месячные»*; реклама кафе *«У нас самые сладкие пирожки!»* (на фото изображены почти обнаженные девушки, держащие пирожки в области бедер); реклама завода по производству бетона *«С нами стоять будет долго!»*; реклама плиточного клея *«Надежное сцепление»* (фото обнимающихся обнаженных мужчин и женщин); реклама интернет-провайдера *«Давай по-быстрому, без обязательств!»*). Приходится констатировать некую престижность «языка низа». Игра с языком превращается в его деструкцию.

Закключение. Проявлением речевой агрессии в коммуникативном пространстве города считаем следующие факты: а) тексты,

написанные полностью или почти полностью на иностранном языке без перевода на русский; б) инвективизация и вульгаризация малых письменных жанров; в) засилье печатной рекламы на городских улицах; г) увеличение лексических единиц разных типов с «агрессивной» семантикой: *Не парь мозги! Порви жару; агрессивный дизайн; агрессивный лук; Жги!; Мы порвем их! Разрушительная вечеринка; Разгромный тусич; Убойные цены* и т. д. Подобные рекламные тексты требуют интерпретации в аспекте языковой политики и юрислингвистики.

Безусловно, это далеко не полный список лингвистического неблагополучия современного города, языковых угроз национальной безопасности значительно больше. Это лишь вершина айсберга, первое приближение к указанной проблематике не может претендовать на полноту охвата. Однако даже перечисленные факты свидетельствуют об угрозе языкового геноцида. Чтобы противостоять деструктивным воздействиям на язык, а через него на весь Русский мир в целом, необходимо признание русского языка общенациональной ценностью не только «на бумаге», но и в сфере бытового использования, например в рекламных текстах. «Для спасения русской нации, для поддержания и усиления престижа Российского государства необходима опора на интегрирующую, системообразующую функцию русского языка в масштабе страны и всего межконтинентального русскоязычного Русского мира. Русский язык в этом громадном пространстве служит духовной скрепой; формирует относительно общий взгляд на мир, реализуя миросозидающую функцию; укрепляет информационную безопасность; упрочивает международные позиции России; питает и сохраняет лингвокультурологические основы Русского мира» [Лингвистика... 2017: 161].

Дискуссия о том, что есть современная культурно-языковая полифония – «поле битв» или «плавильный котел», – бесконечна. Самое главное, чтобы эта полифония не привела к краху великого целостного историко-культурно-языкового образования – Государства Российского.

3.7. Этностереотип на службе вооруженных сил США в контексте информационно-психологической войны

Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.

В. Шефнер. 1956

Современный мир характеризуется эскалацией дезинтеграционных процессов, в основе которых лежит конфликт политических, экономических, идеологических и иных интересов субъектов международного права. Проведение Российской Федерацией независимой политики (как внутренней, так и внешней) вызывает противодействие со стороны западных держав, стремящихся к сохранению доминирующего положения на шахматной доске глобальной мировой политики. Реализуемая западными оппонентами стратегия сдерживания России предусматривает оказание на нее политического, экономического, военного и информационного давления. Одним из вызовов национальной безопасности Российской Федерации выступает информационная агрессия. Деструктивное воздействие направлено на эрозию традиционных духовно-нравственных ценностей, искажение исторического прошлого, манипуляцию массовым сознанием россиян через медийные каналы коммуникации и «субпродукты» массового интеллектуального потребления (произведения киноиндустрии и индустрии медиаразвлечений, поп-культуры, современного псевдоискусства и т. д.).

Коммуникативное пространство субъектов международных правоотношений становится полем противостояния концептуальных картин мира, моделей социального устройства, мировоззрений, систем аксиологических ориентаций различных этнокультурных ареалов. Именно символический капитал культуры, представляющий собой сгусток коллективной памяти, культурных символов, квинтэссенций одобряемого и порицаемого общественной моралью, подвержен наибольшему влиянию информационно-психологической войны. По своей природе информационно-психологическое противоборство амбивалентно. С одной стороны, информационная война направлена на планомерное уничтожение идеологического оппонента путем реализации коммуникативной стратегии

дегуманизации. С другой стороны, ИПВ имеет целью формирование положительного поля смыслов, ассоциируемых с субъектом информационной агрессии.

В рамках настоящей главы освещается такой аспект информационно-психологического противостояния, как медийно опосредованное социальное моделирование положительного имиджа субъекта информационной агрессии через актуализацию этностереотипов массового сознания. Предметную область исследования составляют стереотипизированные репрезентации вооруженных сил США (далее – ВС США) и референтного облика американского военнослужащего, запечатленные в метафорических моделях военно-политического дискурса США.

В качестве рабочего определения информационно-психологической войны мы воспользуемся дефиницией, сформулированной А.П. Сковородниковым и Г.А. Копниной. Под информационной войной понимается «противоборство сторон, возникающее из-за конфликта интересов и идеологий и осуществляемое путем целенаправленного информационного воздействия друг на друга с использованием специальных технологий для получения определенного преимущества в материальной и/или идеологической сфере и защиты собственной информационной безопасности» [Сковородников, Копнина 2016а: 42].

Информационно-психологическое противоборство осуществляется «путем намеренного, прежде всего речевого, воздействия на сознание противника (народа, коллектива или отдельной личности) для его когнитивного подавления и/или подчинения» [Там же: 43].

Неизменными слагаемыми информационно-идеологического антагонизма выступают моделирование образа внешнего врага и его дегуманизация, непрерывная «информационная подпитка» положительного имиджа субъекта информационного воздействия, завоевание и установление гегемонии над информационным пространством противника. Достижение означенных целей осуществляется через апелляцию к рациональной (персуазивное воздействие) и эмоциональной (суггестивное воздействие) сферам человеческого сознания.

По мнению С.В. Ивановой, коммуникативной целью ИПВ ставится деморализация идеологического оппонента за счет формирования вокруг него «неизменно отрицательного поля смыслов и ассоциаций», низведения противника «до уровня воплощенного зла» [Иванова 2016: 28]. Эффект демонизации состоит в формировании негативного образа оппонирующей стороны, наделении ее

характеристиками, выходящими за рамки системы аксиологических ориентаций, разделяемых цивилизованным мировым сообществом.

Информационно-психологическое противоборство содержит не только деструктивный потенциал, но и предполагает обеспечение информационной безопасности за счет формирования положительного «Я-образа» субъекта информационной агрессии. Как отмечает В.Г. Крысько, «в предвоенный период правительство любой страны через средства массовой информации стремится сформировать у своего народа (особенно среди военнослужащих) патриотические взгляды и убеждения, обеспечить в массовом сознании приоритет целей государственной политики. В то же время вероятный противник старается внедрить в сознание населения и военнослужащих этого государства выгодные только ему, противоположные по направленности идеи и настроения» [Крысько 2008: 6]. Имидж субъекта ИПВ представляет собой многогранное понятие. Важным аспектом в формировании позитивной идентичности субъекта ИПВ выступает поддержание высокого социального статуса института вооруженного насилия.

Одним из способов формирования позитивного отношения масс к вооруженным силам является актуализация в коллективном сознании социальных стереотипов. Иными словами, социально-психологический феномен стереотипизации может быть осмыслен как инструмент ИПВ, предназначенный для поддержания психоиммунной системы коллективного сознания. Социальные стереотипы, положительно репрезентирующие ВС США и американских военных, служат не только средством сохранения положительной групповой идентичности, но мыслятся как мощное оружие в условиях глобального информационного противостояния.

В рамках настоящего исследования нас интересует собственно армейский языковой коллектив США и его самобытные лингвокультурные артефакты, воплощенные в «речевом паспорте» *GI*. Этимологические корни номинации *GI*, применяемой к американским военнослужащим, восходят к событиям Второй мировой войны. Впервые словоупотребление упомянутой аббревиатуры, образованной от *government issue* (досл. – казенный образец; военное имущество), было зафиксировано в 1943 году. По всей вероятности, наименование *GI* произошло от шуточного суждения о том, что сами военные являются продуктом жизнедеятельности государства [Dickson 2003: 163–164].

Военный социум понимается нами как устойчивое социальное образование, характеризующееся единством правовых основ регламентации профессиональной деятельности, общественно значимых

социальных функций, культурно-исторического наследия, менталитета, идиома и аксиологических ориентаций, условий жизненного уклада. Военный социум объединяет предшествующие, нынешние и грядущие поколения военнослужащих, членов их семей, гражданских служащих вооруженных сил.

Под армейской субкультурой, с нашей точки зрения, понимается наделенная функцией вооруженной борьбы относительно автономная нормативно-семиотическая социокультурная среда в составе военного социума. Сказанное позволяет заключить, что армейская субкультура представлена исключительно военнослужащими, состоящими на действительной военной службе, резервистами и отставными военными.

Культурное наследие всякой социальной общности обнаруживает резистентность к темпорально обусловленной аксиологической энтропии лишь при условии преемственности накопленного социально-исторического опыта. Нормальное развитие социума немислимо без трансляции культурных ценностей, так называемого инвентаря культуры, передаваемого следующим поколениям через традицию [Уфимцева 2002: 153].

Под национальными, или этническими, стереотипами, согласно В. Г. Крысько, понимаются относительно устойчивые, упрощенные, эмоционально-оценочные суждения о системе этнокультурных особенностей того или иного народа, о типичных интеллектуальных, моральных, физических и духовных качествах и свойствах, характеризующих данный этнос [Крысько 2008: 71].

Языковые средства и речевые формы экспликации этнических стереотипов составляют значительную часть мозаики армейского идиома и позволяют запечатлеть транслируемые в пространственно-временном континууме аксиологические доминанты армейской субкультуры, составляющие ядро этоса американского военнослужащего; основополагающие принципы взаимоотношений между членами воинского коллектива, передаваемые от поколения к поколению социальные образцы общежития американских военных; реалии армейской (военной) субкультуры; особенности речевого портрета собирательного образа американского военнослужащего.

Опираясь на идеи Л. П. Крысина [Крысин 2002], мы приходим к умозаключению о том, что к языковым средствам и речевым формам экспликации этностереотипов армейской субкультуры США с достаточным основанием могут быть отнесены такие самобытные лингвокультурные артефакты казарменной стихии *GI*, как

лексические единицы профессионального жаргона и арго, фразеологизмы, армейские клише, вербовочные слоганы, официальные и неофициальные девизы воинских формирований, застольные благопожелания (тосты), анекдоты и строевые речевки. Апеллирующие к метафорическим образам и культурным символам американские массмедиа, кинематограф и реклама выступают весьма продуктивными источниками порождения и распространения стереотипов об американской армии. Формированию и закреплению социальных стереотипов массового сознания в значительной мере способствуют текстовые произведения официоза (воинские уставы и наставления, кодексы чести военнослужащих и т. д.), тексты военно-политического и интернет-дискурсов, профессиональная символика.

С опорой на теорию метафорического моделирования и дескрипторную теорию метафоры нами предпринимается попытка осмысления метафорических моделей военно-политического дискурса, посвященного вооруженным силам США. Под метафорической моделью, по А. П. Чудинову, понимается бытующая и/или формирующаяся в сознании носителей языка схема связи между понятийными сферами: сферой-источником (сферой метафорической экспансии) и сферой-магнитом (сферой метафорического притяжения) [Чудинов 2001: 69–70]. Участвующий в формировании метафорического значения образ не является обособленным и единичным. Метафорические отождествления семантически коррелируют с другими образами и в совокупности образуют метафорическую модель, определяющую стереотипы ментального восприятия окружающей действительности [Попова 2003: 4].

Целью проводимого нами анализа ставится фиксация и описание наиболее распространенных метафорических образов ВС США, циркулирующих в массмедийном пространстве американской лингвокультурной общности. В фокусе нашего внимания находится печатное слово американских СМИ, способствующих кристаллизации и закреплению в коллективном сознании обывателя положительных социальных стереотипов об американской армии и ее военнослужащих. Текстовые произведения американских массмедиа исследуются в языковом, персуазивном (с использованием денотативных семантических параллелей) и суггестивном аспектах (основанных на коннотациях метафорических образов).

Анализ метафорических стереотипизированных образов социального института вооруженных сил США проводится на материале аутентичных англоязычных текстов американской периодики.

Эмпирическую базу исследования, проводимого в синхроническом ракурсе, составили печатные и онлайн-версии авторитетных американских изданий: *USA Today* (тираж 2 301 917 экз.), *The New York Times* (тираж 2 101 611 экз.), *The Wall Street Journal* (тираж 1 337 376 экз.), *New York Post* (тираж 424 721 экз.), *Chicago Tribune* (тираж 384 962 экз.), *The Washington Post* (тираж 356 768 экз.). Совокупный корпус проанализированного материала представлен преимущественно статьями американских изданий за 2017–2018 годы.

Внедрению в общественное сознание положительных репрезентаций вооруженных сил США способствует тактика положительного дефинирования. Упомянутая тактика реализуется через синтаксическую модель «X – это Y», где X – ВС США или собирательный образ американского военнослужащего, а Y – определяющая лексема или словосочетание, индуцирующая у реципиента стереотипы заданной перцептивной модальности. В соответствии с метафорической градацией, предложенной А. П. Чудиновым, в политическом дискурсе широко представлены: **антропоморфная метафора** (включает концепты таких понятийных сфер, как «Анатомия», «Физиология», «Болезнь», «Секс», «Семья» и т. п.); **природоморфная метафора** (образована совокупностью понятийных сфер «Мир животных», «Мир растений», «Мир неживой природы»); **социоморфная метафора** (метафорическая экспансия осуществляется за счет таких сфер-источников, как «Преступность», «Война», «Театр (зрелищные искусства)», «Экономика», «Игра и спорт»); **артефактная метафора** (к данному разряду отнесены следующие понятийные сферы: «Механизм», «Дом (здание)», «Мир компьютеров», «Инструмент», «Домашняя утварь» и др.). Названные разряды метафор можно схематично представить следующим образом: «Человек как центр мироздания», «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и результаты его труда».

Для систематизации метафорических моделей за основу взята сфера метафорического притяжения (сфера-магнит). В ходе исследования языковой стереотипизации армейской субкультуры США в американском военно-политическом дискурсе были проанализированы следующие стереотипогенные метафорические модели:

1. “U.S. ARMED FORCES is FAMILY” – «ВС США – это СЕМЬЯ». Названная модель образована фреймами:

• Фрейм 1. **“U.S. Armed Forces is Nucleus”** – «ВС США – это единое целое» (фрейм включает следующие слоты: слот А. *“Spiritual Bond”* – «Духовная связь», слот В. *“Physical and Emotional Bond”* – «Эмоционально-физическая связь»).

• Фрейм 2. *“U.S. Armed Forces is Blood Proximity”* – «ВС США – это кровное родство» (фрейм представлен слотами: слот А. *“Brotherhood / Fraternity”* – «Братство», слот В. *“Caste”* – «Каста»).

2. *“MILITARY SERVICE is WAY / ROAD”* – «ВОЕННАЯ СЛУЖБА – это ПУТЬ / ДОРОГА». Модель включает в себя следующие фреймы:

• Фрейм 1. *“Military Service is Harm’s Way / Deadly Risk”* – «Военная служба – опасность / смертельный риск» (фрейм вбирает в себя следующие слоты: слот А. *“GI is Victim”* – «Американский солдат – это жертва», слот В. *“GI is Evil Fighter”* – «Американский солдат – это борец со злом»).

• Фрейм 2. *“Military Service is Road of Glory and Honor”* – «Военная служба – дорога чести и славы» (фрейм представлен совокупностью слотов: слот А. *“GI is Hero”* – «Американский солдат – это герой», слот В. *“GI is Peacekeeper”* – «Американский солдат – это миротворец», слот С. *“GI is Guardian”* – «Американский солдат – это страж», слот D. *“GI is Athlete”* – «Американский солдат – это спортсмен», слот Е. *“GI is Player”* – «Американский солдат – это игрок», слот F. *“GI is Hunter / Predator”* – «Американский солдат – это охотник / хищник», слот G. *“GI is Doctor”* – «Американский солдат – это врач»).

1. Метафорическая модель *“U.S. ARMED FORCES is FAMILY”*

В основе анализируемой социоморфной метафорической модели находится концептосфера «Семья». Через посредство СМИ в автохтонном языковом сознании носителей американской лингвокультуры культивируется стереотип о том, что вооруженные силы США представляют собой не просто один из социальных институтов государственного волеизъявления с позиции силы. В военно-политическом дискурсе армия представлена как самобытная социокультурная общность, сплоченная духовными узами, историческим прошлым, чувством сопричастности к судьбам Отчизны, системой аксиологических координат, родственными отношениями, особым вербальным индикатором кастовой принадлежности – армейским идиомом. В коммуникативном пространстве американских массмедиа вооруженные силы нередко метафорически изображаются в образе семьи. Эксплицитный посыл семейного родства американских военнослужащих прослеживается на примере таких единиц армейского социолекта и лексико-фразеологического массива, как *pop (papa/dad)* – командир воинской части, *bro* – брат (сленгизм характеризуется

гендерной инклюзивностью и может быть адресован как мужчинам, так и женщинам-военнослужащим), *soul mate* – родственная душа, брат по разуму; *brotherhood/fraternity* – братство, *brothers and sisters in arms* – братья и сестры по оружию, *as one man / all to the last man / all is one and one is none / there's safety in numbers* – один за всех и все за одного, один в поле не воин, сила в единстве; *shoulder to shoulder* – плечом к плечу и др.

• Фрейм 1. “*U.S. Armed Forces is Nucleus*”

В контексте рассматриваемого метафорического образа воинский коллектив концептуализирован как целостная ядерная структура. С позиции американских СМИ, вооруженные силы США – это монолит профессионалов-единомышленников, сплоченных общей ментальностью, духом товарищества и взаимовыручки, неизбежностью высоких идеалов защитника Отечества, общими повседневными бытовыми условиями профессиональной деятельности. Стабильность культурного ядра военного социума обеспечивается взаимопроникновением двух центростремительных сил: духовным единением и эмоционально-физической связью *GI*.

Слот А. “*Spiritual Bond*”

В основе духовности социально-профессиональной среды военнослужащих лежит идея сакрализации межличностных взаимоотношений воинского братства. Сказанное может быть подкреплено устойчивыми речевыми формулами армейского идиома – девизами родов войск и видов вооруженных сил США. В качестве иллюстративного материала приведем следующие девизы боевых соединений регулярных СВ (дивизии, отдельные бригады, полки), эксплицирующие систему ценностных ориентаций *GI*. “*Duty, Honour, Country*” – «Долг, честь, отечество» (U. S. Military Academy at West Point), “*All the Way!*” – «От начала и до конца!» (82nd Airborne Division), “*Rendezvous with Destiny*” (“*Ne desit Virtus*”) – «Рандеву с судьбой» (101st Airborne Division), “*Climb to Glory*” – «Восхождение к славе» (10th Mountain Division), “*If not US, Who? If not Now, When?*” – «Если не мы, то кто? Если не сейчас, то когда?» (173rd Airborne Brigade), “*Iron soldiers!*” – «Железные воины!» (1st Armored Division), “*No Mission Too Difficult, No Sacrifice Too Great – Mission First!*” – «Не бывает невыполнимых задач, не бывает слишком больших жертв, боевая задача превыше всего!», “*Duty First, First to Fight*” – «Долг превыше всего, первыми в бой» (1st Infantry Division), “*Steadfast and Loyal*” – «Непреклонные и верные» (4th Infantry Division), “*Ready to Strike, Anytime, Anywhere*” – «К бою

готовы в любое время и в любом месте» (2nd Cavalry Regiment), “*Facta Non Verba*” (“*Deeds, not Words*”) – «Не словом, но делом» (143rd Field Artillery Regiment), “*Hell on Wheels*” – «Преисподняя на колесах» (2nd Armored Division), “*Leadership and Integrity*” – «Лидерство и сплоченность» (4th US Army), “*De oppresso liber*” (“*To free the oppressed*”) – «Освободить угнетенных» (U. S. Army Special Forces). Семантическое ядро приводимых девизов родов войск и видов вооруженных сил США пропитано духом самоотречения и жертвенности американского солдата во имя всеобщего национального процветания.

Армейская субкультура характеризуется профессионально обусловленными картиной мира, символическим языком, системой морально-нравственных императивов. Согласно боевому уставу ВС США *the Warrior Ethos and Soldier Combat Skills*, «воинская культура осмысливается как совокупность значимых суждений и ценностей. <...> Этический кодекс *GI* призван объединить сегодняшних американских военнослужащих с теми, кто отдал свои жизни во имя процветания США. Личное мужество, преданность братьям по оружию, верность долгу выступают отличительными признаками концепции воинства» [FM 21–75 2008]. Обратимся к иллюстративному материалу американских СМИ.

The adjutant general said “not taking this oath solemnly and with the utmost respect is firmly against the traditions and sanctity of our military family and will not be tolerated” (Nypost.com 2018). В сознании военного человека церемония принятия воинской присяги – сакральный ритуал, и любое проявление неуважения к традициям воинства есть святотатство. Императив почитания устоев благочестивой военной семьи наталкивает нас на религиозную составляющую анализируемой социоморфной метафоры с исходной понятийной сферой «Религия». Широкое употребление кванторных лексем (*we, our, together, each other*) служит цели усиления эмотивного воздействия на целевую аудиторию, а также подчеркивает семы общности и единения военнослужащих. Ср.:

In Congress as on television, generals are treated with awed respect, service members spoken of as if they were saints. <...> The greater the sacrifice that has fallen on one small group of people, the more we have gone from supporting our troops to putting them on a pedestal... (Deresiewicz 2011).

...Violating the rules of patriotic correctness is a far worse sin in the eyes of the American public than sending soldiers to die uselessly... (Klay 2018).

Мистическая алхимия братских уз ассоциируется с понятием сплоченности воинского коллектива, который закаляется в бою. В основе особого духовного родства военнослужащих лежит боевое крещение. *Baptism of fire* – первый опыт преодоления тяжелого в моральном или физическом отношении испытания. Идиома акцентирует внимание адресата на идее о том, что военная служба неизменно связана с риском для жизни, тяготами и преодолением трудностей.

Социально-психологической основой физической и эмоциональной близости членов воинского коллектива выступают основанная на чувстве коллективизма совместная профессиональная деятельность и необходимость постоянной координации усилий. Армейский языковой коллектив формируется в рамках организационной структуры подразделений с их системой управления, вооружения, распределения обязанностей, образа жизни, быта и отдыха. Приводимые рассуждения в полной мере отражены в емком армейском слогане: *The Army is one team and each of us has something to contribute* – *Вооруженные силы – единый коллектив, в который каждый из нас способен внести свою лепту*. Подкрепим сказанное иллюстративным материалом:

*In the Army we are taught that we are all **one team**...; Burnell believes that **teamwork** is another big part of the benefit that veterans bring to the table* (Bradbury 2018).

*We lived together, ate together and looked out for each other. They treated me like a soldier alongside them, and we were all **one unit**. I still have a very strong relationship with them* (Darweesh 2017).

Словосочетания *to be one team / unit, to carry out teamwork, to have strong relationship* и др. эксплицируют семы общности и коллективного духа, присущие собратьям по оружию. В рассматриваемых примерах подчеркивается идея сплоченности воинского коллектива как неразрывного единства американских военнослужащих, представляющих различные уровни иерархической системы ВС США.

Жизнедеятельность всякой социальной общности ограничивается рамками определенных табу: религиозных, морально-нравственных, поведенческих и др. Нарушение запрета свидетельствует о девиантном поведении члена коллектива или группы лиц и провоцирует ответную реакцию социума. Эгоизм как проявление неуважения к воинским канонам совместного общежития подвергается осуждению. В случае нарушения уставных или неформальных норм, регламентирующих профессиональную деятельность военнослужащих, следуют санкции. Последние могут варьировать

от дисциплинарных мер воздействия до полного ostracism «нарушителя». В качестве иллюстрации приведем изречение *come in from the cold / come in out of the cold* – *пройти социальную адаптацию, быть принятым в воинский коллектив*. Каждая национальная культура содержит разнообразные способы инвективно-эмоционального воздействия на оппонента коммуникации, «от язвительных замечаний в его адрес до вульгарных поношений» [Жельвис 1988: 98]. Так, например, инвективный оборот *semper I fuck the other guy* – *думать исключительно о себе любимом* содержит аллюзию, восходящую к официальному девизу морской пехоты США *Semper Fidelis (Always Faithful)* – *Всегда верны*. Приведенная инвектива отражает крайне негативное отношение военнослужащих к проявлениям эгоцентризма. Устойчивые речевые формулы армейского социолекта *fuck you Jack, I am ok* и *to be an only apple in the orchard* имеют аналогичную семантику.

- Фрейм 2. “*U. S. Armed Forces Blood Proximity*”
Слот А. “*Brotherhood / Fraternity*”

В рамках рассматриваемого метафорического образа вооруженные силы отождествлены с большой семьей, объединенной узами кровного родства, экзистенциальной сущности, историко-культурного наследия. Метафора кровного родства апеллирует не только к родственным связям *GI*, но и служит напоминанием о крови, пролитой американскими солдатами на полях сражений. Под мудрым началом отцов-командиров прежде гетерогенное воинское подразделение постепенно складывается в дружный коллектив братьев и сестер по оружию. Ср., например, такие единицы армейского социолекта, как *Dear Pop* – рапорт на имя командира части (шутливо измененное официальное обращение *Dear Sir*), *Vater (father)* – командир воинского подразделения, *Vati (Daddy / Pops)* – снискавший уважение сослуживцев военнослужащий, *sea daddy* – выступающий в роли наставника ветеран морской пехоты, обучающий новобранца; *Uncle Sam* – правительство США, *Uncle Sam's boys* – американские военнослужащие. В профанном сознании американской аудитории образ семьи репрезентирован в таких концептах, как *military family, brotherhood, fraternity, brothers in arms, band of brothers*. Ср.:

“*I'm so sorry for your loss,*” *Alaina Fitzner, an Air Force wife, whispered to her. “We're all behind you. You're part of our military family, and we love you”* (Jaffe, Gibbons-Neff 2015).

Слот В. “Caste”

Как известно, под понятием «каста» понимается строго обособленная группа людей, связанных происхождением, родом профессиональной деятельности, правовым статусом и т. д. В переносном значении под кастой принято понимать замкнутую общественную (сословную или профессиональную) группу, доступ в которую посторонним затруднителен или невозможен. Ср.:

*Here are the makings of a self-perpetuating **military caste**, sharply segregated from the larger society... (Eikenberry, Kennedy 2013); I'm a citizen responsible for participating in self-governance, not because I belonged to a warrior caste (Klay 2018).*

Таким образом, выступающая сферой метафорической экспансии концептуальная область «Семья» представляет собой весьма продуктивный источник формирования и закрепления социальных стереотипов обыденного сознания. Через посредство американских СМИ институт вооруженной борьбы представлен в качестве основной социальной ячейки, объединенной узами родства и ценностями фамилизма. Одной из сущностных аксиологических доминант социально-профессиональной среды военнослужащих выступает моральный принцип взаимопомощи. Упомянутый нравственный императив находит выражение в армейском клише *a good soldier never leaves a man behind, defines brotherhood among their own kind* – хороший солдат никогда не бросит товарища в беде и всегда помнит о своей принадлежности к воинскому братству.

2. Метафорическая модель

“MILITARY SERVICE is WAY / ROAD”

В основе рассматриваемой артефактной метафорической модели лежит образ пути, олицетворяющий военную службу. Путь воина многотруден, исполнен не только доблестных побед и почестей, но и смертельной опасности. В качестве наглядной иллюстрации послужат следующие популярные в армейской среде клишированные речевые формулы: *To become a gold star in mom's window / to die with one's boots on* – погибнуть при исполнении воинского долга. В США существует наделенная символическим смыслом традиция украшать фасады домов звездами. Синяя звезда свидетельствует об участии члена семьи в боевых действиях, красная звезда говорит о полученном ранении, бронзовая – свидетельство кастовой принадлежности к семье ветерана или кадрового военного, золотая звезда символизирует гибель

военнослужащего. В коллективном сознании *GI* устойчивое выражение *if you can't stand the heat, get out of the kitchen* ассоциируется с тяжестью и опасностью воинского служения. Приводимая ФЭ транслирует стереотипное представление о том, что непременным атрибутом военной службы является риск. Иными словами, воинское служение – основанный на подлинном чувстве патриотизма, жертвенный, а потому славный путь. Пройти по этой дороге, пролегающей между бытием и небытием, жизнью и смертью, – удел избранных. Дорога, окропленная потом и кровью американского солдата, выступает тем образом, который лежит в основе анализируемой метафорической модели.

- Фрейм 1. “*Military Service is Harm’s Way / Deadly Risk*”
Слот А. “*GI is Victim*”

Представляется, что в основе воинского служения лежит античная философская концепция стоицизма, восходящая к принципу «упражнения в добродетели». С учетом того факта, что служба в армии сопряжена с опасностью, угрозой здоровью и самой жизни, философская категория «бытия», неразрывно связанная с диалектическим союзом жизни и смерти, обретет особую значимость. В экстремальных условиях боевых действий понимание собственной экзистенциальности изменяется, и вектор смысла смещается в сторону наджизненного, надбиологического существования [Романов 2013: 119]. В американском военно-политическом дискурсе метафорический образ воинского служения осмыслен в таких милитарных концептах, как *dignity, glory, honour, heroism, volunteer, greater cause, sacrifice, blood and sweat, harm’s way, death’s door, dirty job, last stand* и др. В основе жертвенности *GI* лежит идея добровольного самоотречения во имя высоких идеалов. Ср.:

The greater the sacrifice that has fallen on one small group of people, the members of the military and their families... (Deresiewicz 2011); “Our freedom has been earned through the blood and sweat and sacrifice of American heroes,” Trump said (Superville 2018).

В приводимых примерах отчетливо прослеживается концептуальная установка жертвенности воинского служения. Доблесть военного человека проявляется в его высоких моральных качествах, готовности добровольно положить свою жизнь на алтарь Отечества. Такие словосочетания, как *to place one’s life in harm’s way* – рисковать жизнью, *to put military members in harm’s way* – подвергать жизни военнослужащих опасности, *to be at death’s door* – находиться

на смертном одре, *to take a last stand* – принять последний бой и др. подкрепляют высказанную мысль о том, что во исполнение воинского долга американский военнослужащий ежечасно и ежеминутно находится на острие.

Слот В. “*GI is Evil Fighter*”

Одним из наиболее продуктивных метафорических образов, транслируемых американскими СМИ, выступает облик борца с силами зла. Праведный гнев *GI* обращен против демонических сил, олицетворением которых выступают не только международный терроризм, но и неугодные Вашингтону политические режимы, представляющие угрозу национальным интересам США. Как правило, в военно-политическом дискурсе прямое отождествление *GI* с воинами света отсутствует. Однако прагматика положительного дефинирования американских военнослужащих достигается за счет демонизации оппонировающей стороны. Огнем и мечом вооруженные силы США карают, наказывают, загоняют в могилу и стирают с лица земли последние очаги сопротивления террористов, сдерживают натиск варваров.

*The question going forward is whether this is another one-time attempt to **punish** Assad or if it presages a larger strategy to counter the attempt by **the Assad–Russia–Iran axis** to dominate the Middle East. <...> The extent of the **punitive action** wasn't clear as we went to press, though it appeared to be more extensive than the strike a year ago that attacked a single Syrian airfield. <...> To truly **deter barbarism** and protect U.S. interests, Mr. Trump will need a larger strategy than one military strike (WSJ 2018); Braga's men launched **punishing** airstrikes and artillery fire at the pro-regime fighters and Russian mercenaries (Engel, Werner 2018).*

В приведенных примерах американская военная мощь направлена на последовательную и бескомпромиссную борьбу с варварским режимом Асада. Не случаен и образ «оси зла». Первые историческая параллель между Ираном, Ираком и Северной Кореей и силами гитлеровской коалиции (ось Берлин – Рим – Токио) была проведена Дж. Бушем (младшим) после трагических событий 11 сентября 2001 года во время доклада президента США Конгрессу о положении дел в стране в 2002 году [Dickson 2003: 373]. На современном витке истории состав оппонировающих Вашингтону сил зла иной. Это в первую очередь Китай, Россия, Иран, Северная Корея.

● Фрейм 2. “*Military Service is Road of Glory and Honor*”

Слот А. “*GI is Hero*”

Одной из отличительных черт современного массмедийного пространства США выступает героизация собирательного образа американского военнослужащего. Социоморфная метафора с исходной понятийной областью «Война» широко тиражируется американскими СМИ. В американской прессе героическое повествование о миссии Пентагона настолько частотно, что у реципиента даже не возникает мысли о метафорической природе рассматриваемого образа. В действительности гибель военнослужащего, даже во исполнение воинского долга, отнюдь не всегда свидетельствует о его героизме. Названное понятие соотносится с самоотверженностью, самопожертвованием в критической обстановке, мужеством, способностью к совершению подвига. Однако независимо от реальных или приписываемых заслуг перед Отечеством и международной общественностью в языковом сознании рядового американца *GI* неизменно предстает в героическом свете. Обратимся к иллюстративному материалу:

...Lt. Gen. Stephen Townsend, the commander of U.S. forces battling the Islamic State group in Iraq, said the coalition “sends our deepest condolences to these **heroes’ families**, friends and teammates.” (Nbcnews.com 2017); *Members of the Helping Heroes of America Club...* (Chicagotribune.com 2018); “*When **heroes fall**, Americans grieve and our thoughts and prayers are with the families of these American heroes,*” Pence said (Kube, Mengli 2017).

Слот В. “*GI is Peacemaker*”

В рассматриваемых примерах референтный образ американского военнослужащего предстает перед читателем в амплуа миротворца. Тиражируемый американскими СМИ архетип *поборника мира* вербализован в таких словосочетаниях, как *to stabilize a country* – стабилизировать государство, *to help restore law and order* – оказать содействие в восстановлении правопорядка, *to force sb to negotiation table* – принуждать кого-либо к переговорному процессу, *to fight for freedom* – бороться за свободу, *to put sb on the defensive* – заставить кого-либо перейти к обороне, *to end ethnic cleansing* – положить конец этническим чисткам и т. д. Доминирующий прагматический вектор – убеждение реципиента в том, что США, явленные в облике *GI*, несут мир и стабильность.

Следует, однако, заметить, что так называемая «миротворческая миссия» американского солдата не ограничивается одним лишь

стремлением к окончанию боевых действий через переговорный процесс. Так, например, в тесном сотрудничестве с афганскими партнерами Пентагон отстаивает свободу Афганистана, освобождает иракскую землю от боевиков ИГИЛ, пристально следит за развитием ситуации в Северной Корее. Ср.:

...*The explosion happened during a critical moment in the war, when it was important for U.S. and Afghan forces to work in partnership to stabilize the country* (Witte 2017); ...*And how US forces have “crushed the enemy in the field” (or at least “put the Taliban on the defensive”) in “this fight for freedom in Afghanistan...* (Will 2018).

Рассмотрим также примеры, наглядно подкрепляющие стереотип о гуманитарной миссии американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.

I helped Americans protect Iraqis from al-Qaida terrorists, provide water and electricity, train local police and renovate utilities, roads, bridges, schools, libraries, clinics and hospitals (Darweesh 2017). Лейтмотивом анализируемого текстового фрагмента выступает героический нарратив, в котором американские военнослужащие прилагают все возможные усилия для борьбы с террористами «Аль-Каиды» и воскрешения мирной жизни в Ираке. *GI* восстанавливает работоспособность систем водоснабжения и электрификации, обучает местных полицейских, строит дороги, мосты, школы и т. д. И все это ради измученных террористическим гнетом иракских жителей. Персуазивный компонент приводимого фрагмента статьи подводит читателя к умозаключению о том, что *GI* – миротворец, защитник и архитектор нового миропорядка, а вовсе не поправший иракский суверенитет конкистадор.

Слот С. “*GI is Guardian*”

В американских СМИ собирательному образу *GI* неизменно приписываются такие положительные качества, как мужество, благородство, верность воинскому долгу, способность к самопожертвованию. Кодекс чести сухопутных войск США (далее также СВ США) *The Soldier’s Creed* вбирает в себя ряд ключевых ценностей армейской субкультуры, среди которых мы бы хотели выделить следующие: *I serve the people of the United States, and live the Army Values.* – Я служу народу Соединенных Штатов и живу в соответствии с системой ценностей СВ США; *I am a guardian of freedom and the American way of life.* – Я – хранитель свободы и американского образа жизни; *I am a warrior and a part of a team.* – Я – воин и часть воинского коллектива; *I will never leave a fallen comrade.* – Я никогда не оставлю

товарища на поле боя (Army.mil.URL: <http://www.army.mil/values/>). Официальным девизом СВ США выступает лаконичное *This we'll defend*. Дословный перевод изречения не дает ответа на вопрос о том, что же подразумевается под указательным местоимением *this*. В чем заключается имплицитный посыл девиза? Как отмечает Р. Одиерно, импликация девиза заключается в том, что военнослужащие призваны защищать свободу, независимость и американский образ жизни, выступающие ключевыми ценностными категориями американской нации [Odierno 2012]. На основе приведенного изречения в сознании реципиента выстраивается милитарная метафорическая модель *U.S. Soldier – Defender of Freedom and American Way of Life*. Именно поэтому официальный девиз СВ США подлежит переосмыслению: *This we'll defend – На страже свободы США* [Engel 2015].

В коммуникативном пространстве американских массмедиа *GI* – неутомимый *страж*, гарант национальной безопасности и свободы. Важным аспектом воинского служения выступают осознание коллективной ответственности за судьбы нации:

*A service member (or vet) is a visual reminder that the country works hard to protect itself – that there is someone **standing guard on that wall** (Bedell 2016); **Doing what you've been trained to do, and contributing to something greater than yourself...** (Ignatius 2018).*

Слот D. “*GI is Athlete*”

Метафорические образы рассматриваемого слота отнесены к разряду социоморфных с исходной понятийной сферой «Спорт». Американские военнослужащие метафорически отождествляются с *профессиональными атлетами*, а воинские формирования – со *спортивными командами*. В коллективном сознании американского обывателя военные действия ассоциируются с некой спортивной игрой, состязанием. Поясним сказанное на примере:

*An avid golfer, Trump praised the “**incredible athletes**” in attendance. <...> **Their muscles are strong, but their mind has to be stronger** (Nypost.com 2018).* По мнению президента США Д. Трампа, американские военные – «выдающиеся атлеты», крепкие не только телом, но и закаленные в моральном отношении.

Слот E. “*GI is Player*”

В рамках рассматриваемого слота военные действия осмыслены в терминах игры. Американские военнослужащие уподобляются не только профессиональным спортсменам, но и игрокам. Ср.:

Obama said: “If we try to do everything ourselves all across the Middle East and all across North Africa, we’ll be **playing Whac-a-Mole**” (Lamothe 2015). По мнению экс-президента США Барака Обамы, попытка единоличной нейтрализации очагов военного напряжения как на Ближнем Востоке, так и в Северной Африке есть не что иное, как лишенная перспектив, безрезультатная военная кампания.

Рассмотренный нами пример позволяет сделать вывод о продуктивности игровой метафоры, позволяющей осмыслить военные действия в концептах досуговой сферы. Субъекты международных правоотношений (Афганистан, Пакистан, Иран и Россия), а также сами военнослужащие представлены в языковом сознании целевой аудитории как игроки.

Слот F. “*GI is Hunter / Predator*”

В соответствии с метафорическим образом “*GI is Hunter / Predator*” вооруженный конфликт осмыслен сквозь призму исходной понятийной сферы «Охота». Таким образом, собирательный образ американского военнослужащего ассоциируется с *преследователем*, *охотником* или *хищником*. Под глагольно-инфинитивной формой «охотиться» понимается занятие, направленное на поиск, выслеживание птицы и зверя с целью убить или поймать. В военно-политических текстах зооморфные номенклатуры единиц вооружения и военной техники (ВВТ) нередки. Так, например, на вооружении ВВС США состоят такие «плотоядные» беспилотные летательные аппараты (БПЛА), как *the MQ-1C Gray Eagle UA* («Орел»), *the Predator UAV* («Хищник»), транспортные и самолеты-истребители *the C-146 Wolfhound* («Волкодав»), *the F16 Fighting Falcon* («Сокол»), *the F-22 Raptor* («Раптор», от *греч.* «быстрый ящер»), вертолеты *the EH-60 Black Hawk* («Ястреб»), *the AH-1 Super Cobra* («Кобра») и т. д. Проекция агрессивного имиджа ВС США реализуется через метафорические образы смертоносных хищников [Романов, Зарипов 2017: 140–141]. Использование метонимического переноса способствует, на наш взгляд, формированию стереотипных представлений о силе, ловкости, скорости и неуязвимости *GI*. Важно подчеркнуть, что проекция агрессии может осуществляться не только за счет зооморфной метафорики. Так, например, номинация БПЛА *the MQ-9 Reaper UAV* («Жнец») представляет для нас интерес с точки зрения суггестивной составляющей. В языковом сознании представителя англосаксонской лингвокультуры понятие «жнец» апеллирует к поэтическому образу смерти с косой (*the Great Reaper*), традиционно облаченной

в черный балахон. Далее мы предлагаем обратиться к примерам из американских печатных СМИ:

“...*They (the U.S. military. – Прим. пер.) could be fodder not only for the organized guys but also for the lone wolves,*” McCain said” (Lake, Rogin 2015); ...*The small, individual lone wolf (perpetrated by ISIL terrorists) attacks or small cells become harder to detect and they become more sophisticated, using new technologies* (Whitehouse.gov 2015). В приведенном фрагменте фигурирует зооморфная метафора, уподобляющая противника волку-одиночке. На сей раз в роли противника выступает не грызун (см. *to play Whac-a-Mole*), а опасный хищник, представляющий серьезную угрозу не только национальной безопасности США, но и всему мировому сообществу. Справиться с таким опасным зверем под силу лишь американскому солдату-охотнику.

Слот G. “*GI is Doctor*”

В основе антропоморфного метафорического образа врача лежит исходная понятийная сфера «Медицина». Военнослужащие американских вооруженных сил отождествляются с борцами за здоровье человечества в планетарном масштабе:

I think the concern in the US is that this is another jihadi playground where if they are not contained early, if they are not fought off, this is a problem that can metastasize and grow more regionally and more globally in terms of the threat (Perez 2017). Приведенный фрагмент отчетливо свидетельствует о наличии игровой и морбиальной метафор в одном предложении. По всей видимости, под «игровыми площадками» джихадистов следует понимать тренировочные лагеря подготовки будущих террористов. Автор статьи полагает, что, если означенная проблема не будет пресечена на корню, раковая опухоль терроризма даст метастазы. Таким образом, борьба с террористами ИГИЛ сродни борьбе с тяжелой, трудноизлечимой болезнью, а американские солдаты предстают перед читателем в образе врачей.

Проведенное нами исследование метафорических образов военно-политического дискурса американских печатных СМИ позволяет сделать ряд умозаключений.

1. Целеполагание информационно-идеологического антагонизма предполагает моделирование образа внешнего врага и его дегуманизацию, непрерывную «информационную подпитку» положительного имиджа субъекта ИПВ, завоевание и установление гегемонии над информационным пространством противника. Достижение

означенных целей осуществляется через апелляцию к рациональной (персуазивное воздействие) и эмоциональной (суггестивное воздействие) сферам человеческого сознания.

2. Реализуемая на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях ИПВ характеризуется двойственностью природы. С одной стороны, информационная война направлена на планомерное уничтожение идеологического оппонента путем реализации коммуникативной стратегии дегуманизации. С другой стороны, ИПВ имеет целью формирование положительного поля смыслов, ассоциируемых с субъектом информационной агрессии. В основе психоиммунной системы воздействующего субъекта ИПВ лежит непрерывная информационная «подпитка» собственного положительного имиджа, неотъемлемым компонентом которого выступает образ социального института вооруженных сил.

3. Американские СМИ, рассчитанные на максимальный охват целевой аудитории и характеризующиеся высокой частотностью тиражирования согласованных и устойчивых метафорических образов, способствуют формированию и закреплению социальных стереотипов массового сознания. Апелляция к последним в полной мере отвечает интересам манипулятивного воздействия на адресата.

4. Анализ языкового материала показывает, что преобладающим прагматическим вектором публикаций американских периодических изданий, посвященных вооруженным силам США, выступает героический нарратив коллективной идентичности *GI*. Констатируется, что наиболее продуктивными и детально структурированными выступают такие исходные понятийные области, как «Семья», «Война и мир», «Спорт», «Игра», «Животный мир», «Религия», «Медицина».

5. В ходе настоящего исследования были проанализированы стереотипогенные метафорические модели “*U.S. ARMED FORCES is FAMILY*” – «ВС США – это СЕМЬЯ» и *MILITARY SERVICE is WAY / ROAD*” – «ВОЕННАЯ СЛУЖБА – это ПУТЬ / ДОРОГА». Наиболее частотные архетипы *GI* соотносятся с метафорическими образами *жертвы, борца с силами зла, героя, поборника мира, стража, спортсмена, игрока, охотника/хищника, врача*.

6. Представленная в настоящем исследовании градация метафор ни в коей мере не претендует на универсальность, однако позволяет запечатлеть основные метафорические репрезентации ВС США и референтного облика *GI*, бытующие в американских печатных СМИ. Полагаем, что потенциальный интерес для дальнейших

изысканий представляют такие метафорические модели, как “*U.S. ARMED FORCES is ARTEFACT*” – «ВС США – это АРТЕФАКТ», “*MILITARY SERVICE is COMMODITY–MONEY RELATIONS*” – «ВОЕННАЯ СЛУЖБА – это ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Констатируем очевидный факт: против нашего государства и нашей православной цивилизации развязана неприкрытая информационная война по многим направлениям, о чем говорит в том числе и содержание представляемой монографии. Выявить эти стратегические направления антироссийской информационно-психологической войны и соответствующие им речевые тактики и приемы – остается актуальной задачей нашего времени. Вот что сказал по этому поводу советник Президента России по вопросам культуры и президент МА-ПРЯЛ В. И. Толстой на заседании Совета по русскому языку при Президенте России, состоявшемся в Кремле 5 ноября 2019 года: «Ведущая в так называемом цивилизованном мире война против русского слова, русского языка позволяет рассматривать его как мощнейшее, грозное оружие, а значит, это оружие должно быть в полной боевой готовности. И если в сфере военной, в обеспечении своей обороноспособности Россия за последние годы достигла поистине прорывных успехов, то в области гуманитарной нам предстоит сделать еще очень многое...» (<http://kremlin.ru/events/president/news/61986>).

Причем особое место в отражении информационных атак занимает разоблачение симулякров, которые, по мысли Жана Бодрийера, «не просто игра знаков, в них заключены также особые социальные отношения и особая инстанция власти» [Бодрийер 2000: 116]. Эти симулякры направлены прежде всего на глобалистскую трансформацию сознания нашей молодежи. Как пишет учитель истории Дмитрий Лучкин, «в настоящее время происходят весьма примечательные события, имеющие далекоидущие последствия, особенно для молодого поколения. На наших глазах происходит попытка некими силами навязать новое видение ценностей, пересмотр и забвение тех нравственных устоев, без которых любое общество существовать не может. Все эти процессы, направленные прежде всего на молодежную среду, к сожалению, государство пресечь не в состоянии» [Лучкин 2018].

И надо сказать, что растлевающее влияние на молодое поколение россиян дает свои плоды. Вот характеристика состояния умов и душ, конечно, не всей, но значительной части нашей молодежи, данная писателем А. С. Прохановым в одной из статей: «Государство почти утратило влияние на молодежь. Молодежь не верит государству, не любит его, относится к нему иронично, не видит в нем своего защитника. Молодежь предпочитает развлекаться, а не служить, наслаждаться, а не жертвовать, потреблять, а не созидать. Молодые люди не чтут героев прошлого, не желают становиться героями настоящего. Молодой человек – это скептик, нигилист. Он скептически настроен. Его кумиры – певцы-матерщинники, оскорбители святынь, утонченные или грубые извращенцы, проповедники инцеста и суицида» (Завтра. 2019. № 43).

Думается, что сложившаяся ситуация подсказывает вывод: то, что не может сделать государство, должны сделать граждане России, для которых безопасность и благополучие Родины – важнейшая ценность. Это тем более важно подчеркнуть, что по многим признакам война за Россию вступает в решающую стадию. Как пишет тот же А. С. Проханов, в современном мире «происходит схватка кодов и лабораторий», где вырабатываются эти коды и антикоды (Завтра. 2019. № 44). И если государство запаздывает с созданием таких лабораторий, это не значит, что национально мыслящие гуманитарии могут сидеть сложа руки и перья. Конечно, много трудностей на пути тех, кто взялся исследовать проблемы лингвистики информационно-психологической войны с позиций интересов Государства Российского. В том числе, говоря словами поэта другой эпохи, «Работа трудна, работа томит. / За нее – никаких копеек...». Но для тех, у кого «сердца для чести живы», другого выхода нет, как работать в избранном направлении, руководствуясь евангельским постулатом: «Продай одежду свою и купи меч» (Благовествование от Луки; 22, 36).

Работа предстоит большая, и подключиться к ней мы приглашаем наших коллег и единомышленников.

БИБЛИОГРАФИЯ

Авишев С. Мода ругать власть [Электронный ресурс] // Вести. Карелия. 08.12.2014. URL: https://vestikarelii.ru/blogs/moda_rugat_vlast/?orderby=date_asc (дата обращения: 20.04.2019).

Аврус А. И. История российских университетов: курс лекций. М.: Московский общественный научный фонд, 2001. 85 с.

Агапова С. Г., Гущина Л. В. Информационная война: манипулятивная стратегия на понижение // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 3 (27). С. 27–34.

Активистов из «Белых касок» уличили в создании фейков о работе в Сирии // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20170410/1491880199.html> (дата обращения: 07.08.2019).

Александров К. М. Мифы о генерале Власове. М.: Посев, 2010. 256 с.

Алпатов М. В. Глобализация и развитие языков // Вопросы филологии. 2004. № 2 (17). С. 23–27.

Алупеев И. Вернут Крым, а там и поговорим: Зеленский о встрече с Путиным // Газета.RU от 01.04.2019. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2019/04/01_a_12277429.shtml (дата обращения: 20.04.2019).

Англо-русский словарь / сост. В. К. Мюллер. М.: Русский язык, 1995. 1867 с.

Андронов И. Кремлевские самураи [Электронный ресурс] // Завтра. 1998. № 14 (228). URL: <http://zavtra.ru/blogs/1998-04-0741> (дата обращения: 21.08.2019).

Аникина Е. А., Иванкина Л. И., Силифонова Е. В. Проблемы и перспективы доступности высшего образования в условиях современных преобразований в России. Томск: STT Publishing, 2016. 161 с.

Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликтолога. 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. 526 с.

Артамонов В. А. Ложь о военных героях русской истории // Информационные войны. 2011. № 1 (17). С. 45–51.

Артамонова И. М., Ефименко А. А. Языковые манипулятивные средства в заголовках интернет-СМИ во время информационной войны // Культура в фокусе научных парадигм. 2019. № 9. С. 174–177.

Багдасарян В. Е. Борьба за будущее российского образования: глобализаторы против сторонников национальной традиции [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/Ju5bK> (дата обращения: 28.09.2018).

Бадеева Е. Я. Метонимия имени в общественно-политической лексике английского языка: когнитивный и прагматический аспекты: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Владивосток, 2004. 28 с.

Балл Г. А., Бургин М. С. Анализ психологических воздействий и его педагогическое значение // Вопросы психологии. 1994. № 4. С. 56–66.

Баришполец В. А. Информационно-психологическая безопасность: основные положения // Радиоэлектроника. Наносистемы. Информационные технологии. 2013. № 5 (2). С. 62–104.

Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. 504 с.

Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского. М.: Алконт, 1994. 172 с.

Безлепкин Н. И. Язык и информационные войны // Труды Всероссийской научной конференции «Информационные войны как борьба геополитических противников, цивилизаций и различных этосов». Новосибирск, 2018. С. 57–66.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество / пер. с англ. М.: Academia, 2004. 788 с.

Беляев Д. Разруха в головах. Информационная война против России. СПб.: Питер, 2014. 254 с.

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. 323 с.

Бёрджесс Э. Твое время прошло. Фрагменты автобиографии // Иностранная литература. 2017. № 2. С. 138–202.

Бердяев Н. А. О назначении человека. М.: Республика, 1993. 383 с.

Бердяев Н. А. Духовный кризис интеллигенции [Электронный ресурс]: сб. статей. СПб.: Тип. тов-ва «Общественная польза», 1998. С. 9–300. URL: <https://clck.ru/JtQTR> (дата обращения: 03.01.2019).

Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М.: Наука, 1990. С. 43–272.

Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж: ИМКА-Пресс, 1952. 246 с.

Беркович В. Б. Глобализм против Православия. Невидимая война. М.: Благословение, Техинвест-3, 2015. 256 с.

Бернацкая А. А. О некоторых приемах реализации стратегии негативной оценочности в области научного дискурса // Язык и социальная динамика: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (24–25 мая 2013, Красноярск): в 2 ч. / отв. ред. А. В. Михайлов, Т. В. Михайлова. Красноярск: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т, 2013. Ч. I. С. 19–24.

Бернацкая А. А. Симптомы информационно-психологической войны, или Чем пахнет покинутая родина (на материале романа М. П. Шишкина «Венерин волос») [Электронный ресурс] // Экология языка и коммуникативная практика. 2016. № 1. С. 239–258. URL: <https://clck.ru/JuG6C> (дата обращения: 11.07.2019).

Бернацкая А. А. О легитимности анализа художественного текста в аспекте информационно-психологической войны [Электронный ресурс] // Экология языка и коммуникативная практика. 2018. № 3. С. 67–79. URL: <https://clck.ru/JjKUf> (дата обращения: 26.09.2019).

Бернацкая А. А. Повесть Е. Г. Водолазкина «Близкие друзья» в лингвоидеологическом ракурсе [Электронный ресурс] // Экология языка и коммуникативная практика. 2017. № 3. С. 128–145. URL: <https://clck.ru/JjKTb> (дата обращения: 26.09.2019).

Бессонов Б. Н. Идеология духовного подавления. М.: Мысль, 1971. 295 с.

Боброва Е. Б. Социальная ответственность бизнеса как социологическая категория // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 111. С. 279–284.

Бодрийяр Жан. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 387 с.

Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 1998. 1536 с.

Борисова Е. Г. Лексическая номинация в информационных войнах // Вестник Московского городского педагогического ун-та. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование». 2016. № 1 (21). С. 61–65.

Брусницын Н. А. Информационная война и безопасность. М.: Вита-Пресс, 2001. 280 с.

Бубнова И. А., Зыкова И. В., Красных В. В. и др. Как с помощью родного языка можно разрушить культурную матрицу // (Нео)психолингвистика и (психо)лингвокультурология: новые науки о человеке говорящем / под ред. В. В. Красных. М.: Гнозис, 2017. С. 166–179.

Будаев Е. В., Чудинов А. П. Метафора в политическом дискурсе. Екатеринбург: УрГПУ, 2006. 208 с.

Будаев Е. В., Чудинов А. П. Зарубежная политическая лингвистика: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2008. 352 с.

Булгаков М. А. Белая гвардия // Избранная проза. М.: Худ. лит., 1966. С. 111–351.

Булгаков С. Н. Свет не вечерний. Созерцания и умозрения. М.: Республика, 1994. 415 с.

Валадес Д. Контроль над властью / пер. с исп. А. Автономов, В. Гайдамака. М.: Идея-Пресс, 2006. 248 с.

Василенко И. А. Политическая философия. М.: ИНФАР-МБ, 2009. 320 с.

Васильев А. Д., Подсохин Ф. Е. Информационная война: лингвистический аспект // Политическая лингвистика. 2016. № 2 (56). С. 10–16.

Вдовиченко А. В. Лингвистические и внелингвистические основания «всеобщего», «универсального», «личностного», «национального», «культурно-специфического» и прочего знания // Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии / отв. ред. В. В. Фещенко. М.: Культурная революция, 2016. С. 124–149.

Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 707–735.

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки славянской культуры, 1999. 780 с.

Вепринцев В. Б., Манойло А. В., Петренко А. И. и др. Операции информационно-психологической войны: краткий энциклопедический словарь-справочник. М.: Горячая линия-Телеком, 2015. 496 с.

Веснина Л. Е., Нахимова Е. А. Информационно-психологические войны в России // Политическая лингвистика. 2017. № 3 (63). С. 140–145.

Водак Р. Критическая лингвистика и критический анализ дискурса / пер. с англ. В. И. Карасика // Политическая лингвистика. 2011. № 4 (38). С. 286–291.

Война и мир в терминах и определениях: военно-политический словарь / под ред. Д. О. Рогозина. М.: Вече, 2004. 624 с.

Волковский Н. Л. История информационных войн: в 2 ч. СПб.: Полигон, 2003. Ч. II. 736 с.

Волкогонов Д. А. Психологическая война. М.: Воениздат, 1983. 352 с.

Воронцова Т. А. Речевая агрессия в коммуникативно-дискурсивной парадигме // Вестник ВГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 2006. № 1. С. 83–86.

Всемирная история: в 10 т. М.: Соцэкгиз. Т. 4. 1958. 823 с.

ВЦИОМ – Всероссийский центр изучения общественного мнения. Рейтинг Путина – на новой рекордной высоте [Электронный ресурс]. 2015. URL: <http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115438> (дата обращения: 11.07.2019).

Высоцкая И. В., Петрова Н. Е. К проблеме периодизации языка современных российских СМИ // Вопросы журналистики. 2018. № 3. С. 36–47.

Гаврилов Л. А. Политический дискурс в условиях информационно-психологической войны [Электронный ресурс] // Экология языка и коммуникативная практика. 2018. № 2. С. 89–98. URL: <https://clck.ru/JjKYB> (дата обращения: 26.09.2019).

Гарифуллин Р. Р. Психология политического блефа [Электронный ресурс]. URL: <http://kitap.net.ru/garifullin/4.php> (дата обращения: 10.06.2019).

Гаспарян Г. Р., Чернявская В. Е. Текст как дискурсивное событие // Вопросы когнитивной лингвистики. 2014. № 4 (041). С. 44–51.

Гегель Г. В. Ф. Философия религии: в 2 т. / пер. с нем. М. И. Левиной. М.: Мысль, 1975. Т. 1. 532 с.

Гельман А. И. – драматург, киносценарист, публицист, общественный и политический деятель [Электронный ресурс] // LIVE-JOURNAL. URL: <https://ed-glezin.livejournal.com/tag/Гельман> (дата обращения: 26.06.2019).

Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность // Thesis. 1994. Вып. 5. С. 107–134.

Глобализация-этнизация: этнокультурные и этноязыковые процессы: в 2 кн. / Рос. акад. наук, Науч. совет «История мировой культуры», Ин-т славяноведения / отв. ред. Г. Нещименко. М.: Наука, 2006. Кн. 1. 486 с.; кн. 2. 461 с.

Голев Н. Д. Юридизация языковых конфликтов как основание их типологии // Юрислингвистика-9: истина в языке и праве / под ред. Н. Д. Голева. Барнаул: Алт. гос. ун-т, 2008. С. 137–156.

Голев Н. Д. Юрислингвистика в социальном пространстве современной России [Электронный ресурс]. URL: <http://lingvo.asu.ru/golev/articles/z33.html> (дата обращения: 03.01.2019).

Голодов А. Г. Антропонимическая контаминация как политический маркер времени (на материале немецкого языка) // Омский

научный вестник. Серия «Общество. История. Современность». 2018а. № 2. С. 69–73.

Голодов А. Г. «Футбольный фланг» информационной войны (на материале немецкой массовой прессы) // *Studia Germanica, Romanica et Comparatistica*. 2018б. Т. 14. Вып. 2–3 (40–41). С. 5–18.

Гор В. Почему я на восемь лет старше Энтони Бёрджесса // *Иностранная литература*. 2017. № 2 С. 268–277.

Горбачева Е. Н. Обвинение как коммуникативный поступок в современной информационной войне (на материале англоязычного медийно-политического антироссийского дискурса) // *Политическая лингвистика*. 2017. № 2 (62). С. 27–33.

Гордеев Д. И. Способы вербализации агрессии (на материале русскоговорящих анонимных форумов) // *Компьютерная лингвистика и вычислительные онтологии*. 2017. Вып. 1. С. 175–181.

Горностаева Ю. А. Вербальные маркеры манипуляции в англоязычном поляризованном политическом дискурсе: опыт параметризации и автоматической обработки: дис. ... канд. филол. наук. Красноярск, 2018. 191 с.

Готорн Н. Алая буква. СПб.: Азбука-Аттикус, 2011. 315 с.

Гофман И. Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта. М.: Институт социологии РАН, 2004. 752 с.

Гофф Ле Ж. Интеллектуалы в Средние века. Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1997. 290 с.

Грановский В. В. Погубление слова // *Информационные войны*. 2009. № 2 (10). С. 87–89.

Грачев Г. В., Мельник И. К. Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия. М.: Эксмо, 2003. 153 с.

Гревцев И. Диверсанты в нашем тылу [Электронный ресурс] // *Русский вестник*. 2016. № 20. URL: <http://rv.ru/content.php3?id=11787> (дата обращения: 22.06.2019).

Гречко П. К. Онтометодологический дискурс современности: историческая продвинутость и ее вызовы. М.: ЛЕНАНД, 2015. 312 с.

Гриценко Е. Язык и безопасность в контексте глобализации // *Власть*. 2011. № 11. С. 9–11.

Гриценко Е. С., Кирилина А. В. Язык и глобализация: задачи и направления социолингвистического анализа // *Вестник Минского гос. лингвистического ун-та. Серия «Филология»*. 2010. № 6. С. 14–21.

Гудков Д. Б. Функционирование прецедентных феноменов в политическом дискурсе российских СМИ // *Политический*

дискурс в России – 4: материалы раб. совещ. М.: Диалог – МГУ, 2000. С. 45–52.

Гудков Д. Б. Отзыв о лекции П. Серио, прочитанной в МГУ в марте 2010 г. [Электронный ресурс] // Форум кафедры общей теории словесности филологического факультета МГУ. URL: <http://discoursforum.forum24.ru> (дата обращения: 04.04.2012).

Гуревич П. Конфигурация могущества // Тоффлер Е. Метаморфозы власти. М.: АСТ, 2003. С. 8–17.

Гусейнов Г. Ч. Советские идеологемы в русском дискурсе 1990–х. М.: Три квадрата, 2003. 272 с.

Данциг Ш. Эгоистическая энциклопедия всего и ничего / пер. с франц. // Иностранная литература. 2017. № 5. С. 261–277.

Дейк Т. А. ван. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: ЛИБРОКОМ, 2014. 344 с.

Дейк Т. А. ван. Фреймы знаний и понимание речевых актов / пер. с англ. М. А. Дмитриевой // Язык. Познание. Коммуникация: сб. работ. М.: Прогресс, 1989. С. 12–40.

Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М.: ЛЕНАНД, 2015. 320 с.

Демьянков В. З. Доминирующие лингвистические теории в конце XX века // Язык и наука конца XX века: сб. статей. М.: Рос. гос. гуманитар. ун-т, 1995. С. 239–320.

Детинко Ю. И., Куликова Л. В. Политическая коммуникация: опыт мультимодального и критического дискурс-анализа: монография. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. 168 с.

Дешериев Ю. Д. Современная идеологическая борьба и проблемы языка. М.: Наука, 1984. 240 с.

Дискурсивные практики современной институциональной коммуникации: монография / под науч. ред. Л. В. Куликовой. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. 182 с.

Добросклонская Т. Г. Массмедийный дискурс как объект научного описания // Научные ведомости. Серия «Гуманитарные науки». 2014. № 13 (184). Вып. 22. С. 181–187.

Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ: современная английская медиаречь. М.: Наука, 2008. 264 с.

Доктрина 2016: Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Президент России [Официальный сайт]. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41460> (дата обращения: 03.07.2019).

Документы по истории университетов Европы XII–XV вв.: учеб. пособие. Воронеж: ВГПИ, 1973. 157 с.

Достоевский Ф. М. Село Степанчиково и его обитатели // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука, 1972. Т. 3. С. 5–169.

Достоевский Ф. М. Собр. соч.: в 10 т. М.: Гослитиздат. Т. 4. 1956. 613 с.

Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.: ЧеРо, Изд-во МГУ, 2000. 344 с.

Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М.: Издательство МГУ, 1997. 344 с.

Драйзер Т. Финансист // Драйзер Т. Собр. соч.: в 12 т. М.: Правда, 1986. Т. 3. 560 с.; Т. 4. 592 с.

Дубровская Т. В., Рева Е. К., Кожемякин Е. А. и др. Политический, юридический и массмедийный дискурс в аспекте конструирования межнациональных отношений Российской Федерации: монография. М.: Флинта: Наука, 2017. 248 с.

Дударева З. М., Нахимова Е. А., Рязанцева Т. Ю. Лингвистика информационной войны против России, русского языка и православия: теория, методика и практика // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2017. № 3. С. 48–53.

Егорова Е. Н. Проблема юридизации языковых средств в современной лингвистике (на примере исследования концепта «словесное оскорбление»): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Архангельск, 2010. 26 с.

Енина Л. В., Ильина О. В., Каблуков Е. В. и др. Практики политической идентификации россиян под влиянием медиаконцепта «информационная война» // Политическая лингвистика. 2017. № 4 (64). С. 96–107.

Ефремов В. В., Караяни А. Г., Размазнин А. Н. и др. Информационно-психологическое противоборство: сущность, содержание, методы. М.: МО РФ, 2000. 223 с.

Желтухина М. Р., Павлов П. В. Социальная сеть Facebook в XXI веке: от инструмента коммуникации к инструменту информационной войны // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 7–3 (61). С. 89–93.

Жельвис В. И. Инвективная стратегия как национально-специфическая характеристика // Этнопсихоллингвистика. М.: Наука, 1988. С. 98–108.

Завьялова О. Н. Речевая (языковая, вербальная) агрессия // Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник / под

ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сквородникова, Е.Н. Ширяева и др. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 562–564.

Закон РФ от 27.12.1991 № 2124–1 (ред. 06.06.2019) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: <https://clck.ru/DFK9Z> (дата обращения: 16.07.2019).

Закоян Л.М. Речевая агрессия как предмет лингвистических научных исследований // Вестник РУДН. Серия «Вопросы образования: языки и специальность». 2008. № 2. С. 46–51.

Зарипов Р.И. Метафорические образы России во французском политическом дискурсе в контексте войны в Сирии // Политическая лингвистика. 2017. № 6 (66). С. 76–85.

Захаров И.В., Ляхович Е.С. Миссия университета в европейской культуре. М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1994. 239 с.

Земская Е.А. Клише новояза и цитация в языке постсоветского общества // Вопросы языкознания. 1996. № 1. С. 23–31.

Иванов А.С. Вечный зов: роман в 2 т. М.: Вече, 2014. Т. 2. 624 с.

Иванов В.Г. Профессиональное образование: разрушение системы или выстраивание новой? // Ученые записки ЗабГУ. Серия «Педагогика. Психология». 2016. № 2. Т. 11. С. 61–68.

Иванова Е.А. Лингвистический феномен пост-правды в англоязычном политическом дискурсе // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 9. С. 154–159. URL: <https://clck.ru/Jk3Xs> (дата обращения: 16.07.2019).

Иванова С.В. Политический медиадискурс в фокусе лингвокультурологии // Политическая лингвистика. 2008. № 1 (24). С. 29–33.

Иванова С.В. Лингвистическая ресурсная база информационной войны: создание эффекта демонизации // Политическая лингвистика. 2016. № 5 (59). С. 28–37.

Иванова С.В. Дискурсивные практики информационной войны: роль ксенонимов в создании эффекта демонизации // Магия ИННО: новые измерения в лингвистике и лингводидактике: сб. науч. трудов: в 2 т. М.: МГИМО-Университет, 2017. Т. 1. С. 243–248.

Иглтон Т. Медленная смерть университета. Исповедь «мягкотелого и деморализованного»: западная система образования и индивидуальность в эпоху «больших цифр» [Электронный ресурс] // Gefter. 05.11.2017. URL: <http://gefeter.ru/archive/23124> (дата обращения: 30.04.2019).

Ильин И.А. О грядущей России: избранные статьи / под ред. Н.П. Полторацкого. М.: Воениздат, 1993. 368 с.

Илющенко Р. Человек – существо информационное [Электронный ресурс] // Русская народная линия. 15.01.2019. URL: <https://clck.ru/JtQqb> (дата обращения: 03.01.2019).

Индекс агрессивности [Электронный ресурс] // Литературная газета. 2014. № 41. URL: <http://lgz.ru/article/-41-6483-22-10-2014/indeks-agressivnosti/> (дата обращения: 22.06.2019).

Интерфакс. URL: <https://www.interfax.ru> (дата обращения: 20.04.2019).

Информационная война [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki> (дата обращения: 27.04.2019).

Иссерс О. С. Речевое воздействие: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью». М.: Флинта: Наука, 2009. 224 с.

Иссерс О. С. Дискурсивная практика как наблюдаемая реальность [Электронный ресурс] // Вестник Омского ун-та. 2011. № 4. С. 227–232. URL: <https://clck.ru/HzTUF> (дата обращения: 26.06.2019).

Иссерс О. С. Медиафейки: между правдой и мистификацией // Коммуникативные исследования. 2014. № 2. С. 112–123.

Иссерс О. С. Дискурсивные практики нашего времени. 2-е изд., испр. М.: ЛЕНАНД, 2015. 272 с.

История Востока: в 6 т. / гл. ред. Р. Б. Рыбаков; отв. ред. Л. Б. Алаев, К. З. Ашрафян. М.: Вост. лит., 2002. Т. 2: Восток в Средние века. 716 с.

Каблуков Е. В. Идеологема «либерализм» в современном российском проправительственном медиадискурсе // Журналистика цифровой эпохи: как меняется профессия: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2016. С. 209–212.

Каблуков Е. В. К вопросу об актуализации дискурсивных практик идентификации в условиях информационной войны // Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Екатеринбург, 17 мая 2017 г.). Екатеринбург, 2017. С. 235–238.

Каблуков Е. В. Метаморфозы фразеологизма «пятая колонна» в современном российском медиадискурсе // *Slavia Orientalis*. 2016. Т. LXV. № 4. С. 805–821.

Казаченко О. В. Роль слов, выражающих ценности, в информационно-психологических войнах // Учимся понимать Россию: политическая и массмедийная коммуникация: материалы Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 10–14 октября 2018 г.). Екатеринбург, 2018. С. 114–117.

Как работала советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/HzTUc> (дата обращения: 02.05.2019).

Кант И. Религия в пределах только разума // Из наследия мировой философской мысли. Теория познания. М.: Либроком, 2012. 304 с.

Кара-Мурза С.Г. Потянуло на воспоминания [Электронный ресурс] // Livejournal. 2001. URL: <http://sg-karamurza.livejournal.com/119864.html> (дата обращения: 04.04.2012).

Кара-Мурза С.Г. Матрица «Россия». М.: Эксмо: Алгоритм, 2010. 256 с.

Кара-Мурза С.Г. Власть манипуляции. М.: Академический проект, 2015. 358 с.

Карасик В.И. Языковые ключи. Волгоград: Парадигма, 2007. 520 с.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 262 с.

Караяни А.Г., Зинченко Ю.П. Информационно-психологическое противоборство в войне: история, методология, практика. М.: МГУ, 2007. 172 с.

Карпович О.Г., Манойло А.В. Цветные революции. Теория и практика демонтажа современных политических режимов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. 111 с.

Керсновский А.А. Философия войны. М.: Издательство Московской Патриархии, 2010. 208 с.

Кирилина А.В. Перевод и языковое сознание в динамической синхронии: психические границы языка (на материале русского языка ка Москвы) // Вопросы психолингвистики. 2011а. № 2. С. 30–39.

Кирилина А.В. Русский язык в Москве: некоторые изменения (2007–2009 гг.) // Русский язык в условиях языковой и культурной полифонии: сб. науч. статей; под ред. В.В. Красных. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2011б. С. 107–133.

Кирилина А.В. Лингвофилософская рефлексия в эпоху глобализации // Вопросы психолингвистики. 2013. № 2 (18). С. 36–45.

Кирилина А.В. Сходства в развитии коммуникативно мощных языков в эпоху глобализации // Вопросы психолингвистики. 2015. № 2. С. 77–89.

Кислица В.В. Изучение вербальной агрессии подростков в образовательном учреждении [Электронный ресурс] // Молодой ученый. 2016. № 9. С. 1023–1027. URL: <https://moluch.ru/archive/113/29069/> (дата обращения: 05.01.2019).

Клушина Н.И. Интенциональные категории публицистического текста (на материале периодических изданий 2000–2008 гг.): автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2008. 62 с.

Клушина Н. И. Теория идеологем // Политическая лингвистика. 2014. № 4 (50). С. 54–58.

Ковалев Г. А. О системе психологического воздействия (к определению понятия). М.: Наука, 1989. 153 с.

Кодекс РФ – Кодекс об административных правонарушениях РФ 2019. Актуальная редакция с комментариями по состоянию на 09.02.2019. URL: <http://koapkodeksrf.ru/rzd-2/gl-5/st-5-61-koap-rf> (дата обращения: 17.05.2019).

Кокурина И. В., Хорецкая Н. Ю. Манипулятивный потенциал фрейма при создании образа России в немецкоязычных СМИ // Политическая лингвистика. 2018. № 5 (71). С. 59–63.

Колмогорова А. В., Горностаева Ю. А., Калинин А. А. Разработка компьютерной программы автоматического анализа и классификации поляризованных политических текстов на английском языке по уровню их манипулятивного воздействия: практические результаты и обсуждение // Политическая лингвистика. 2017. № 4 (64). С. 67–75.

Колмогорова А. В., Талдыкина Ю. А., Калинин А. А. Языковые маркеры манипуляции в поляризованном политическом дискурсе: опыт параметризации // Политическая лингвистика. 2016. № 4 (58). С. 194–199.

Комаров Е. Н. Ценностные ориентиры в заголовках французских и российских средств массовой информации: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2003. 21 с.

Кондрашихина О. А. Дифференциальная психология: учеб. пособие. Киев: Центр учебной литературы, 2009. 232 с.

Копнина Г. А. Речевое манипулирование: учеб. пособие. 3-е изд. М.: Флинта: Наука, 2010. 176 с.

Копнина Г. А. Речевые тактики и приемы дискредитации православия в современной информационно-психологической войне (на материале интернет-текстов) // Политическая лингвистика. 2017. № 5 (65). С. 206–216.

Копнина Г. А. Контрманипуляция в речевой коммуникации: некоторые перспективы изучения // Коммуникативные исследования. 2018. № 2 (16). С. 7–19.

Корецкая О. В. Концепт post-truth как лингвистическое явление современного англоязычного медиадискурса // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017а. № 7 (73). Ч. 3. С. 136–138.

Корецкая О. В. Фейковые новости как объект изучения медиалингвистики (на материале англоязычных СМИ) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017б. № 9 (75). Ч. 1. С. 118–120.

Коровин В. М. Третья мировая сетевая война. СПб.: Питер, 2014а. 352 с.

Коровин В. М. Удар по России. Геополитика и предчувствие войны. СПб.: Питер, 2014б. 304 с.

Костева В. М. Лингвистика тоталитаризма в лингвофилософской парадигме XX века: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Пермь, 2018. 38 с.

Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи: из наблюдений над речевой практикой массмедиа. 3-е изд., испр. и доп. СПб.: Златоуст, 1999. 319 с.

Коцюбинская Л. В. Метафора «информационная атака» как объект лингвистического исследования [Электронный ресурс] // Политическая лингвистика. 2016. № 5 (59). С. 77–81. URL: <https://clck.ru/HzTUu> (дата обращения: 06.05.2019).

Коцюбинская Л. В. Языковая объективация информационной атаки (на примере информационного события «олимпиада-2016») // Один пояс – один путь. Лингвистика взаимодействия: материалы Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 16–21 октября 2017 г.); отв. ред. А. П. Чудинов, Сунь Юйхуа. Екатеринбург: УрГПУ, 2017. С. 81–84.

Коцюбинская Л. В. Метафорическое представление информационного события «спорт России» в британских средствах массовой информации // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018а. № 2 (80). Ч. 1. С. 87–90.

Коцюбинская Л. В. Семантическое описание лексической единицы «информационная атака» [Электронные ресурсы] // Экология языка и коммуникативная практика. 2018б. № 1. С. 95–100. URL: <https://clck.ru/JkgSt> (дата обращения: 16.07.2019).

Кошкарова Н. Н. Фейковые новости: креативное решение или мошенничество? // Вестник ТГПУ. 2018. № 2 (191). С. 14–18.

Кошкарова Н. Н., Руженцева Н. Б., Зотова Е. Н. «Российская агрессия по-американски» и «российский след» по-украински // Политическая лингвистика. 2018. № 1 (67). С. 74–81.

Красных В. В. Когнитивная база vs культурное пространство в аспекте изучения языковой личности (к вопросу о русской концептосфере) // Язык, сознание, коммуникация: сб. статей. М.: Филология, 1997. Вып. 1. С. 128–144.

Красовская О. В. Информационная война как коммуникативный феномен // Политическая лингвистика. 2016. № 4 (58). С. 53–59.

Красовская О. В. «Заклятые друзья» России: языковые средства как медийные технологии // Медиалингвистика: материалы

II Междунар. науч.-практ. конф. «Язык в координатах массмедиа» (Санкт-Петербург, 2–6 июля 2017 г.). СПб., 2017а. С. 206–208.

Красовская О. В. «Чужое слово» в дискурсе информационной войны // Политическая лингвистика. 2017б. № 6 (66). С. 34–38.

Кратохвил И. Доброй ночи, сладких сновидений: роман-притча / пер. с чешск. М.: Текст, 2015. 286 с.

Кризис литературоцентризма. Утрата идентичности vs новые возможности: монография / отв. ред. Н. В. Ковтун. М.: Флинта: Наука, 2014. 576 с.

Крысин Л. П. Лингвистический аспект изучения этностереотипов (постановка проблемы) // Встречи этнических культур в зеркале языка (в сопоставительном лингвокультурном аспекте) / Науч. совет по истории мировой культуры. М.: Наука, 2002. С. 171–175.

Крысько В. Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт). Минск: Харвест, 1999. 448 с.

Крысько В. Г. Этническая психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стереотип. М.: Изд. центр «Академия», 2008. 320 с.

Кузнецова А. М., Кузнецов А. Е. Антонимии смыслов: патриотизм vs космополитизм // Вестник Бурятского государственного университета. 2015. Вып. 14А. С. 10–17.

Кузьмина Н. А. Деидеологизация или новая идеологизация? (Идеологемы нового времени) // Язык и стиль современных средств массовой информации. Межвузовский сборник научных трудов Всероссийской конференции, посвященной 80-летию профессора Н. С. Валгиной. М., 2007. С. 192–198.

Кун Г. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977. 250 с.

Купина Н. А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. Екатеринбург – Пермь: Изд-во Уральского ун-та; ЗУУНЦ, 1995. 144 с.

Купина Н. А. Языковое строительство: от системы идеологем к системе культурем // Русский язык сегодня. М.: Азбуковник, 2000. Вып. 1. С. 182–189.

Купина Н. А. Русская идея в контексте современности: «Бесы» Достоевского и аксиологические суждения Бердяева // Политическая лингвистика. 2015. № 2 (52). С. 31–37.

Кутб М. Светские люди и ислам [Электронный ресурс]. Бадр, 2012. URL: <https://clck.ru/Jsdi5> (дата обращения: 15.09.2019).

Кушнерук С. Л. Дискурсивный мир информационно-психологической войны в британских интернет-СМИ [Электронный ресурс]

// Экология языка и коммуникативная практика. 2018а. № 4 (15). С. 79–91. URL: <https://clck.ru/JkiwG> (дата обращения: 16.07.2019).

Кушнерук С. Л. Медиареальность информационно-психологической войны (на материале британских газет и новостных сайтов) // Политическая лингвистика. 2018б. № 4 (70). С. 47–54.

Кушнерук С. Л. Когнитивно-дискурсивное миромоделирование: опыт сопоставительного исследования рекламной коммуникации. Монография. М.: Флинта, 2019. 368 с.

Кушнерук С. Л. Развитие теории когнитивно-дискурсивного миромоделирования за рубежом и в России [Электронный ресурс] // Вопросы когнитивной лингвистики. 2018в. № 4. С. 115–125. URL: <https://clck.ru/Jkiz5> (дата обращения: 03.06.2019).

Кушнерук С. Л., Курочкина М. А. Информационная война: аспекты исследования и перспективы когнитивно-дискурсивного моделирования [Электронный ресурс] // Когнитивные исследования языка. Вып. 37: Интегративные процессы в когнитивной лингвистике: материалы Междунар. конгресса по когнитивной лингвистике (16–18 мая 2019 г.). Нижний Новгород: Изд-во ДЕКОМ, 2019. С. 764–769. URL: <https://clck.ru/Jkj5J> (дата обращения: 01.07.2019).

Лаухина С. С., Туркин А. О. Способы языкового манипулирования в российско-украинском информационном конфликте // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2017. № 4. Т. 11. С. 6–9.

Леви-Стросс К. Структурная антропология / пер. с фр. В. В. Иванова. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. 512 с.

Лингвистика и аксиология: этносемиотрия ценностных смыслов: коллективная монография. М.: ТЕЗАУРУС, 2011. 352 с.

Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии: монография / отв. ред. В. В. Фещенко. М.: Культурная революция, 2016. 500 с.

Лингвистика информационно-психологической войны: монография. Кн. I / А. А. Бернацкая, И. В. Евсеева, А. В. Колмогорова [и др.]; под ред. А. П. Сковородникова. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. 340 с.

Лингвистика информационно-психологической войны: монография. Кн. II / А. А. Бернацкая, Л. А. Гаврилов, В. А. Жилина [и др.]; под ред. А. П. Сковородникова. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019. 488 с.

Лисичкин В. А., Шелепин Л. А. Война после войны: информационная оккупация продолжается. М.: Эксмо, 2005. 416 с.

Лосев А. Эпоха застоя в мировой науке. И что это значит для человечества // Россия в глобальной политике. 2018. № 1. С. 66–78.

Лунин В. В., Зоркий П. М., Лубнина И. Е. Российские университеты в XVIII веке // Вестник Московского университета. Серия 2 «Химия». 1999. № 5. Т. 40. С. 345–350.

Лучкин Д. Атака на историческую память [Электронный ресурс] // Русская народная линия. 27.10.2018. URL: http://ruskline.ru/news_rl/2018/10/27/ataka_na_istoricheskuyu_pamyat/ (дата обращения: 10.11.2019).

Любимова А. А. Языковые аспекты воздействия на общественное сознание: дис. ... канд. филол. наук. М., 2006. 240 с.

Мальшева Е. Г. Идеологема как лингвокогнитивный феномен: определение и классификация // Политическая лингвистика. 2009. № 4 (30). С. 32–40.

Мальшева Е. Г. Идеологема как лингвокогнитивный феномен: определение и классификация // Политическая лингвистика. 2009. № 4 (30). С. 32–40.

Маритен Ж. Жан-Жак, или Святой от природы // Маритен Ж. Избранное. М.: Росспэн. 2004. С. 228–306.

Матвеева Т. Ф. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. М.: Флинта: Наука, 2003. 432 с.

Маудуди А. А. Ислам и Западная цивилизация [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/JsdjF> (дата обращения: 10.07.2014).

Мельников Н. Необыкновенные приключения британца в России. Энтони Бёрджесс. Клюква для медведей: роман / пер. с англ. Е. Цыпина. СПб.: Симпозиум, 2002. 398 с. // Знамя. 2003. № 4. С. 228–231.

Минский М. Фреймы для представления знаний / пер. с англ. О. Н. Гринбаума; под ред. Ф. М. Кулакова. М.: Энергия, 1979. 152 с.

Мирошниченко А. А. Лингво-идеологический анализ языка массовых коммуникаций: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ростов н/Д., 1996. 16 с.

Мирошниченко А. А. Толкование речи. Основы лингво-идеологического анализа [Электронный ресурс]. Ростов н/Д, 1995. 112 с. URL: <https://clck.ru/JtRDt> (дата обращения: 23.01.2018).

Михальская А. К. Русский Сократ: лекции по сравнительно-исторической риторике. М.: Изд. центр «Академия», 1996. 192 с.

Млечин Л. Сговор [Электронный ресурс] // Российская газета. 2013. URL: <https://rg.ru/2013/10/01/munhen.html> (дата обращения: 29.08.2019).

Морозова О.В. Образ России сквозь призму информационно-психологической войны в медиатекстах // Проблемы речевой коммуникации: межвузовский сб. науч. тр.: в 2 кн. Саратов, 2018. С. 124–132.

Моррис Д. Новый государь / пер. с англ. М.: Группа Компаний «Никколо М», 2003. 224 с.

Мустайоки А. Разновидности русского языка: анализ и классификация // Вопросы языкознания. 2013. № 5. С. 3–27.

МФ – Евангелие от Матфея [Электронный ресурс] // Русская православная церковь. URL: <http://www.patriarchia.ru/bible/mf/22/> (дата обращения: 22.08.2019).

Мюллер С. Речевые стратегии дискурса антисемитизма в учебной литературе Германии XX в.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2015. 29 с.

Нахимова Е.А. О лексикографическом представлении идеологем // Современная политическая лингвистика: материалы Междунар. науч. конф. Екатеринбург, 2003. С. 116–118.

Невзоров А.Г. Отставка господ бога. Зачем России православие? М.: Эксмо, 2015. 224 с.

Невинская М.Д. Концептуальная оппозиция «народ – власть» в политическом дискурсе: дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2006. 177 с.

Неменский О.Б. Русофобия как идеология // Вопросы национализма. 2013. № 13. С. 26–65.

Немирова А.Д. Языковая игра на основе фразеологизмов и прецедентных текстов в заголовках современных газет // Вестник Московского государственного университета печати. М.: Моск. политехнический ун-т, 2013. № 6. С. 153–157.

Новикова Е.В. Образ будущего в современной российской прозе // Филологические науки. 2018. № 4. С. 51–58.

Новгородцев П.И. Существо русского православного сознания // Новгородцев П.И. Сочинения. М.: Раритет, 1995. С. 407–423.

Образ России в условиях информационной войны конца XX – начала XXI в. Тенденции обновления политического дискурса: материалы Междунар. науч. конф. «Россия в поисках мирного решения социальных, межконфессиональных и межэтнических конфликтов: Тенденции обновления политического дискурса, отражающие доминантные идеологемы российской официальной дипломатии и пропагандистской деятельности политических партий конца XX – начала XXI в.» (Магнитогорск, 23–25 ноября 2017 г.). Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2017. 509 с.

- Общая газета. URL: <https://og.ru/> (дата обращения: 20.04.2019).
- Общая прикладная политология: учеб. пособие / под общ. ред. В. И. Жукова, Б. И. Краснова. М.: МГСУ; Изд-во «Союз», 1997. 992 с.
- Озюменко В. И. Медийный дискурс в ситуации информационной войны: от манипуляции к агрессии // Вестник РУДН. Серия «Лингвистика». 2017. Т. 21. № 1. С. 203–220.
- Ортиков К. С. Система образования как инструмент «мягкой силы» в мировой политике и геополитике // Молодой ученый. 2013. № 10. С. 461–462.
- Отюцкий Г. П. Философия войны: структура, задачи и функции // Военная мысль. 2010. № 3. С. 72–78.
- Павлова А. В., Безродный М. В. Хитрушки и единорог: из истории лингвонарциссизма // Политическая лингвистика. Екатеринбург. 2011. № 4 (38). С. 11–20.
- Павлова Е. К. Эмоционально-оценочная лексика в политическом дискурсе в условиях современной информационной войны // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 11 (77). Ч. 2. 2017. С. 129–131.
- Палажченко М. Ю. Эвфемизация военно-политической лексики как способ ведения информационной войны // Государственное управление. Электронный вестник. 2017. № 61. С. 298–309.
- Панарин И. Н. Первая мировая информационная война. Развал СССР. СПб.: Питер, 2010. 256 с.
- Панарин И. Н. СМИ, пропаганда и информационные войны. М.: Поколение, 2012. 441 с.
- Паремужашвили Э. Э. Речевая агрессия в непрямой коммуникации (на материале русской классической и современной литературы): автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2013. 24 с.
- Паршин П. Б. Речевое воздействие: основные сферы и разновидности // Рекламный текст: Семиотика и лингвистика. М.: Издательство международного института рекламы, 2000. С. 53–73.
- Паршин П. Б. От такого и слышу: о содержании и узусе понятия манипуляции // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды Междунар. конф. «Диалог'2003». М.: Наука, 2003. С. 1–5.
- Паршина О. Н. Стратегии и тактики речевого поведения современной политической элиты России: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Саратов, 2005. 48 с.
- Пахалюк К. Что значит изучать политический дискурс? Некраткий обзор теорий и методов [Электронный ресурс]. URL: <http://geftr.ru/archive/24982> (дата обращения: 18.05.2018).

Петрова Н. Е., Рацибурская Л. В. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2011. 160 с.

Петрунникова Р. В., Заяц И. И., Ахременко И. И. История психологии. Минск: Изд-во МИУ, 2009. 412 с.

Пищальникова В. А. Текст и дискурс: к вопросу о содержании лингвистических понятий // Русский язык в школе и дома. 2008. № 3. С. 60–66.

План Даллеса [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/План_Даллеса (дата обращения: 26.06.2019).

Плунгян В. А. Основные синтаксические граммемы имени // Общая морфология: введение в проблематику: учеб. пособие. 2-е изд., испр. М.: ЕДИТОРИАЛ УРСС, 2003. С. 142–188.

Подзигун И. М. Глобализация и глобальные проблемы: философско-методологический анализ: дис. ... д-ра филос. наук. М., 2003. 384 с.

Покровский И. А. История римского права / вступ. ст., пер. с лат., научн. ред. и коммент. Л. Д. Рудокваса. СПб.: Издательско-торговый дом «Летний Сад», 1998. 560 с.

Попова Т. Г. Национально-культурная семантика языка и когнитивно-социокоммуникативные аспекты (на материале английского, немецкого и русского языков): монография. М.: Изд-во МГОУ «Народный учитель», 2003. 176 с.

Попова Т. Г., Зарипов Р. И. Особенности метафорической репрезентации образа России в западных СМИ // Политическая лингвистика. 2017. № 5 (65). С. 125–129.

Потапова Н. М. Анализ лингвистических средств ведения информационной войны (на материале англоязычного политического дискурса) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 8 (86). Ч. 1. С. 161–165.

Потапова Р. К., Потапов В. В. Некоторые прикладные аспекты исследования звучащей речи // Вестник Московского государственного лингвистического университета. М.: Моск. гос. лингв. ун-т, 2011. Вып. 1 (607). С. 164–186.

Почепцов Г. Г. Информационные войны. Новый инструмент политики. М.: Алгоритм, 2015. 256 с.

Прилукова Е. Г. Семья как мишень информационно-психологической войны [Электронный ресурс] // Экология языка и коммуникативная практика. 2018. № 2. С. 118–126. URL: <https://clck.ru/JsWU6> (дата обращения: 01.07.2019).

Притчи – Притчи Соломона. Глава 14 [Электронный ресурс] // Русская православная церковь. URL: <https://mospat.ru/calendar/bibliya/23prov14.html> (дата обращения: 22.08.2019).

Приходько А. Н. Таксономические параметры дискурса // Язык. Текст. Дискурс. Межвузовский научный альманах. Вып. 7. Ставрополь. 2009. С. 22–29.

Проблемы конструирования идентичности россиян в дискурсе СМИ под влиянием концепта «информационная война»: монография / О. И. Астахова, Э. В. Булатова, Л. В. Енина [и др.], под ред. Э. В. Чепкиной. М.: Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2017. 196 с.

Проханов А. Гений мечты [Электронный ресурс] // Известия. 2016. URL: <https://clck.ru/ItQKC> (дата обращения: 11.01.2019).

Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2004. 224 с.

Прошина З. Г. Транслингвизм и его прикладное значение // Вестник РУНД. Серия «Вопросы образования: языки и специальность». 2017. № 2. Т. 14. С. 150–170.

Рансмайр К. Атлас робкого человека / пер. с нем. // Иностранная литература. 2017. № 3. С. 256–280.

Редкина Е. С. Языковая игра в использовании прецедентных феноменов в новейшей русской поэзии // Уральский филологический вестник. Серия «Язык. Система. Личность: лингвистика креатива». Екатеринбург, 2017. № 2 (26). С. 89–95.

Ривлина А. А. Формирование глобального англо-местного билингвизма и усиление транслингвальной практики // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2016. № 2 (50). С. 22–29.

Ридингс Б. Университет в руинах; пер. с англ. А. М. Корбута. М.: Изд. дом гос. ун-та Высшей школы экономики, 2010. 304 с.

Рогозина И. В. Медиа-картина мира: когнитивно-семиотический аспект: монография. Москва – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2003. 289 с.

Родина Л. Л., Николаева Н. В., Пономарев А. И. Из истории университетов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 4. Т. 2 (60). 2015. Вып. 4. С. 405–427.

Роллинс Дж. Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа / пер. с англ. С. Магомета. М.: Астрель, АСТ, 2008. 381 с.

Романов А. С. Этнический анекдот как средство отражения стереотипов об американских военнослужащих // Вестник РУДН. М., 2013. С. 113–124.

Романов А. С., Зарипов Р. И. Метафорическое моделирование как языковое средство экспликации этностереотипов армейской субкультуры США (на материале английского языка) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 5 (71): в 3 ч. Ч. 3. С. 138–143.

Россия глазами Европы. Имидж страны через призму языка: монография / М. М. Русяева, Е. Б. Нешина, Е. Ф. Черемушкина. Саранск: ЮрЭксПрактик, 2018. 124 с.

Руженцева Н. Б. Дискредитирующие тактики и приемы в русском политическом дискурсе. Екатеринбург, 2004. 294 с.

Русские идут [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/JufTC> (дата обращения: 03.07.2019).

Русский идеографический словарь: Мир человека и человек в окружающем его мире (80 концептов, относящихся к духовной, ментальной и материальной жизни человека) / отв. ред. акад. РАН Н. Ю. Шведова. М.: РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова, 2011. 1032 с.

Русский язык и культура речи (базовые компетенции): учеб. пособие для вузов по направлению подготовки 035700.62 «Лингвистика», профиль 035700.62.03 «Теория и практика межкультурной коммуникации» / Сиб. федер. ун-т, Ин-т филологии и яз. коммуникации [науч. ред. А. П. Сквородников]. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. 513 с.

Рябов О. В. Медвежья метафора России как фактор международных отношений // Лингвокультурология. 2016. № 10. С. 315–333.

Ряполов В. В. Возникновение средневековых университетов: содержание и формы обучения // Бизнес и дизайн ревю. 2018. № 1 (9). С. 15.

Сабиров В. Ш., Соина О. С. Нравственный ум человека // Философия и этика: сб. науч. тр. к 70-летию академика А. А. Гусейнова. М.: Альфа-М, 2009. С. 515–530.

Сабиров В. Ш., Соина О. С. Этика и нравственная жизнь человека. СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. 488 с.

Сабиров В. Ш., Соина О. С. Изучение этоса как социокультурная, этическая, правовая, эстетическая и религиозная проблема эпохи информационных войн // Лингвистика информационно-психологической войны: монография. Кн. II / А. А. Бернацкая, Л. А. Гаврилов, В. А. Жилина [и др.]; под ред. А. П. Сквородникова. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2019. С. 80–89.

Сагатовский В. Н. Социальное проектирование (к основам теории) // Прикладная этика и управление нравственным воспитанием. Томск, 1980. С. 84–85.

Самкова М. А. Дезинформация как средство информационно-психологической войны против России (на материале медиатекстов о хакерских атаках) [Электронный ресурс] // Экология языка

и коммуникативная практика. 2018. № 3. С. 96–115. URL: <https://clck.ru/JsWYL> (дата обращения: 01.07.2019).

Самохвалова В. И. Информационные войны: культура против человека [Электронный ресурс] // Полигнозис. 2002. № 1 (17). URL: <http://www.polygnosis.ru/default.asp?num=6> (дата обращения: 02.09.2018).

Самохвалова В. И. Специфика современной информационной войны: средства и цели поражения // Философия и общество. 2011. № 3 (63). С. 54–73.

Сапожникова Ю. Л. Автобиография: понятие и особенности [Электронный ресурс] // Ученые записки Забайкальского гос. ун-та. Серия «Филология, история, востоковедение», 2012. С. 54–57. URL: <https://clck.ru/JuHg6> (дата обращения: 03.07.2019).

Сарна А. Я. Дискурсивные практики [Электронный ресурс] // dic.academic.ru. URL: https://sociology_encyclopedia.academic.ru/306_ (дата обращения: 26.03.2019).

Свобода – Радио «Свобода» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.svoboda.org/> (дата обращения: 20.04.2019).

Седов К. Ф. Агрессия как вид речевого воздействия [Электронный ресурс]. URL: <http://gigabaza.ru/doc/100170.html> (дата обращения: 03.01.2019).

Селиванова И. В. Информационная война против России в немецких СМИ // Гуманитарное образование в экономическом вузе: материалы V Междунар. науч.-практ. заочной интернет-конференции (Москва, 20 октября – 30 ноября 2016 г.). М.: Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова, 2017. С. 332–336.

Семкин М. А. Актуальные термины политической лингвистики: словарь современных медиа. М.: ФОРУМ ИНФРА-М, 112 с.

Серебренникова Е. Ф. Лингвистика и аксиология: этносемио-метрия ценностных смыслов: монография / Е. Ф. Серебренникова [и др.]. М.: Тезаурус, 2011. 352 с.

Серио П. Оксюморон или недопонимание? Универсалистский релятивизм универсального естественного семантического метаязыка Анны Вежбицкой // Политическая лингвистика. 2011. № 1 (35). С. 30–40.

Синельникова Л. Н. Информационная война adinfinitum: украинский вектор // Политическая лингвистика. 2014. № 2 (48). С. 95–101.

Ситдииков Р. Клишас ответил Познеру на критику закона об оскорблении государства // Сетевое издание «РИА Новости», 26.02.2019. URL: <https://ria.ru/amp/20190226/1551392023.html> (дата обращения: 20.04.2019).

Скворцов А. А. Концептуализация представлений о войне в западной моральной философии и русской этической мысли XVII–XIX вв. [Электронный ресурс] // Альманах «Пространство и Время»: электронное научное издание. 2015. Том 8. Вып. 2. URL: <https://clck.ru/JuG4a> (дата обращения: 11.07.2019).

Сквородников А. П., Копнина Г. А. Лингвистика информационно-психологической войны: к обоснованию и определению понятия // Политическая лингвистика. 2016а. № 1 (55). С. 42–50.

Сквородников А. П., Копнина Г. А. О психологических основаниях лингвистики информационно-психологической войны [Электронный ресурс] // Экология языка и коммуникативная практика. 2016б. № 2. С. 238–258. URL: <https://clck.ru/JtxRs> (дата обращения: 18.04.2018).

Сквородников А. П., Королькова Э. А. Речевые тактики и языковые средства политической информационно-психологической войны в России: этико-прагматический аспект (на материале «Новой газеты») // Политическая лингвистика. 2015. № 3 (53). С. 160–172.

Сквородников А. П., Копнина Г. А., Анисимова Е. Е. Памфлет и панегирик – жанры-антиподы в информационном пространстве массмедиа // Политическая лингвистика. 2018. № 5 (71). С. 48–54.

Смирнов А. Информационно-психологическая война. Об одном средстве международного информационного противоборства // Свободная мысль. 2013. № 6. С. 81–96.

Смородины А. и К. Два взгляда на проблему России // Москва. 2010. № 5. С. 189–196.

Соина О. С. Моралист. Опыт этической характеристики // Человек. 1995. № 5. С. 53–65.

Соина О. С., Сабиров В. Ш. Русский мир в воззрениях Ф. М. Достоевского: монография. М.: Флинта: Наука, 2015. 312 с.

Соина О. С., Сабиров В. Ш. Живая историософия Ф. А. Степуна // Человек. 2017. № 4. С. 144–158.

Соколов Э. В. Сальвадор де Мадариага: доминанты национальных характеров // Человек. 2003. № 4. С. 102–122.

Солганик Г. Я. О структуре и важнейших параметрах публицистической речи (языка СМИ) // Язык современной публицистики. М.: Флинта, 2017. С. 3–21.

Сорокин П. А. Нормативная ли наука этика и может ли она ею быть? // Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М., 1994. С. 229–246.

Стариков Н. Учить историю по-американски [Электронный ресурс]. URL: <https://nstarikov.ru/blog/11955> (дата обращения: 30.08.2019).

Степин В. С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различия // Постнеклассика: философия, наука, культура: монография / отв. ред. Л. П. Киященко, В. С. Степин. СПб.: Мирь, 2009. С. 249–295.

Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. М.: Прогресс-Литера; СПб.: Алетейя, 1995. 651 с.

Степун Ф. А. Мысли о России // Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья: в 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1994.

Стернин И. А. Основы речевого воздействия. Воронеж: Истоки, 2012. 178 с.

Стомахин Б. Срань господня! [Электронный ресурс] // Livejournal. 2012. URL: <https://clck.ru/JtQLE> (дата обращения: 11.01.2019).

Суворов Н. С. Средневековые университеты. М.: Либроком, 2012. 256 с.

США провели первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты [Электронный ресурс] // РБК. URL: <https://clck.ru/JuGXV> (дата обращения: 29.08.2019).

Тагильцева Ю. Р. А был ли «новичок»? Стратегии и тактики информационно-психологической войны британских СМИ в «деле Скрипаля» // Учимся понимать Россию: политическая и массмедийная коммуникация: материалы Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 10–14 октября). Екатеринбург: Уральский гос. пед. ун-т, 2018а. С. 246–248.

Тагильцева Ю. Р. Стратегии и тактики информационно-психологической войны в контексте российско-британских отношений [Электронный ресурс] // Экология языка и коммуникативная практика. 2018б. № 4. С. 92–104. URL: <https://clck.ru/JsWeV> (дата обращения: 01.07.2019).

ТВК-6 – Красноярская независимая телекомпания ТВК. URL: <https://www.instagram.com/p/Bvs1mC9AIGJ/> (дата обращения: 20.04.2019).

Тестелец Я. Г. Валентности слова // Введение в общий синтаксис. М.: РГГУ, 2001. С. 156–228.

Тимофеев С. Е. Идеологема «русский мир» в современном политическом дискурсе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Теория языка. Семиотика. Семантика. М., 2018. Т. 9 (1). С. 186–200.

Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб.: Российский Имперский союз-орден, 1992. 702 с.

Ткаченко С. В. Информационная война против России. СПб.: Питер, 2011. 224 с.

Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. 684 с.

Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова; отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 2011. 1175 с.

Торохова М. В. Идеологема «Террор» в ивритоязычной палестинской периодике 1946–1948 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2006. 30 с.

Трамп назвал космос следующей областью боевых действий [Электронный ресурс] // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20190829/1558058337.html> (дата обращения: 29.08.2019).

Третьякова В. С. Конфликт глазами лингвиста // Юрислингвистика-2: русский язык в его естественном и юридическом бытии. Барнаул, 2000. С. 127–140.

Трошева Т. Б. Речевая агрессия // Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М. Н. Кожинной; ред. кол.: Е. А. Баженова, М. П. Котюрова, А. П. Сковородников. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 340–343.

Университет [Электронный ресурс] // Словарь русского языка: в 4 т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; под ред. А. П. Евгеньевой. М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. URL: <https://kartaslov.ru/> (дата обращения: 08.02.2019).

Уразаева Н. Р., Морозов Е. А. Концептуализация образа России в немецких СМИ: перемены к лучшему? // Мировая политика. 2017. № 3. С. 141–154.

Уфимцева Н. В. Культура и проблема заимствования // Встречи этнических культур в зеркале языка (в сопоставительном лингвокультурном аспекте) / Научн. совет по истории мировой культуры. М.: Наука, 2002. С. 152–171.

Федоров В. В. Метафорическая модель «война» как когнитивная основа предвыборного нарратива регионального журналистского дискурса // Медиасреда. 2018. № 14. С. 197–200.

Федосеева А. В. Игра с прецедентными феноменами в газетных заголовках: аббревиатуры в аспекте словотворчества // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Ростов н/Д: ФГАОУВО Южн. федер. ун-т, 2007. Спецвыпуск. С. 62–65.

Федотов Г. П. Трагедия интеллигенции // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. СПб.: София, 1991. Т. 1. С. 66–101.

ФЗ № 28 – Федеральный закон № 28–ФЗ от 18.03.2019 «О внесении изменения в Федеральный закон “Об информации, информационных

технологиях и о защите информации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 20.04.2019).

Филлмор Ч. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М.: Прогресс, 1981. С. 369–495.

Флоренский П. А. Культурно-историческое место и предпосылки христианского миропонимания // Флоренский П. А. Сочинения: в 4 т. М.: Мысль, 1999. Т. 3 (2). С. 386–488.

Франк С. Л. Этика нигилизма // Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991. С. 150–184.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: АСТ – ЛТД, 1998. 672 с.

Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М.: Касталь, 1996. 448 с.

Фуко М. Археология знания. СПб.: Гуманитарная академия, 2004. 416 с.

Фурсов А. И. Опричнина в русской истории – воспоминание о будущем [Электронный ресурс] // Русский обозреватель. 11.03.2010. URL: <http://www.rus-obr.ru/ru-club/5948> (дата обращения: 10.11.2019).

Халз Э. Кто такие пуритане? Их жизнь и учение. Минск: Позитив-центр, 2012. 208 с.

Ханина Е. А. Использование игры с прецедентными феноменами в немецком политическом дискурсе // Вестник Челябинского государственного университета. Филологические науки. Челябинск, 2016. № 1 (383). С. 142–149.

Хобсбаум Э. Все ли языки равны? Язык, культура и национальная идентичность // Логос. 2005. № 4. С. 49–59.

Цеханская К. В. Модернизация и церковный канон: современные социодуховные модели религиозной идентичности православных // Информационные войны. 2013. № 1 (25). С. 71–76.

Цыганов В. В., Бухарин С. Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и методология М.: Академический проект, 2007. 336 с.

Цыцаркина Н. Н. Информационная война и лингвокогнитивное моделирование вооруженного конфликта в политическом медиадискурсе // Вестник Курганского гос. ун-та. 2018. № 1 (48). С. 26–29.

Чанышева З. З. Новые направления лингвистики на службе информационной войны // Учимся понимать Россию: политическая и массмедийная коммуникация: материалы Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 10–14 октября). Екатеринбург: Уральский гос. пед. ун-т, 2018. С. 277–279.

Чемезова И. А. Прецедентная модель языковой игры в газетном заголовке: дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2008. 225 с.

Чернявская В. Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2006. 136 с.

Чернявская В. Е. Фантомы и синдромы дискурсивной парадигмы // Вопросы когнитивной лингвистики. 2014. № 1 (038). С. 54–61.

Чугров С. В. Post-truth: трансформация политической реальности или саморазрушение либеральной демократии? // Полис. Политические исследования. 2017. № 2. С. 42–59.

Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000): монография. Екатеринбург: Уральский гос. пед. ун-т, 2001. 328 с.

Чудинов А. П. Политическая лингвистика: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2007. 254 с.

Чудинов А. П. Политическая лингвистика: учеб. пособие. 4-е изд. М.: Флинта: Наука, 2012. 256 с.

Чудинов А. П. Понятийно-терминологический аппарат политической лингвистики // Политическая коммуникация: перспективы развития научного направления: материалы Междунар. науч. конф. (Екатеринбург, 26–28 августа 2014 г.). Екатеринбург, 2014. С. 269–270.

Чудинов А. П. Когнитивная наука – когнитивные науки – федерация когнитивных наук (из истории российской когнитивной лингвистики) // Вопросы когнитивной лингвистики. 2015а. № 1 (42). С. 117–121.

Чудинов А. П. Политическая лингвистика: наука – научное направление – симулякр // Экология языка и коммуникативная практика. 2015б. № 1 (4). С. 126–134.

Чудинов А. П., Цыганкова А. В. Политическая лингвистика и медиалингвистика статус и грани соприкосновения // Медиалингвистика: материалы I Междунар. науч.-практ. конф. «Язык в координатах массмедиа» (Варна, 6–9 сентября 2016 г.). СПб., 2016. С. 289–290.

Чудинов С. И. Экстремизм в глобальном обществе риска: монография. М.: Флинта, 2016. 172 с.

Чумаков В. Портрет либерала [Электронный ресурс] // Конт. 2017. URL: <https://cont.ws/@vitalchuk/517376> (дата обращения: 03.01.2019).

Шапошникова И. В. К вопросу о языковой политике в научно-образовательной сфере // Вопросы психолингвистики. 2018. № 1 (35). С. 173–190.

Шаховский В. И. Медийная неэкологичность как способ/средство диффамации адресата // Эмотивная лингвоэкология в современном

коммуникативном пространстве: монография / науч. ред. В. И. Шаховский; отв. ред. Н. Н. Панченко, ред. кол.: Я. А. Волкова, А. А. Штеба, Н. И. Коробкина. Волгоград: Перемена, 2013. С. 302–317.

Шаховский В. И. Диссонанс экологичности в коммуникативном круге: человек, язык, эмоции: монография. Волгоград: Изд. ИП Поликарпов И. Л., 2016. 504 с.

Шаховский В. И. Эмоциональная толерантность в межперсональном речевом общении [Электронный ресурс]. URL: <https://go.gl/mbTgcz> (дата обращения: 04.01.2019).

Шевчук В. Н. Военно-терминологическая система в статике и динамике. М., 1985. 94 с.

Шейгал Е. И., Черватюк И. С. Типы жанров и градация коммуникативной власти // Жанры речи. 2007. № 5. С. 63–81.

Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М.: Мысль, 1980. 326 с.

Ширяева Т. А. Язык как средство конструирования // Язык. Текст. Дискурс. Межвузовский научный альманах. Вып. 7. Ставрополь. 2009. С. 61–65.

Шмелев И. С. Куликово поле // Шмелев И. С. Собр. соч. Въезд в Париж. Рассказы, воспоминания, публицистика. М.: Русская книга, 1998. С. 132–166.

Шнедельбах Г. Университет Гумбольдта // Логос 5–6 (35). 2002. С. 1–14.

Шулежкова С. Г. Образ России на фоне цветных революций и Крымской весны в информационной войне начала XXI века // Образ России и условиях информационной войны конца XX – начала XXI века. Тенденции обновления политического дискурса: материалы Междунар. науч. конф. (Магнитогорск, 23–25 ноября 2017 г.). Магнитогорск, 2017. С. 254–266.

Щедровицкий П. Г. Повестка дня 2010–х. Цикл лекций (2011) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fondgp.ru/lib/mmk/180> (дата обращения: 08.02.2019).

Щербаков А. В. Речевая агрессия // Эффективное речевое общение (базовые компетенции) [Электронный ресурс]: словарь-справочник / под ред. А. П. Сковородникова; ред. кол.: Г. А. Копнина, Л. В. Куликова, О. В. Фельде и др. 2-е изд., перераб. и доп. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. 852 с.

Щербинина Ю. В. Вербальная агрессия. 2-е изд. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 360 с.

Щербинина Ю. В. Русский язык: речевая агрессия и пути ее преодоления. М.: Флинта: Наука, 2004. 224 с.

Экология русского языка. Словарь лингвоэкологических терминов / авт. – сост. А. П. Сковородников. М.: Флинта: Наука, 2017. 384 с.

Эрлих Г. Золото, пуля, спасительный яд. 250 лет нанотехнологий. М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2012. 400 с.

Юревич А. В. Имеет ли наука национальные особенности? // Психологический журнал. 2015. № 1. Т. 36. С. 123–132.

Юревич А. В. Социогуманитарная наука в современной России: адаптация к социальному контексту [Электронный ресурс] // Полит. ру. URL: <http://polit.ru/article/2005/06/21/urevich/> (дата обращения: 03.01.2016).

Юсупова Р. Р., Теплых Р. Р. Демонизация «плохих» политических лидеров как инструмент информационной войны // Политическая лингвистика. 2017. № 5 (65). С. 163–167.

Язык и идеология: реферативный сборник. М.: ИНИОН, 1987. 243 с.

Язык и наука конца XX века. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1995. 320 с.

Язык, идеология, политика: реферативный сборник. М.: ИНИОН, 1982. 292 с.

Яковенко И. Г. Что делать? [Электронный ресурс] // Новая газета. 15 марта 2012. URL: <http://www.novayagazeta.ru/profile/8892/> (дата обращения: 03.01.2016).

Action Plan for Mobility. URL: <http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11048.htm> (accessed: 08.02.2019).

Allcott. H., Gentzkow M. Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*, 2017, vol. 31, no 2, pp. 211–236.

Anderson R. S., Glass A. J., Bernucci R. J. (1966). Neuropsychiatry in World War II: Vol. I – Zone of Interior, Washington, D.C., Department of the Army, 1966, 898 p.

Arciuli J., Mallard D., Villar G. “Um, I can tell you’re lying: Linguistic markers of deception versus truth-telling in speech. *Applied Psycholinguistic*, 2010, vol. 31, pp. 397–411.

Army.mil. Army Values. Available at: <http://www.army.mil/values/> (21.06.2018).

Available at: <https://clck.ru/JudCd> (accessed 22.10.2018).

Baskerville R. Third-degree conflicts: information warfare. *In European Journal of Information Systems*, 2010, vol. 19, Issue 1, pp. 1–4.

Bedell P. Army veteran: ‘Thanks for saying thanks’. December 30, 2016. Available at: <https://clck.ru/Juc3d> (accessed 10. 10.2018).

Beller M., Leerssen J. (eds.). *Imagology. The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. A Critical Survey. Series: Studia Imagologica*, Amsterdam – New York: Rodopi, vol. 13, pp. 281–285. Available at: <https://clck.ru/JsWq2> (accessed 25.07.2019).

Berger P.L., Luckmann T. *The Social Construction of Reality: a Treatise in the Sociology of Knowledge*. N.Y., 1967. 216 p.

Bradbury D. How Veterans Are Defending Our Networks. *Info Security*, 2018, vol. 15, Issue 1, pp. 50, pp. 20–23.

Braselmann P. Language Policies in East and West. National Language Policies as a Response to the Pressures of Globalization. *Gardt A., Hüppauf B.(eds). Globalization and the future of German*. Berlin, Mouton de Gruyter, 2004, pp. 99–118.

Celle A., Huart R. *Connectives as Discourse Landmarks*. Amsterdam: Benjamins, 2007. 212 p.

Charaudeau P. Emotions in interactions [Les émotions dans les interactions]. *Une problématisation discursive de l'émotion*, Lyon, Arci, Presses universitaire de Lyon, 2000, pp. 125–155.

Charaudeau P. Political discourse: the masks of power [Le Discours politique: les masques du pouvoir]. Paris, Vuibert, 2005. 256 p.

Chicagotribune.com. Students prepare care packages for US troops. April 20, 2018. Available at: <https://clck.ru/Jue6i> (accessed 06.07.2018).

Citron S. The national myth: French history under discussion [Le mythe national: l'histoire de France en question]. Paris, Éditions Ouvrières, 1989. 320 p.

Cohen K. et. al. Detecting Linguistic Markers for Radical Violence in Social Media. *Terrorism and Political Violence*, 2014, vol. 26, no 1, pp. 246–256.

Coupland N. (ed). *The Handbook of Language and Globalization*. D Blackwell Publishing Ltd, 2010. 662 p.

Coupland N. (ed.) Introduction: Sociolinguistics and globalization. *Journal of Sociolinguistics*, 2003, no 7 (4), pp. 465–472.

Darweesh H. I worked for the U. S. Army in Iraq. But when I landed in America, I was detained. February 10, 2017. Available at: <https://clck.ru/JucG2> (accessed 20.08.2019).

Deresiewicz W. An Empty Regard. August 20, 2011. Available at: <https://clck.ru/JucJY> (accessed 20.08.2018).

Dickson P. *War Slang: America fighting words and phrases since the Civil War*. 2nd ed. Dulles, Virginia, Brassey's Inc, 2003. 428 p.

Dijk T.A. van. Structures of discourse and structures of power. In *J.A. Anderson (Ed.), Communication Yearbook (12)*, Newbury Park, CA, Sage, 1989, pp. 18–59.

Dijk T.A. van. Discourse semantics and ideology. *Discourse and society*, 1995a, pp. 243–289.

Dijk T.A. van. The Mass Media today: discourse of domination or diversity? *The Public (Ljubljana)*, 1995b, no 2 (2), pp. 27–45.

Dijk T.A. van. Ideology. A multidisciplinary approach. 1998. Available at: <https://clck.ru/KKkEs> (accessed 07.08.2018).

Dijk T.A. van. Ideology: multidisciplinary approach. London, 1998. 170 p.

Dijk T.A. van. Ideology. Political discourse and ideology. 2002. Available at: <https://clck.ru/KKkujh> (accessed 07.08.2018).

Dijk T.A. van. Discourse and manipulation. *Discourse and Society*, 2006, vol. 17, Issue 2, pp. 359–383.

Eikenberry K.W., Kennedy D.M. Americans and Their Military, Drifting Apart. May 26, 2013. Available at: <https://clck.ru/JucN2> (accessed 10.06.2018).

Eissa M.M. Polarized discourse in the news. *Procedia. Social and Behavioral Sciences*, 2014, vol. 134, pp. 70–91.

Engel R. The brief history of each branch's motto. October 21, 2015. Available at: <https://clck.ru/JucSb> (accessed 11.05.2018).

Engel R., Werner K. U.S. troops who repelled Russian mercenaries prepare for more attacks. March 15, 2018. Available at: <https://clck.ru/JucTj> (accessed 15.09.2018).

Entman R.M. Framing: toward clarification of a fractured paradigm. *Journ. of Communication*, 1993, no 43(4), pp. 51–58.

Entous A., Nakashima E., Miller G. Secret CIA assessment says Russia was trying to help Trump win White House. 09.12.2016. The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gpG> (accessed 27.08.2019).

Erman B. Pragmatic Expressions in English: A Study of 'You Know', 'You see' and 'I mean' in Face-to-Face Conversation. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1987. 248 p.

European Commission: Education and Training [Электронный ресурс]. URL: <https://clck.ru/JttEa> (accessed 08.02.2019).

European Job Mobility Portal [Электронный ресурс]. URL: <http://europa.eu.int/eures/home.jsp> (accessed 08.02.2019).

Fairclough N. *Language and Globalization*. Routledge, 2006. 167 p.

Fairclough N.L. Ideology and identity change in political television. In N. Fairclough, *Critical Discourse Analysis. Papers in the Critical Study of Language*, London, Longman, 1995, pp. 167–183.

Fallis D. The Varieties of Disinformation. L. Floridi and P. Illari (eds.), *The Philosophy of Information Quality*, 2014, pp. 135–161.

Fallis D. What is disinformation? *Library Trends*, 2015, vol. 63, no 3, pp. 401–426.

Fiorina M. P., Abrams S. A., Pope J. C. Polarization in the American public: Misconceptions and misreading. *The Journal of Politics*, 2008, no 70 (02), pp. 556–560.

Fisher G. P. The elements of Puritanism. *The North American Review*, 1881, vol. 133, no 299, pp. 326–337.

Floridi L. The Latent Nature of Global Information Warfare. *Philosophy & Technology*, 2014, no 27, pp. 317–319.

Foerster H. von, Ernst G. von, Peter M. Hejl Einführung in den Konstruktivismus – Buch gebraucht kaufen. München, Piper Verlag GmbH, 1. Aufl.: 1992. 187 p.

France: Sarin gas used in Syria. *CNN*. Available at: <https://clck.ru/JuGbh> (accessed 07.08.2019).

Furko P. Manipulative uses of pragmatic markers in political discourse. *Palgrave Communications. Humanities. Social Sciences. Business*, 2017, vol. 3, pp. 1–8.

Furtaw H. E. Media disinformation and interpersonal intervention among teenagers. *Electronic Theses and Dissertations*, 1980. Available at: <https://scholar.uwindsor.ca/etd/2694> (accessed 27.08.2019).

Galtung J. Structure, culture and intellectual style. An essay comparing saxon, teutonic, gallic and nipponic approaches. *Social Science Information*, 1981, no 20, pp. 817–856.

Gardt A., Hüppauf B. (eds). *Globalization and the Future of German*. Berlin, Mouton de Gruyter, 2004. 375 p.

Gilgen A., Gilgen C. *Soviet and American Psychology during World War II*. Westport, CT, Greenwood Press, 1997, 264 p.

Goodin R. E. *Manipulatory politics*. CT: Yale U. Pr. New Haven, 1980. 264 p.

Grant N. Disinformation. *National Review*, 1960, vol. 9, pp. 41–48.

Grice H. P. Logic and conversation. *Studies in Syntax and Semantics III: Speech Acts*. N. Y.: Academic Press, 1975, pp. 41–58.

Guilhaumou J. Political language and French Revolution. From the event towards linguistic reflexion [La langue politique et la Révolution française. De l'événement à la raison linguistique]. Paris, Méridiens Klincksieck, 1989, 212 p.

Gunneriusson H. *Bordieuan Field Theory as an Instrument for Military Operational Analysis, New Security Challenges*. Palgrave Macmillan Editions, 2017. 123 p.

Harris S., Nakashima E. Trump seizes on report that Russia sold ‘phony secrets’ about him to the U.S. 10.02.2018. Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2hUy> (accessed 27.08.2019)

Hernon P. Disinformation and misinformation through the internet: Findings of an exploratory study. *Government Information Quarterly*, 1995, no. 12 (2), pp. 133–139.

Hollande F. Le changement c’est maintenant mes 60 engagements pour la France. Sciences Po. 2012. 42 p.

Hüppauf B. Globalization – Threats and Opportunities. *Gardt A., Hüppauf B. (eds). Globalization and the future of German*. Berlin, Mouton de Gruyter, 2004, pp. 3–25.

IFOP – Les français et les manifestations sur le mariage et l’adoption pour les couples de même sexe après le vote de la loi. URL: <https://clck.ru/JtRhs> (accessed 10.09.2019).

Ignatius D. American soldiers in Syria showed me something Trump doesn’t understand. April 5, 2018. Available at: <https://clck.ru/JucWh> (accessed 09.07.2018).

Jacobs S., Chitkushev L., Zlateva, T. Identities, Anonymity and Information Warfare. *Fellman P. V. et al. (eds.), Conflict and Complexity, Understanding Complex Systems*, Springer Science+Business Media, New York, 2015, pp. 221–232.

Jaffe G., Gibbons-Neff T. Angry protesters in Chattanooga: When’s the government going to do something? July 19, 2015. Available at: <https://clck.ru/JucYM> (accessed 19.07.2018).

Joint declaration of the European Ministers of Education convened in Bologna on the 19th of June 1999 [Электронный ресурс]. URL: <http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna.pdf> (accessed 08.02.2019).

Karlova N.A., Fisher K.E. “Plz RT”: A Social Diffusion Model of Misinformation and Disinformation for Understanding Human Information Behaviour. *Proceedings of the ISIC2012*, 2012. Available at: https://www.hastac.org/sites/default/files/documents/karlova_12_isic_misdismodel.pdf (accessed 27.08.2019).

Kerr C. A Critical Age in the University World. *Europe Y. of Ed. Abington*, 1987, no 2, vol. 22, pp. 183–193.

Klay Ph. The Warrior at the Mall. April 14, 2018. Available at: <https://clck.ru/JucaK> (accessed 25.09.2018).

Kube C., Mengli A. U.S. Soldiers Killed in Eastern Afghanistan After Afghan Soldier Opens Fire. June 10, 2017. Available at: <https://clck.ru/Jucdn> (accessed 09.10.2018).

Kumar K. P.K., Geethakumari G. Detecting misinformation in online social networks using cognitive psychology. *Human-centric Computing and Information Sciences*, 2014, vol. 4, no 1, 22 p.

Kux D. Soviet active measures and disinformation: overview and assessment. 1985. Available at: <https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp91-00901r000600200001-2> (accessed 27.08.2019).

Laclau E., Mouffe Ch. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London, Verso, 1985. 197 p.

Lake E., Rogin J. How terrorist hackers are ruffling the U.S. military. January 19, 2015. Available at: <https://clck.ru/Jucfon> (accessed 04.09.2018).

Lamothe D. Before Obama: A brief, awkward history of Whac-a-Mole metaphors and the U.S. military. July 7, 2015. Available at: <https://clck.ru/Juchr> (accessed 19.10.2018).

LOI n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe URL: <https://clck.ru/JtQcT> (accessed 10.09.2019).

Louwerse M.M., Mitchell H.H. Towards a Taxonomy of a Set of Discourse Markers in Dialog: A Theoretical and Computational Linguistic Account. *Discourse Processes*, 2003, vol. 35, Issue 3, pp. 199–239.

Madariaga S. *Englishmen, Frenchmen, Spaniards: An Essay in Comparative Psychology*. Oxford University Press, 1929. 256 p.

Maingueneau D. Ethos, scénographie, incorporation [Ethos, scénographie, incorporation]. *Amossy R. (Ed.). Images de soi dans le discours: la construction de l'ethos*, Lausanne, Delachaux et Niestlé, 1999, pp. 75–100.

Maldidier D., Normand C., Robin R. Discourse and ideology: research basis [Discours et idéologie: quelques bases pour une recherche]. *In Langue française*, 1972, Issue 15, pp. 116–141.

McCants W. *The ISIS Apocalypse. The History, Strategy, and Doomsday Vision of the Islamic State*. New York, 2015. 272 p.

McKeon R. The Development and Significance of the Concept of Responsibility. *Revue Internationale de Philosophie*, 1957, no 39, pp. 3–32.

Merton R.K. *The Sociology of Science*. Chicago–London, 1973. 605 p.

Meyerhoff M. Sounds pretty ethnic, eh?: A pragmatic particle in New Zealand English. *Language in Society*, 1994, vol. 23, Issue 3, pp. 367–388.

Miller G., Entous A. Declassified report says Putin ‘ordered’ effort to undermine faith in U.S. election and help Trump. 06.01.2017. Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gZ2> (accessed 27.08.2019).

Nakashima E. Russian government hackers penetrated DNC, stole opposition research on Trump. 14.06.2016. Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2hb6> (accessed 27.08.2019).

Nakashima E. U.S. government officially accuses Russia of hacking campaign to interfere with elections. 07.10.2016. The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gTc> (accessed 27.08.2019).

Nakashima E. U.S. investigators have identified Russian government hackers who breached the DNC. 02.11.2017. The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2h7w> (accessed 27.08.2019).

Nakashima E. Russia has developed a cyberweapon that can disrupt power grids, according to new research. 12.06.2017. The Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2hvX> (accessed 27.08.2019).

Nakashima E., Eilperin J. Russian government hackers do not appear to have targeted Vermont utility, say people close to investigation. 02.01.2017. Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gzA> (accessed 27.08.2019).

Nakashima E., Harris S. The nation's top spies said Russia is continuing to target the U.S. political system 13.02.2018. Washington Post. URL: <https://clck.ru/J2gey> (accessed 27.08.2019).

Nbcnews.com. Two American Soldiers Killed in Iraq, U.S. Military Says. August 13, 2017. Available at: <https://clck.ru/Jucju> (accessed 13.05.2018).

Newman M.L. et. al. Lying words: Predicting deception from linguistic styles. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 2003, vol. 29, pp. 665–675.

Normand L. *Demonization in International Politics*. Palgrave Macmillan, 2016. 270 p.

Nypost.com. A military parade is great – if it truly salutes our servicemen and women. February 7, 2018. Available at: <https://clck.ru/Jucnr> (accessed 13.05.2018).

Nypost.com. Air National Guard punishes 3 for dinosaur hand puppet video. April 19, 2018. Available at: <https://clck.ru/Jucod> (accessed 09.10.2018).

Nypost.com. Trump celebrates service members ahead of July 4. July 3, 2018. Available at: <https://clck.ru/JucpG> (accessed 07.08.2018).

Odierno R. This We'll Defend. July, 2012. Available at: <https://clck.ru/JueNZ> (accessed 20.12.2016).

Online Etymology Dictionary [Электронный ресурс]. 2001–2018. URL: <https://www.etymonline.com/> (accessed 11.07.2019).

Pêcheux, M. *Commonplace truths [Les vérités de la Palice]*. Paris, 1975, 279 p.

Perez C. Trump administration reportedly pushing for drone strikes in Niger. October 25, 2017. Available at: <https://clck.ru/JucsR> (accessed 18.09.2018).

PHEME. About PHEME. 2014. Available at: www.pHEME.eu (accessed 27.08.2019).

Phillipson R. English as Threat or Resource in Continental Europe. *Gardt A., Hüppauf B.(eds). Globalization and the future of German.* Berlin, Mouton de Gruyter, 2004, pp. 47–64.

Pickering L. et al. Prosodic Markers of Saliency in Humorous Narratives. *Discourse Processes*, 2009. vol. 46, Issue 6, pp. 516–540.

Post-truth. Lexico. Available at: <https://www.lexico.com/en/definition/post-truth> (accessed 26.08.2019).

Proto L. Who's pulling your strings? Now to stop being manipulated by your own personalities. Wellingborough: Thorsons, 1989. 144 p.

Putin's latest anti-American intervention: Venezuela. *The Washington Post*, 06.09.2017.

Radden G., Kovecses Z. Towards a theory of metonymy. *Metonymy in language and thought.* Ed. by K-U Panther, G. Radden. John Benjamins Publishing Company: Amsterdam, Philadelphia, 1999, pp. 17–59.

Reuters рассказал о 300 погибших и раненых в Сирии россиянах за неделю [Электронный ресурс] // Дождь. URL: <https://clck.ru/JuGeC> (дата обращения: 29.08.2019).

Riker W.N. The art of Political Manipulation. New Haven, Yale U. Pr., 1986. 152 p.

Rubin V.L., Chen Y., Conroy N.J. Deception Detection for News: Three Types of Fakes. *ASIST*. Available at: <https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2857153> (accessed 27.08.2019).

Rudinow J. Manipulation. *In Ethics*, 1978, no 88 (4), pp. 338–347.

Russia hawks won the personnel battle, but they need to do more. *The Washington Post*, 22.02.2017.

Russia rejects Western criticism of Baltic missile buildup. *The Washington Post*, 22.11.2016.

Russian propaganda effort helped spread 'fake news' during election, experts say. *The Washington Post*, 24.11.2016.

Russian toll in Syria battle was 300 killed and wounded: sources. *Reuters*. Available at: <https://clck.ru/JuGg7> (accessed 29.08.2019).

Schiffrin D. Discourse Markers. *Journal of Linguistics*, Cambridge: Cambridge University Press, 1989, vol. 25, pp. 255–273.

Schmitt M. Classification of Cyber Conflict. *In Journal of Conflict & Security Law*, 2012, no 17 (2), pp. 245–260.

Sériot P. Wooden language, language of others and individual language. Searching for true speaking in socialist Europe in the 1980 th [Langue de bois, langue de l'autre et langue de soi. La quête du parler

vrai en Europe socialiste dans les années 1980]. In *Mots*, Issue 21, pp. 50–66.

Shao C., Ciampaglia G. L., Flammini A. and Menczer F. Hoaxy: A platform for tracking online misinformation. *WWW'16 Companion*, 2016, pp. 745–750.

Søe S. O. Algorithmic detection of misinformation and disinformation: Gricean perspectives. *Journal of Documentation*, 2018, no. 74 (2), pp. 309–332.

Superville D. Trump hails ‘American heroes’ who helped U.S. win independence. July 4, 2018. Available at: <https://clck.ru/Juctm> (accessed 06.07.2018).

The Warrior Ethos and Soldier Combat Skills. FM 3–21.75 (FM 21–75). Headquarters Department of the Army Washington, DC, 2008. Available at: <https://clck.ru/Jud2p> (accessed 06.07.2018).

U.S. official: Almost no doubt Assad regime used chemical weapons. *CNN*. Available at: <https://clck.ru/JuGhc> (accessed 07.08.2019).

Ukraine Leader warns West not to ‘appease’ Russia. *The Washington Post*, 17.02.2017.

Villar G., Arciuli J., Paterson H. Linguistic Indicators of a False Confession. *Psychiatry, Psychology and Law*, 2013, vol. 20, Issue 4, pp. 504–518.

Wagnsson Ch., Hellman M. Normative Power Europe Caving In? EU under Pressure of Russian Information Warfare. In *Journal of Common Market Studies*, vol. 56, Issue 5, pp. 1161–1177.

Wallerstein I. Comments of Wolfs ‘Perilous ideas: race, culture and people’. *Current anthropology*, 1994, № 35.1, pp. 9–10.

Whitehouse.gov. Remarks by the President on Progress in the Fight Against ISIL.

Will G. F. Why are we still in Afghanistan? March 11, 2018. Available at: <https://clck.ru/JudL8> (accessed 09.10.2018).

Witte B. Army publishes combat photographer’s final photo of fatal mortar explosion. May 3, 2017. Available at: <https://clck.ru/JueFB> (accessed 06.09.2018).

Wizerunek / Image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu: Materiały międzynarodowej konferencji i naukowa (26–28 czerwca 2019). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Olsztyn, 2019. 132 p.

Wodak R. “Others in discourse”: racism and anti-Semitism in present-day Austria. *Research on democracy and society*, 1996, vol. 3, pp. 275–296.

Wodak R. Language, power, and ideology. Studies in political discourse. Amsterdam Philadelphia, J. Benjamins Pub. Co, 1989, 280 p.

Wsj.com. A 'Deterrent' Message to Syria. April 13, 2018. Available at: <https://clck.ru/Judvy> (accessed 09.10.2018).

Yildiz Y. Critically "Kanak": A Reimagination of German Culture German. *Gardt A.; Hüppauf B.(eds). Globalization and the future of German*. Berlin, Mouton de Gruyter, 2004, pp. 319–340.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Бернацкая Ада Александровна

Кандидат филологических наук, доцент (Красноярск)

Горностаева Юлия Андреевна

Преподаватель кафедры романских языков и прикладной лингвистики Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета (Красноярск)

Евсеева Ирина Владимировна

Доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка и речевой коммуникации Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета (Красноярск)

Жунева Екатерина Сергеевна

Аспирант кафедры философии и истории Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (Новосибирск)

Зарипов Руслан Ирикович

Кандидат филологических наук, начальник группы Центра (лингвистический Министерства обороны Российской Федерации) Военного университета (Москва)

Иванова Екатерина Александровна

Кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка и методики обучения английскому языку Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинск)

Кирилина Алла Викторовна

Доктор филологических наук, профессор, проректор по научной работе Московской международной академии (Москва)

Колмогорова Анастасия Владимировна

Доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой романских языков и прикладной лингвистики Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета (Красноярск)

Копнина Галина Анатольевна

Доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и речевой коммуникации Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета (Красноярск)

Кушнерук Светлана Леонидовна

Доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры английской филологии Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (Челябинск)

Лупанова Екатерина Вячеславовна

Кандидат филологических наук, преподаватель 32-й кафедры английского языка (основного) Военного университета Министерства обороны РФ (Москва)

Михайлюкова Наталья Владимировна

Кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета (Владивосток)

Панова Юлия Владимировна

Аспирант кафедры философии и истории Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (Новосибирск)

Прилукова Екатерина Григорьевна

Доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии Южно-Уральского государственного университета (Челябинск)

Романов Александр Сергеевич

Кандидат филологических наук, доцент 32-й кафедры английского языка (основного) Военного университета Министерства обороны РФ (Москва)

Сабиров Владимир Шакирович

Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и истории Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (Новосибирск)

Самкова Мария Андреевна

Кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики английского языка Челябинского государственного университета (Челябинск)

Сковородников Александр Петрович

Доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и речевой коммуникации Института филологии и языковой коммуникации Сибирского федерального университета (Красноярск)

Соина Ольга Сергеевна

Доктор философских наук, профессор кафедры философии и истории Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (Новосибирск)

Чудинов Сергей Иванович

Кандидат философских наук, доцент кафедры философии и истории Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (Новосибирск)

Научное издание

Бернацкая Ада Александровна, **Горностаева** Юлия Андреевна,
Евсеева Ирина Владимировна, **Жунева** Екатерина Сергеевна,
Зарипов Руслан Ирикович, **Иванова** Екатерина Александровна,
Кирилина Алла Викторовна, **Колмогорова** Анастасия Владимировна,
Копнина Галина Анатольевна, **Кушнерук** Светлана Леонидовна,
Лупанова Екатерина Вячеславовна, **Михайлюкова** Наталья Владимировна,
Панова Юлия Владимировна, **Прилукова** Екатерина Григорьевна,
Романов Александр Сергеевич, **Сабилов** Владимир Шакирович,
Самкова Мария Андреевна, **Сковородников** Александр Петрович,
Сонна Ольга Сергеевна, **Чудинов** Сергей Иванович

Лингвистика
информационно-психологической
войны

Монография

Книга III

Редактор Л.А. Киселева
Компьютерная верстка И.В. Гревцовой

Подписано в печать 30.06.2020. Печать плоская
Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 21,5
Тираж 500 экз. Заказ № 10976

Библиотечно-издательский комплекс
Сибирского федерального университета
660041, Красноярск, пр. Свободный, 82а
Тел. (391) 206-26-67; <http://bik.sfu-kras.ru>
E-mail: publishing_house@sfu-kras.ru